

Луиджи Пиранделло

1





Луиджи Пиранделло

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА
В ДВУХ ТОМАХ

ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

ТОМ **1**



Ленинград «Художественная литература»
Ленинградское отделение · 1983

ББК 84. 4 Ит

П 33

Составление и вступительная статья
С. БУШУЕВОЙ

Оформление художников
Б. СЕГАЛЬ и А. СКОЛОЗУБОВА

П $\frac{4703000000-056}{028(01)-83}$ 125-83

© Состав, вступительная статья, переводы, не отмеченные *, оформление. Издательство «Художественная литература», 1983 г.

О ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

Пустынная окраинная улица, низенькие домики, облупившиеся каменные ограды, сырой вечер, туман. По тротуару медленно бредет человек в черном. Он толстый, с бледным отечным лицом, на больных распухших ногах — матерчатые туфли. Это чиновник. Он идет со службы домой, так же как утром по этой же улице шел из дома на службу. Он идет, перебирает в памяти привычные подробности своего существования, весь неизменный его ритуал и — ненавидит. Все ненавидит: и эту улицу, и дом, куда он должен вернуться, и тех, кто там его ждет. И, главное, он ненавидит самого себя, ненавидит за то, что живет жизнью, которую не чувствует своей, но не находит в себе силы ее изменить, прорвать серую пелену, опутавшую его по рукам и ногам, заставшую ему глаза.

И вдруг перед ним из густого тумана возникают очертания повозки. Это повозка молочника, она нагружена бидонами, лошадь послушно ждет отлучившегося куда-то хозяина. И тут что-то происходит с бледным, тучным, из последних сил бредущим человеком. Он схватил поводья, вскочил на облучок, хлестнул лошадь, и та, испугавшись, понесла. Она исчезла в тумане, и туман поглотил человека навсегда. Больше мы его не увидим. Нам покажут только взмыленную лошадь и ее налитые кровью глаза, когда ночью она притащит к порогу молочника разбитую пустую повозку.

Это рассказ Пиранделло «Бегство», рассказ, ранее не переведившийся на русский язык, и тем не менее он кажется странно знакомым. Где-то мы уже видели и таких вот героев, в пропыленных черных пиджаках, толстых, прозаических, приземленных, бредущих сквозь густой туман повседневности, и то, как рвался вдруг этот туман, и в разрыве возникал образ подлинной жизни, собственной их жизни, о которой они тосковали смутно и неосознанно.

Да, мы это видели, видели в фильме Феллини «Амаркорд», там, где герои блуждают по туманной осенней улице, не в силах отыскать собственный дом. Да и вообще почти во всех фильмах Феллини мы видели эту пугающую и прекрасную близость реального и ирреального, земли и неба. Один только шаг в сторону от привычной колеи — и

человек оказывается в совсем ином измерении, измерении подлинной жизни, очищенной от патины повседневности.

Пиранделловские толстяки и слоноподобные толстухи, его плешистые хилые чудаки, его уродцы словно переселились в фильм Феллини, который рассказывает нам об этих героях таким же образным языком, каким рассказывал о них Пиранделло. Языком фантастическим и в то же время реалистическим, в котором реалии повседневной жизни не возводятся нарочито и намеренно в степень символа, а просто вдруг начинают просвечивать символическим смыслом, открывающимся человеку лишь в момент высшего душевного напряжения.

И эта внутренняя, глубинная близость одного из величайших художников сегодняшней Италии и великого писателя, умершего в 1936 году, неожиданно делает явной необычайную современность, жгучую актуальность Пиранделло, актуальность и современность прежде всего его прозы, фантастически опередившей свое время. Хотя начинал Пиранделло вполне традиционно.

Дебют Пиранделло, родившегося в 1867 году, пришелся на 1890-е годы, когда самым влиятельным из литературных течений в Италии был веризм — реалистическое направление, близкое натурализму, но отличающееся от него подчеркнутым вниманием к социальным проблемам и более выраженным авторским отношением к описываемому.

И потому естественно, что первые опыты молодого писателя (в 1894 году он выпустил сборник рассказов «Любовь без любви», в 1901 году — роман «Отверженная») несли на себе печать веристской школы. И рассказы, и роман Пиранделло явно подверстываются к так называемому южному веризму: герои, взятые из самой простой — мещанской и крестьянской — среды, ярко выраженный местный — сицилийский — колорит, обусловленность персонажей происхождением и окружением. Преимущественно этот, веристский, пласт прозы Пиранделло и известен современному советскому читателю, знакомому лишь с двумя десятками его ранних новелл и двумя романами, относящимися к первому периоду его творческого пути¹.

Однако в масштабе всего творчества писателя (кроме множества пьес он написал еще семь романов и двести сорок шесть новелл) этот пласт не так уж значителен и, главное, не так характерен. Хотя Пиранделло, никогда не покидавший почвы реальности, нигде не рвал с веризмом радикально, он очень скоро начал от него отходить. Причем отходить весьма последовательно, так что самый этот отход и определил эволюцию его творчества, которую в общих чертах можно представить как эволюцию от характерного для веристов

¹ Новеллы. М., 1958; Покойный Маттеа Паскаль. Л., 1967; Старые и молодые. Л., 1975.

объективного метода воспроизведения реальности к методу субъективному.

Этот отход был для Пиранделло, по-видимому, неизбежен, так как диктовался глубокими внутренними причинами. Дело в том, что само понятие «объективного» как бы не укладывалось в рамки мировосприятия писателя, исповедовавшего философию субъективного идеализма¹. В приверженности Пиранделло этой философской системе сказалось многое. И характерное для рубежа веков оживление интереса к идеалистической интерпретации действительности в философии и искусстве, и пятилетняя учеба юного Пиранделло в Германии, на философском факультете Боннского университета, откуда он вынес непреходящее увлечение иррационализмом Шопенгауэра, и, наконец, личная судьба писателя, вплотную и надолго столкнувшая его с миром больного сознания: его жена, родив ему трех детей, заболела паранойей, и Пиранделло прожил рядом с нею, уже безумной, более десяти лет.

Именно это специфическое мировосприятие Пиранделло и определило субъективный характер его художественного метода, который Пиранделло называл «юмористским».

Юмористским методом в представлении Пиранделло был такой метод разложения образа, при котором выявлялись и демонстрировались противоположные тенденции его развития, обнаруживающие свою несоединимость, невозможность синтеза. По мысли Пиранделло, художник должен был «разлагать», «разымать» явление в каждый отдельно взятый момент его существования, чтобы из-под поверхностной, случайной оболочки выступила наружу его подлинная, внутренне противоречивая суть. Картина мира, считал Пиранделло, в произведении искусства должна быть такой же «текучей» и «неуловимой», как сама жизнь, которую нельзя «определить», потому что нельзя остановить. То, что остановилось, отлилось в форму, — мертво, жизнь — это непрерывное течение и изменение².

Казалось бы, что при такой установке, хотя и рожденной стремлением писателя глубже, чем версты, проникнуть в смысл реальности, образ действительности в его произведениях должен был представлять хаотическим и разорванным, соотносящимся только с внутренним миром художника и не имеющим соответствий в мире внешнем — то есть

¹ См. об этом: Топуридзе Э. И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971.

² Хотя Пиранделло и претендовал на оригинальность созданной им эстетической программы, на самом деле в его «юморизме» ясно слышится голос немецких романтиков, их теория иронии, согласно которой «данный смысл данной вещи не последний, всегда остается смысловой резерв, запас новых и неожиданных точек зрения у автора» (Берковский Н. Я. Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934, с. 39).

таким, каким он предстает обычно в произведениях художников-модернистов.

Однако в случае с Пиранделло это было не так. Картина реальности в книгах Пиранделло при всей ее подчеркнуто субъективной окраске несет в себе все характеристики объективного мира. Субъективность Пиранделло — это, в сущности, обычная субъективность лирика, пропускающего все впечатления бытия сквозь свой душевный опыт, рассказывающего о себе через других.

И в самом деле, присутствие автора — вот чего Пиранделло никогда не удастся скрыть ни в романах, ни в пьесах, и это присутствие — типично лирическое присутствие, хотя порой оно прорывается в некоторой нарочитости построения.

«Пиранделло, — пишет итальянский исследователь А. Пальяра, — всегда присутствует в своих произведениях, и не только в прозе, что вполне допускает традиционная повествовательная техника, но и в драматургии, где персонаж должен быть автономен... Это столь настойчивое присутствие производит впечатление насилия автора над действием и персонажами»¹.

Итальянский литературовед, может быть, чересчур категоричен, утверждая, что «в драматургии... персонаж должен быть автономен». На самом деле в пределах жанра — романного ли, драматического ли — вполне возможны большие или меньшие отступления от «автономности» персонажа, уклонения в сторону «лирического» голоса автора, как это бывает, например, в лирической драме.

Но, говоря о Пиранделло, Пальяра прав по существу, ибо тут речь идет не об уклонениях, а о том, что сама художественная природа писателя, по-видимому, противилась «объективному» как родовому свойству романа и пьесы.

И в самом деле, если присмотреться внимательно, то почти все пьесы Пиранделло — это, в сущности, его собственный лирический монолог (и недаром большая часть их представляет собою переделки рассказов), который в соответствии с требованиями жанра просто положен автором на несколько голосов.

Что же касается его романов (больших романов, так как маленькие — «Покойный Маттиа Паскаль», «Кто-то, никто, сто тысяч» — это по сути своей скорее длинные рассказы или повести), то свойственная им структурная громоздкость, при которой разнонаправленные сюжетные линии не сливаются в единство, а существуют сами по себе как несколько самостоятельных структур², тоже свидетельствует о настоячивых, но не вполне успешных попытках автора преодолеть лирическую природу своего письма.

¹ Pagliara A. Il realismo dialettico di Luigi Pirandello. — Il Veltro, 1968, № 1—2, p. 49.

² Характерный пример такого построения мы видим в «большом романе» Пиранделло «Старые и молодые» (Л., 1975).

Так что за тем, что принято называть рассудочностью Пиранделло, то есть за тою откровенностью, с которой Пиранделло манипулировал персонажами своих пьес и романов, не заботясь о том, чтобы скрыть от читателя и зрителя свою руку, руку кукловода, стоит нечто прямо ей противоположное: непреодолимая жажда лирического самовыражения. И потому новеллы и небольшие романы — то, из чего составлен настоящий двухтомник, — это и есть лучшее, что оставил нам Пиранделло, ибо здесь лирическая природа писателя выразила себя наиболее свободно.

Как мы уже говорили, начинал Пиранделло как верист, то есть как объективный повествователь, и покуда он был объективен, он был почти неотличим от других веристов, скажем от того, кого он считал своим учителем, от Луиджи Капуаны. И только тогда, когда он перестал подавлять свою лирическую природу, он, как мы увидим ниже, и стал собою, художником, которому именно страстная субъективность помогла проникнуть в смысл коллизий эпохи гораздо глубже, чем удалось это Капуане и другим веристам. Чем слышнее звучал на страницах Пиранделло его собственный авторский голос, не как голос комментатора, а как голос самого лирического героя, тем больше становилось в его прозе главной правды о жизни. Так что «лирический реализм» Пиранделло оказался реализмом даже в большей степени, нежели реализм веристской школы.

«Непонятно, как это произошло, — пишет о Пиранделло итальянский писатель Корrado Альваро, — но его одетые в черное провинциалы превратились вдруг в представителей буржуазного мира, увиденного под углом важнейших перемен, которые принесла ему наша эпоха»¹. Перемены, которые принесла эпоха, были сосредоточены для Пиранделло в обострившемся чувстве отчуждения человека в предвоенном капиталистическом мире.

Великое значение Пиранделло, может быть, в том и состоит, что он первым среди европейских писателей, задолго до французских экзистенциалистов, представил драму отчуждения человека как главную драматическую коллизию своего времени: коллизию, при которой единственной реальностью делается для человека субъективная реальность, а объективная для него, отчужденного, воспринимающего ее как неподлинную, перестает существовать вовсе².

Трагедия отчуждения! Вот тут-то, в этом месте, одетые в черное провинциалы Пиранделло и отделяются от толпы, населяющей стра-

¹ Alvaro C. Pirandello Premio Nobel 1934. — Nuova antologia, 1934, 16 nov.

² См. об этом: Реизов Б. Роман Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль». — В кн.: Пиранделло Л. Покойный Маттиа Паскаль. Л., 1967, с. 7—9.

ницы веристской прозы, и вплотную подходят к персонажам экзистенциалистской литературы, чьи массовые прототипы появились в мире в 1930-х годах. Но Пиранделло увидел их раньше, потому что увидел через самого себя.

Таким образом, лирический субъективизм Пиранделло был для писателя не только способом остаться самим собою — это был единственный для него способ войти в контакт с миром, надежно огражденным от него броней отчуждения. Пусть даже войти в контакт значило в его, пиранделловском, случае биться об эту броню и кричать о том, что она непреодолима.

И потому совершавшееся на протяжении сорока лет превращение Пиранделло из бесстрастного, объективного, веристского повествователя в сочинителя повестей и новелл, проникнутых страстным субъективным чувством, — это все-таки движение не к себе, а от себя, навстречу миру.

Тесно заставленная, знакомо обставленная, узнаваемая в малейших деталях вселенная веристской прозы Пиранделло («Муха», «Званный обед») кажется странно мертвой и почти нереальной рядом с миром его поздних новелл, миром фантастическим и неправдоподобным, миром, в котором время и пространство человеческой жизни могут вдруг «свернуться» в один день и в одну ночную привокзальную площадь («Один день»), но, при всей фантастичности и неправдоподобности этого мира, он все-таки остается живым и реальным, потому что вся невероятность ситуаций и положений восходит тут к реально существующей невероятности, невероятности состояния отчужденного человека.

И Пиранделло воссоздает это состояние во всей отчаянной его неразрешимости посредством лирического способа выражения.

Дело не только в том, что повествование у позднего, зрелого Пиранделло очень часто ведется от первого лица, от лица героя, который прямо обращается к читателю с интонацией такой интимной и нервной — то доверительной, то иронической, — что возникает ощущение, будто тебя самого втягивают в пространство романа («Кто-то, никто, сто тысяч»).

Важнее то, что, как бы ни велось повествование — от первого ли, от третьего ли лица, пространство, в которое оказывается втянутым читатель, — это замкнутое и обозримое пространство, вселенная, свернувшаяся до размеров одной души: лирическая вселенная.

Пространство, в котором происходит действие романов и рассказов Пиранделло, только по видимости раздроблено, на самом деле оно едино. Недаром Пиранделло так свободно манипулирует кусками собственных новелл, вкрапывая их в свой последний роман («Кто-то, никто, сто тысяч»). Так, скажем, в этом романе мы снова видим пенсионера из бывших военных — того самого, который сидел за столиком кафе в рассказе «Немного вина». И двор подле

дома героя — «могучий булыжник пологий склон» — этот двор нам уже показывали в «Возвращении». Ну, а самого героя романа, его душу, строй его мыслей, его лирические монологи мы встречали уже множество раз — и в «Ловушке», и в «Тачке», и в «Пой-Псалом».

В каком-то смысле лирическое пространство прозы Пиранделло похоже на тот сюрреалистический пейзаж, в котором происходит действие «Одного дня». Всю свою жизнь герой находит как бы спрессованной в приключениях одного дня, когда, завернув за угол в ночном незнакомом городе, он оказывается подле своего дома и находит в нем собственных детей, только что маленьких, и вот — уже взрослых, почти старых.

И так же и мы, «завернув за угол» в одном рассказе, краем глаза замечаем деталь, которую уже видели в другом — ну хотя бы таможню, в прохладе которой укрываются от раскаленного августовского солнца герои рассказа «Прах» и которую мы мельком заметили в скупом ночном освещении в рассказе «Ничто».

Ощущение замкнутости, «очерченности», обозримости пиранделловского пространства усугубляется еще и тем, что свою вселенную Пиранделло видит не ландшафтно, как видел бы ее эпический писатель, а будто бы со дна глубокого колодца. Между глазами, которые смотрят, и предметом, который они видят, словно длинный темный туннель, но зато связь между ними прямая и стремительная как стрела.

Так видит герой «Посещения» случайно обнажившуюся прекрасную грудь женщины, и внезапно ему становится вятно в этой женщине все. Так герой романа «Кто-то, никто, сто тысяч» усилением воображения, встрепенувшегося при слове «сад», пробивается сквозь пещерную темноту монастырской приемной, и в глубине ее ему открывается залитая солнцем колышущаяся зелень листвы. Так, обернувшись в уже прошедшее время, видит себя, молодую, смертельно больная героиня «Пушинки». Интересно, что туннель, этот темный пролет, сквозь который пролетают мысль и взгляд пиранделловских героев, становится в этом рассказе видимым и осязаемым, приобретая облик перголы — увитых виноградником искусственных сводов аллеи, которую пробегает юная Амина, и, пробежав, останавливается перед открывшейся ей сверкающей гладью озера.

Это расстояние, этот туннель, этот колодец — они есть всегда, даже когда предмет, на который смотрят, совсем рядом. Сидя в ногах постели Анны Розы («Кто-то, никто, сто тысяч»), Москарда все равно «смотрит на нее как бы из бесконечной дали времени, не поддающегося уже никакому определению».

Взгляд — и где-то — далеко-далеко! — предмет, который ему предстает, и между ними ничего, кроме расстояния, глухого пролета вре-

мени и пространства, в сущности, это ракурс воспоминания, когда жизнь проживается не «наружу», а «внутри».

Так в самой художественной ткани пиранделловской прозы прорастает — чем дальше, тем яснее — трагедия отчуждения, переживаемая автором в той же степени, что и его героями.

Правда, эту эволюцию Пиранделло не надо понимать слишком буквально: собственно пиранделловский, лирический субъективизм уже в ранние годы творчества пробивался сквозь веристский способ писания («Когда я был сумасшедшим...», 1903), а веристские рецидивы могли неожиданно возникнуть и на страницах его поздней прозы («Уничтожить человека», 1921).

Но направление эволюции было именно таким. Представляемый читателю двухтомник, в котором рассказы и романы расположены в хронологическом порядке¹, подтверждают это со всей очевидностью.

Луиджи Пиранделло родился и вырос на острове Сицилия, в маленьком городке Агридженто, в окрестностях которого находились серные копи, принадлежавшие его отцу.

Так что и этот остров (уже не вполне Европа, почти Ближний Восток, а то и Африка!), и его обитателей — помещиков, промышленников, чиновников, крестьян, рабочих, священников — Пиранделло знал так, как знают только родной дом: в подробностях, за которыми стоит дух места и времени.

И хотя, окончив лицей, Пиранделло продолжил свои занятия в Германии, а потом, женившись, переехал в Рим, где прожил до самой смерти, снискав там сначала итальянскую, а потом и всемирную славу, одним из выражений которой было присуждение ему в 1934 году Нобелевской премии, Сицилия так и осталась для него тем неисчерпаемым источником впечатлений, из которого выросло все им написанное.

Именно сицилийских, темных и забытых как нигде в Италии крестьян и рабочих, именно сицилийских чудачков и самодуров чаще всего встречаем мы в новеллах, романах, пьесах Пиранделло. «Свет и тьма», «Хозяин Господь», «Вера», «Путешествие», «Гроб про запас», «Возвращение» и «Покойный Маттиа Паскаль» и «Кто-то,

¹ В настоящем издании принята двойная датировка новелл. Первая дата соответствует году первой журнальной, газетной или иногда книжной публикации новеллы. Вторая — году выхода новеллы в новой авторской редакции, нередко со значительными изменениями, в очередном томе пятнадцатитомного собрания новелл, объединенных автором под общим названием «Новеллы на год» (тома I—XIII выходили с 1922 по 1928 год в издательстве «Бемпорад», тома XIV и XV — в 1934 и 1937 году, соответственно, в издательстве «Мондатори»).

никто, сто тысяч» — все это Сицилия, ее впечатления, даже если место действия автором не обозначено. Ну и что ж, что не обозначено, все равно в его пейзажах мы узнаем давящий сицилийский зной, в его героях — сицилийское, то есть уже не европейское, фаталистическое мироощущение, в нарисованных им картинах городской ли, деревенской ли жизни — сицилийские тяжкие замедленные ритмы. Куда бы Пиранделло ни занесло, какими бы новыми, несицилийскими впечатлениями он ни обогатился, все равно он продолжает видеть все через Сицилию.

Уже и Европа вошла в его жизнь (его много ставили на сцене, и он ездил на премьеры), и даже Америка, которую он посетил в тридцатых годах в связи с гастролями своего театра, но все равно: маленькой моделью вселенной продолжал оставаться для Пиранделло его родной остров. В этом смысле он был как герой его рассказа «Похищение», которого с завязанными глазами волокут через горы и доли, потом снимают повязку, и он, взглядевшись с вершины горы в ночные созвездия огней неведомых городов, вдруг с радостью узнает в них родные места: «Ну конечно, это Джирдженти. Так, значит... Бог ты мой! До деревни рукой подать. А ведь шли и шли, и дороге конца не было». Словно и не было этого безумного бега, словно никуда он и не уходил.

И Пиранделло действительно никуда не уходил — не ушел, и трагическую формулу человеческого существования, в которой узнал и продолжает узнавать себя современный буржуазный мир, он вывел из сицилийских своих впечатлений.

Кажется странным, что формулу эту, как бы концентрирующую в себе трагический итог развития буржуазного мира, нашел выходец с глухой окраины Европы, ведущей добуржуазное еще, феодальное, а то и дофеодальное даже существование. Она, эта формула, понятна, скажем, у Камю или у Кафки, но у Пиранделло, у этого островитянина!

Но дело, видимо, в том, что было что-то общее между индивидуальной непрявленностью, характерной для мироощущения дофеодального человека, и ощущением утраты индивидуальности, которым мучился современный «отчужденный» человек.

Пиранделловские сицилийцы («Вера», «Requiem aeternam dona eis, Domine», «Возвращение», «Похищение»), намертво вросшие в землю, ощущающие себя просто частью природного круговорота, просто формой, в которой осуществляет себя жизнь, были, в сущности, такими же от нее отчужденными, такими же к ней «непричастными», как и герои новейшего буржуазного времени. Только последние знали о своей трагедии и бессильно бились о прозрачную, но непроницаемую стену отчуждения, а первые не знали. Жизнь просто протекала сквозь них, как протекает песок в песочных часах, пересыпаясь из одной стеклянной колбы в другую.

Но и тут и там было ощущение связанности, невозможности свободного жизнеизъявления, через которое и пришел, по-видимому, Пиранделло к формуле отчуждения.

Правда, пришел он к ней не сразу.

В ранних рассказах Пиранделло Сицилия предстает еще именно и только как Сицилия, как нечто неповторимое, единственное. Так, как предстал мир в описаниях веристов: замкнутый в себе «частный случай», который описывается «с поверхности», грандиозная несообразность, в которой не различить главных законов бытия.

В этих рассказах Пиранделло ведет себя как объективный описатель. Обманчивая точность, яркость, ясность его зарисовок, их композиционная уравновешенность, их ровная освещенность свидетельствуют о том, что картина жизни здесь увидена со стороны. Тут ничто не пропущено через себя, тут лавина впечатлений еще отгесняет в сторону самую личность художника, еще не сформировавшуюся, не сознающую, что в этих впечатлениях его собственное, неповторимое, где здесь его, и больше ничей, ключ к разгадке бытия.

Это еще фотографическая память на людей и предметы, а не память души. Душа здесь не отпечаталась, тут нет ее оттиска, и потому естественно, что все эти собственные (несомненно, собственные!) впечатления выливаются у Пиранделло в форму типично веристского жанра аббощо, то есть наброска, фрагментарность которого принципиальна: не мир, а фрагмент мира.

Рассказ «Званный обед» (1902), прочитав который хочется сказать: «Ну и что?» — настолько фрагментарен этот фрагмент! — мог бы написать Луиджи Капуана.

В то время как морализующие акценты в «Сицилийских лимонах» (1900) словно расставлены рукой Джованни Верги, этого певца угнетенных и обездоленных.

И такого — не вполне своего — будет много и в более поздние годы: «Живая и мертвая» (1910), «Нотариус Боббио» (1912), «Requiem aeternam dona eis, Domine» (1913), «Статуэтка Мадонны» (1913). Жизнь будет представлять в них обманчиво пестрой, рассыпающейся на множество частных случаев, почти анекдотов, где все будет разное, неповторимое — и характеры, и ситуации.

Но тем не менее уже очень скоро рядом с фотографической памятью на места и лица даст знать о себе и память души, которая, оказываясь, откладывает в своих глубинах только совершенно определенные характеры и ситуации. Не то чтобы все прочее Пиранделло сознательно игнорировал, нет. Просто его донные рассредоточенное зрение все больше тяготело к тому, чтобы, сосредоточившись, распознать за обманчивой пестротой красок «главный» цвет жизни. Оттенки характеров и ситуаций постепенно возводились к одному, главному для Пиранделло характеру, к одной, главной для него ситуации, по мере того как за простейшим механизмом среды и наследственности,

поставляющим миру богатых и бедных, больных и здоровых, писатель все яснее различал главную драму своей эпохи — драму отчуждения человека, который в поисках своего собственного, не навязанного, не «подсунутого» ему существования обнаруживает, что самого его как личности попросту нет.

Мы узнаем этого героя — не живущего, а как бы отбывающего не свою, чужую жизнь, — уже в рассказе 1903 года «Когда я был сумасшедшим...». Его черты мы различаем в герое повести «Ну хорошо» (1905). Но только в «Покойном Маттиа Паскале» этот герой приобретает классическую законченность. Маттиа Паскаль — это модель типично пиранделловского героя, а главная, с точки зрения Пиранделло, драматическая коллизия его эпохи, то есть трагедия отчуждения, предстает здесь во всей своей чистоте, без примесей, без обертонов, которые были в «Ну хорошо» и «Когда я был сумасшедшим...». Тут она в фокусе, в то время как там ее надо было вычитывать из сюжетных перипетий.

И в самом деле, в «Ну хорошо» парабола сюжета вырастает из частного случая, прописанного со всей подробностью деталей. Вот такая была жена, такой муж, вот такой вот больной ребенок, а курорт был такой, и как трудно было найти жилье, а потом — эта последняя капля, переполнившая чашу терпения, и преступление, и покорное принятие судьбы.

Зрение Пиранделло здесь — еще рассредоточенное зрение объективного повествователя. Авторская пристрастность, пристрастие чувствуются только в характере героя, герою, которому суждено стать излюбленным типажом Пиранделло. Это слабый, мягкий, попусту выбивающийся из сил, не способный к жизни человек, который будет загнан в угол при любых обстоятельствах. От этого не спасают ни богатство, ни здоровье, ни благоприятная комбинация генов. Не спасают потому, что корни переживаемой героем драмы уходят куда глубже, чем казалось это веристам и чем кажется здесь еще и самому Пиранделло, сосредоточенному на среде (бедность!) и наследственности (порочная жена, больной ребенок). И все-таки этот характер — такой для Пиранделло характерный — дает понять, что ситуация только с виду выглядит такой частной. На самом деле это вариант той, самой типичной, с точки зрения Пиранделло, ситуации, которой не может миновать ни один современный человек. Об этом свидетельствует эмоциональное напряжение, с которым написан характер героя и которое для «частного случая» было бы излишним. Хотя это новое — лирическое, не эпическое — отношение к предмету повествования Пиранделло-верист во имя верности жизненной правде еще не рискует выражать открыто: повествование здесь ведется от третьего лица, объективно, подробно, как бы эпично.

Правда, он позволяет себе лирический взрыв в рассказе «Когда я был сумасшедшим...», но этот взрыв оправдан жанром днев-

ника-исповеди, который герой как бы предоставляет на суд читателя. Этот герой — опять-таки типичный герой Пиранделло, мучительно сознающий несовпадение своего внутреннего «я» с теми проявлениями этого «я», которыми он вынужден отвечать на требования жизни. Пока он был самим собой, он был словно сумасшедший, и только став как все, таким, каким все хотят его видеть, он превратился в здравомыслящего. Эта операция — мучительная утрата своего «я» — и есть условие существования человека в отчужденном мире.

И вот Пиранделло пишет свой знаменитый, принесший ему европейскую славу роман «Покойный Маттия Паскаль», где и герой, и ситуация приобретают законченный вид.

Именно здесь происходит превращение «одетых в черное провинциалов», чудаков, населяющих мир его ранних новелл, в «представителей буржуазного мира, увиденного под углом важнейших перемен, которые принесла ему наша эпоха».

Герой этого романа ставит над собой эксперимент, прямо противоположный тому, который был поставлен героем рассказа «Когда я был сумасшедшим...». Тот отказывался от своего «я» ради того, чтобы «притереться» к окружающему его миру. Он так дорожил своими связями с этим миром, что ради их сохранения готов был перестать быть самим собой.

Маттия Паскаль, напротив, рвет все связи с миром, чтобы найти наконец себя, себя самого, себя одного, такого, каков он вне этих связей. Воспользовавшись слухом о своей мнимой смерти, Маттия Паскаль, этот провинциал из глухого сицилийского городка, оставляет семью, оставляет службу, берет другое имя, переезжает в другой город, меняет свое социальное положение и даже, частично, внешность. Одним словом, в его жизни новое — все, но как ни пытается он, уже будучи свободным от всех старых, определявших его личность связей и отношений, найти свое, вне этих связей лежащее «я», он его не находит. Не находит, потому что только этими связями и отношениями он и определялся, вернее — уже определился, определился намертво, навсегда. При этом герой чувствует это «я» не своим, навязанным ему извне, но другого нет, и под конец, примирившись с тем, что собственного «я» нет и не будет и что ему суждено доживать — отбывать — не свою, а чужую жизнь, Маттия Паскаль возвращается домой.

Так горьким поражением кончается этот индивидуалистический бунт. Ситуация отчуждения оказывается непреодолимой.

Этот роман, сразу же переведенный на французский и немецкий языки и сделавший Пиранделло писателем с европейской славой, в Италии прошел незамеченным. «Одетые в черное» итальянские провинциалы еще не узнавали себя в «двойных» (лицо и маска или две маски и ни одного лица!) героях Пиранделло. Отчаянная погоня пи-

ранделловских персонажей за ускользающей от них их собственной, их подлинной жизнью казалась им непонятной.

Правда, по мере того как шло время, пиранделловские персонажи становились все понятнее, все узнаваемей. А в годы 1920-е, в годы фашизма, итальянские провинциалы, отчужденные от себя настолько, насколько могут быть отчуждены люди при самом лживом, самом «неподлинном» из общественных режимов, уже не сомневались в том, что на страницах его книг — они.

Пиранделло же не сомневался в этом уже со времен «Маттиа Паскаля». Открытие этого героя и его драмы и было главным открытием Пиранделло. Как пишет итальянский исследователь, «характер пиранделловского героя — это его драма, проистекающая из сознания того, что характер потерян»¹.

Дальше он на этой открытой им теме только сосредоточивался.

Распавшаяся связь между человеком и жизнью, потеря человеком ощущения, что он живет, сам живет, — этот мотив от года к году звучал у Пиранделло все слышнее.

Со страниц его новелл и повестей вставала Италия, совершенно непохожая на Италию веристов — яркую, страстную, энергичную, живую.

Италия Пиранделло — это полупарализованная, умирающая, вымирающая Италия. Поразительно, как много в его рассказах смертей, покойников, похорон, кладбищ. «Соломенное чучело», «Гроб про запас», «Сам», «Ничто», «Посещение», «Босиком по зеленой траве», «Свет и тьма», «Прах», «Requiem...» и т.д., и т.п. — все это так или иначе про смерть.

Не та смерть, которая случается в разгаре жизни и выступает как катастрофа, а та, которая стала как бы частью жизни. Не то чтобы: вот — жизнь, это одно, а вот — смерть, это совсем другое. Нет, это почти то же самое! Герои Пиранделло запасаются гробом еще при жизни («Гроб про запас»), и жену — будущую вдову — мысленно призраивают за своего друга еще при жизни («Муж моей жены»), и, если у них нет кладбища, где они смогут упокоиться после смерти, они вообще не могут жить («Requiem...»). Смерть так легко входит у Пиранделло в жизнь, потому что эта жизнь не вполне жизнь, она остановилась, ее течение едва заметно.

Она остановилась, потому что люди не живут, они уклоняются от жизни, убегают от нее.

Убегает от тяжелой нужды и от злой жены в приятные (во всяком случае, ему хотелось бы думать, что приятные!) сновидения герой рас-

¹ Lugnani L. Luigi Pirandello. Letteratura e teatro. Firenze, 1979, p. 40.

сказа «Ты смеешься!»). Убегает от жизни в чтение герой «Бумажного мира», предпочитающий прочитанное даже не пережитому, а просто увиденному.

Персонажи Пиранделло не только плохо видят (почти все они носят очки), они еще и не хотят видеть, как не хотят жить. Высшего блаженства герой «Бумажного мира» достигает тогда, когда становятся бессильны и очки, и он уже не читает, а вспоминает прочитанное. А повесть «Ну хорошо» кончается тем, что ее герой, истерзанный жизненными испытаниями, просит снять с него очки. Он не хочет больше ничего видеть.

Близорукость, а то и слепота героев Пиранделло — это как бы частичное проявление их вынужденной «выключенности» из жизни. Они все словно слегка парализованы: они обездвижены, они анемичны, анемичны даже внешне — хилые или, наоборот, болезненно тучные, плешивые, подслеповатые. Какая-то совершенно новая Сицилия рождалась под пером Пиранделло. Там, где только что сталкивались, кипя страстями, смуглые, огненноглазые, черноволосые герои Верги и Капуаны, теперь еле двигались, едва дышали пиранделловские бледные блондины с голубыми или зелеными «стеклянными» глазами, веснушчатые, одышливые, одутловатые. А сколько среди них было уродов: косых, зобатых, горбатых, карликов, карлиц, патологических толстяков! («Кто-то, никто, сто тысяч», «Конь на луне», «Нотариус Боббио»). Слово бы даже порода исчезла, выродилась в этом стоячем омуте остановившейся жизни.

А жизнь для героев Пиранделло действительно остановилась, потому что, занятые мыслью о смерти, они самую жизнь как бы откладывают «на потом».

Герой «Соломенного чучела» так боится умереть от фамильного недуга — чахотки, что отказывается от всех радостей жизни, озабоченный лишь тем, чтобы перешагнуть роковой возрастной рубеж, когда умирали все его близкие. И только когда он его перешагнул, он понял, что опущенную жизнь он не прожил, а отбыл. И в отчаянии покончил с собой.

Герой рассказа «Похищение» тоже понял это незадолго до смерти, но, поняв, оставшиеся дни уже не отбыл, а прожил. Правда, для того чтобы он это понял, его нужно было похитить, то есть изъять из привычной обстановки и без всякой надежды на возвращение заставить доживать свои дни в ожидании смерти. Лишь тут, очутившись в горах, в пещере, в обществе своих похитителей, он в предвидении близкого конца и догадался о драгоценности человеческого существования и начал жить полной жизнью в подлинном человеческом общении со своими стражами и их близкими. Только жизни этой ему было отпущено всего два месяца.

Может быть, самая душераздирающая новелла в этом двухтомнике — это «Боязнь счастья», о человеке, который был так уверен, что за

каждый миг счастья придется откупаться несчастьем, что всю жизнь только и делал, что откупался — откупался, петлял, пускал судьбу по ложному следу, — и ни разу не поверил счастью, не был счастлив, потому что все искал, все докапывался до скрытой в нем угрозы и опасности, не сумев докопаться, сошел с ума.

Герои Пиранделло едва дышат, едва шевелятся, словно боятся нарушить то неустойчивое равновесие, которого они достигли, подавив в себе все инстинкты жизнеизъявления и проживая жизнь, которую они не чувствуют своей. Они — сами по себе, где-то внутри себя, в самой глубине, а жизнь, эта комбинация не зависящих от них обстоятельств, просто поймала их в ловушку («Ловушка»). И это только так кажется — иногда еще кажется! — что из ловушки можно вырваться, что что-то можно изменить, на самом деле — все предопределено («Дом смертной тревоги»). Человек способен сдвинуться с уготованного ему судьбой места не более, чем дерево, которому дано только раскачивать кроной, только заламывать руки-ветви.

В этой ситуации непреодолимого отчуждения, когда все свои слова и поступки человек ощущает как чужие, ему навязанные, пиранделловским героям остается только один способ обретения самого себя — это отключение сознания, связывающего человека с внешним миром, то есть разрыв всех человеческих связей. И этот способ, хотя и пугающий героев Пиранделло, обладает для них непреодолимой притягательностью. Стать как камень, стать как дерево — этот вздох недаром же проходит рефреном по страницам всех последних рассказов и повестей Пиранделло.

«Стать как камень» — это и значит лишиться сознания, которое, как кажется отчужденному человеку, только мешает ему пробиться к самому себе: «Сознание — это присутствие в нас других» («Кто-то, никто, сто тысяч»).

Итак, лишиться сознания, если не совсем, то хотя бы на какое-то время. Скажем, во сне, как это происходило с героем рассказа «Ты смеешься!», который хотя и не помнил своих снов, все-таки надеялся, что во сне он бывает счастлив, потому что во сне он смеется.

Или хотя бы на несколько минут каждый день сбрасывать привычный облик. Герой рассказа «Тачка», важный чиновник, почтенный отец семейства, придя домой, запирается в кабинете и, сам не зная почему, подняв за задние лапы свою собаку, некоторое время водит ее так по комнате. А потом отпирает дверь и как ни в чем не бывало приступает к обычным занятиям.

Вот такие вот делать выгородки среди того невыносимого, что называется жизнью. Играть в тачку с собакой. Или обороняться от вторжения в тебя твоих близких (самых чужих из чужих!), мысленно отсылая их в отдаленные географические области («География — вот лекарство»). Делать выгородки, маскироваться, выходить из образа, Из себя, «из ума». Ибо только лишаясь сознания самого себя, стано-

ваясь как дерево или камень, отчужденный человек обретает утраченное счастье непосредственного восприятия окружающего. Безумие — это цена, которую приходится платить за то, чтобы увидеть жизнь крупным планом. Не замутненную, не запыленную, не ту, что едва видна за стеклом отчуждения — без вкуса, без цвета, без запаха, а первоизданную, еще влажную, свежую, увидеть с той упоительной яркостью, с какой видится мир после дождя или после слез. «И даже воздух — он тоже новый!» («Кто-то, никто, сто тысяч»).

Таким в момент кульминации катастрофы предстает мир героям поздних рассказов Пиранделло «Чинчи» и «Гвоздь». Таким, наконец, он является герою романа «Кто-то, никто, сто тысяч», который предпочел стать никем, лишь бы не быть тем, кем создали его обстоятельства, — ростовщиком и сыном ростовщика, послушным мужем своей жены. Он добровольно лишается положения, состояния, семьи, обретая взамен всего утраченного давно забытую способность жить мгновением: «Я умираю каждое мгновение и тут же рождаюсь заново, живой и цельный, ничего не помня о прошлом, рождаюсь уже не в самом себе, а во всем, что меня окружает».

Эти поиски подлинного бытия — экзистенции — посреди жизни, которая не твоя, напрямую связывают Пиранделло с поисками, которые позже были предприняты французскими экзистенциалистами, и поразительно сходство некоторых страниц Пиранделло со страницами, скажем, Камю.

Так, например, глава «Кража» в романе «Кто-то, никто, сто тысяч» воспринимается как этюд к «Постороннему» Камю — так похожа эта мучительно распяемая летним зноем апатия Москарды на чреватую убийством апатию Мерсо. Недаром и герой Пиранделло признается, что способен в тот момент был убить. А мальчики, герои рассказов «Чинчи» и «Гвоздь», уже и убивают — совсем как Мерсо, — убивают, подчиняясь импульсивному порыву, потому что они, живущие экзистенциально, стали как камень, как дерево, как зверь.

Но различие между Пиранделло и ранним Камю, Камю — автором «Постороннего», состоит в том, что Пиранделло не может занять позицию неучастия, неосуждения, несочувствия: лирическое у Пиранделло означает гуманистическое.

И оттого, что через лирическую окрашенность повествования мы ясно видим отношение Пиранделло к описываемому, мы понимаем, что утрата человеком сознания самого себя, «выход в безумие», в глазах Пиранделло не выход, а трагический тупик. Человек погибает как человек, отказавшись от человеческих связей, пусть даже отказ его был продиктован потребностью вырваться из лжи, в которую эти связи превратились.

Человек погибает не только потому, что он — существо общественное («сознание — это присутствие в нас других»), но и потому, что, порвав все связи, он лишается возможности следовать тем мо-

ральным императивам, которые укоренены в нем как врожденные инстинкты.

Недаром же Москарда, вроде бы совсем уже убедившийся, что нет в нем ничего, что принадлежало бы только ему, что не было бы привнесено в него другими, вдруг чувствует себя задетым за живое на такой глубине, которая «другим» недоступна, и понимает, что задетое в нем и есть нравственное чувство, которое он называет («чувством бога»). «Это бог во мне не хотел, чтобы меня называли ростовщиком».

Потому что человек — это все-таки человек, а не камень, не дерево, не зверь. Как бы ни был он несчастен в своем отчуждении, как бы ни старался он, преодолевая это отчуждение, раствориться в безответственной стихии природы, где-то в самой глубине в нем живет «чувство бога», благодаря которому он способен ощутить себя задетым даже тогда, когда почти уже превратился в дерево или камень.

И за эту способность Пиранделло прощает человеку все.

И оттого, что прощает, у него нет той холодноватой отстраненности естествоиспытателя, с которой писал своего «постороннего» Камю. Пиранделло любит своих героев, он к ним пристрастен — чем дальше, тем больше.

Это лишь вначале он был способен на такую «объективную» натуралистическую зарисовку, как «Муха» или «Нотариус Боббио», где внешний облик или болезнь персонажа отвратительны именно в своих натуралистических подробностях.

Потом, каких бы уродов и уродцев ни писал Пиранделло, они уже никогда не будут отвратительны, потому что Пиранделло их нежно любит. Любит за то, что они, такие хрупкие, такие беззащитные, такие странные и чудаковатые, олицетворяют собою слабость, которая для писателя, современника и свидетеля фашизма с его культом торжествующей силы, была гарантией человечности. Как бы ее метой.

Характерно, что слабые герои Пиранделло существуют не сами по себе, а в постоянном противостоянии тупой и настойчивой силе, которая их давит и притесняет. По большей части она, эта сила, принимает у Пиранделло (и в этом, наверное, сказались трагические обстоятельства его личной жизни) образ женщины, являющей собою в противовес мужчине как бы олицетворение бесчеловечной энергии (жена в рассказе «Ты смеешься!»), жена в «Черепаше», жена в повести «Ну хорошо», невестка в «Катарской ереси» и т. д.)¹. И не только тупые, холодные, жестокие насильницы, но и те, легкрылые и щебечу-

¹ Человечная женщина, «женщина-душа» появляется у Пиранделло крайне редко. Как правило, это либо больная, либо обреченная болезни женщина, то есть женщина, исключенная из практической сферы жизни («Пушинка», «Посещение»).

щие, что жили рядом с героем рассказа «Когда я был сумасшедшим...» или Москардой («Кто-то, никто, сто тысяч»), — все равно бесчеловечная сила, потому что они не знают, что такое слабость: здоровые, ни в чем не сомневающиеся, практичные, энергичные.

Хилые же и слабые герои Пиранделло не то чтобы восстают, они просто сопротивляются, тихо и упорно, сопротивляются, чтобы сохранить себя. Сбегает из дому, ворча и роняя из карманов крошки от меренг, профессор Ламис, герой «Катарской ереси». Квартира и имущество остались невестке, ей же отошло профессорское жалование, но разве мало, что спасая он сам! Убегает от невыносимого гнета женской опеки чиновник из рассказа «Бегство», убегает и погибает, но погибает уже после того, как попытался вырваться. И неожиданно для самого себя, просто настояв на капризе, избавляется от тупой и холодной жены прелестный маленький мистер Мышкоу из рассказа «Черепашка».

Странные люди и странный бунт! Что поделаешь, чудачки! Вот таким вот сплошным чудачеством, утверждением своего каприза вопреки всем доводам здравомыслия сделал свою жизнь дядя Фифо, крохотный лысый хлопотун и зануда из рассказа «Прах». Но интересно, что он не только «сохранял себя», пробивая дорогу своим капризам в мире здравомыслящей силы, — его присутствие в этом мире согревало других. И как удивились эти другие, видевшие в старике просто досадную помеху, когда он умер и их жизнь от этого опустела!

В общем, они не бог весть какие образцы добродетели, эти «положительные герои» Пиранделло, но их человечность, проистекающая из их слабости, несомненна. И за эту-то человечность и любит их Пиранделло, и его любовь сквозит во всем, им написанном.

Эта любовь может выражаться у него открыто, в горько-ироническом комментарии, обнаруживающем сочувственное отношение автора к описываемому, ибо ирония Пиранделло никогда не бывает ледяной и беспощадной. Это скорее любовная усмешка. Но и не выраженная открыто, она всегда сквозит в повествовательной ткани Пиранделло, потому что все приемы, к которым он прибегает, преследуют одну цель: создать у читателя ощущение хрупкости, уязвимости, незащитности изображаемого им мира.

Это ощущение рождает сама фраза Пиранделло, его необычно долгий период с бесконечно нанизываемыми придаточными предложениями, тяготеющими, как правило, не друг к другу, а к главному предложению. В периоде Пиранделло нет той уверенной инженерии, с какой выстраивает из мощных, взаимно-поддерживающих сложноподчиненных «балок» свой период Томас Манн. Период Пиранделло — это не инженерная конструкция, а природная: хрупкое гнездо, которое писатель вьет у нас на глазах, добавляя веточку за веточкой, травинку за травинкой, покуда все не замрет в неустойчивом, невесть как держащемся равновесии. Ощущение хрупкости усугубляется еще и обилием

у Пиранделло уменьшительных суффиксов, суффиксов ласкательно-иронических, делающих мир, посредством которых он определяется, не то чтобы игрушечным, но странным образом причастным детству и слабости. И наконец, детальность, подробность пиранделловского описания несет нагрузку не информационную, как это было у веристов, а эмоциональную. Подробности Пиранделло — мелкие подробности: все дело именно в том, что они мелки. Внимание писателя к деталям — это средство выразить отношение к слабому, потому что из хрупких мелочей сложенному, миру. Востренький носик дяди Фифо и два десятка крашенных волосиков в его усах («Прах»), пучок травы в финале рассказа «У вас на спине смерть», «светящиеся, как раковинки», ногти на пальцах старого профессора («Катарская ересь»), прекрасная женская грудь, на мгновенье мелькнувшая в вырезе платья, грудь, обреченная смертельной болезнью и оттого еще более прекрасная («Посещение»), — все это детали, отобранные пристрастным, потому что жалеющим и любящим, взглядом. И потому эти детали всегда складываются в одну и ту же картину.

Бледных, слабых, странных героев Пиранделло словно относит и прибывает к пыльной обочине, как весенний ветер прибывает во все углы и закоулки легкий древесный мусор: тополинный пух, невесомые кленовые «носики» — прозрачную, хрупкую, обреченную материю жизни.

Их относит и прибывает к обочине, но они сопротивляются, они топорщатся, такие живые и человеческие в этом своем желании сохранить себя! Такие же живые и человеческие, как герои Феллини, герои не героические, но обладающие неисчерпаемой силой, которую придает им их слабость.

В конце 1970-х годов Феллини снял документальный фильм «Клоуны», в котором чудачество и странность своего любимого героя возвел в высшую степень, сделав из него клоуна: смешного, нелепого, нескладного, который что ни сделает — все не так, но от которого в мире становится теплее. А в своих мемуарах Феллини написал, что, когда снимал этот фильм, все люди на улице стали казаться ему клоунами и что теперь он склонен думать, что так оно и есть. И даже беретесь разделить человечество на клоунов «белых» и «рыжих».

Взгляд Феллини на мир, конечно же, чрезвычайно субъективен, как и взгляд Пиранделло. И эта печать субъективности, свойственная всем художникам лирического склада, тоже объединяет творчество великого писателя и современного режиссера. Но, главное, их объединяет то, что печать субъективности не мешает им видеть ясно. Пиранделло и Феллини так широки и человечны, что могут «пропускать» через свой собственный душевный опыт всю картину мира, ничего не искажая в ней по существу. От искажения их предохраняет любовь.

И в этой эстафете от писателя к режиссеру — непрекращающийся ток гуманистической традиции, которая в случае с Пиранделло критикой была акцентирована недостаточно. В представлении большинства читателей Пиранделло до сих пор остается прежде всего драматургом. Но если рассматривать его лишь как автора прославленных пьес, пьестеорем, не учитывая огромного массива его лирической прозы, он кажется совсем не тем, чем он был. Он кажется большим пессимистом, большим скептиком, большим релятивистом. И гораздо больше, чем это было на самом деле, кажется вписанным в проникнутую отчаянием атмосферу Европы 1920-х годов.

На самом же деле Пиранделло, как и все великие художники, принадлежит не только своему времени. Корни творчества Пиранделло уходят далеко в прошлое, а влияние его простирается до наших дней. Он живет во времени непрекращающейся, нескудеющей жизнью, как живут создатели великих, то есть проникнутых духом гуманизма, произведений искусства.

С. Бушueva

Н О В Е Л Л Ы



СВЕТ И ТЬМА

1

В просветы меж сплетенных ветвей, как легкий зеленый портик укрывших всю длинную дорогу вдоль стены старинного города, то и дело заглядывала луна и словно говорила долговязому прохожему, который решился забрести сюда в такой неурочный час и в такую ненадежную темень: *«Да, но я-то тебя вижу...»*

Прохожий, будто его и вправду обнаружили, остановился и, проведя ручищами по груди, воскликнул с неподдельным отчаяньем:

— Ну да, это я, Чунна! Такое дело...

И сразу листья в вышине принялись без умолку шуршать, словно передавая друг другу по секрету его имя: «Чунна... Чунна...», будто они, столько лет знакомые с ним, знали, почему он в этот час в полном одиночестве шагает по небезопасной дороге. И таинственно шушукались и шушукались потом, кто он и что сотворил... *ш — ш — ш...* Чунна, Чунна...

Тогда, обернувшись, он стал вглядываться в глубокий темный тоннель дороги, то там, то здесь населенный причудливыми лунными призраками: может, кто-нибудь и в самом деле... *ш — ш — ш...* Потом, посмотрев по сторонам, приказал себе и листьям замолчать... *ш — ш — ш...* и снова зашагал, сцепив руки за спиной.

Помаленьку, помаленьку, господа, и вот две тысячи семьсот лир. Две тысячи семьсот лир выкрадено из кассы главного табачного склада. Следовательно, виновен в... *ш — ш — ш...* в хищении государственной собственности... Такое дело... Помаленьку, помаленьку. Но как? Почему? Ну, насчет почему, если уж на то пошло, он найдет доводы в свое оправдание, — он, но не ревизор завтра.

— Чунна, в кассе не хватает двух тысяч семисот лир.

— Не хватает. Такое дело... Я их взял себе, господин ревизор.

— Взял себе? Как? Каким образом?

— Обыкновенным, господин ревизор, вот так, двумя пальцами.

— Понятно. А вы храбрец, Чунна! Взял, как понюшку табаку. Что ж, с одной стороны, приношу вам свои поздравления, но с другой, если не возражаете, пожалуйста в каталажку.

— Ну нет, от этого увольте, господин ревизор. Возражаю, и даже очень. Так что, сделайте милость, послушайте, как оно будет. Завтра Чунна отправится на извозчике в Марину. Да, такое дело... И в той самой одежке, какая сейчас на нем, утопится в море. Нет, он еще нацепит вот сюда, на грудь, две медали за участие в походе шестидесятого года¹, а на шею, господин ревизор, навяжет красивый орден в десять килограммов весом — точь-в-точь монах по обету. Смерть неприглядна, дражайший господин ревизор, ноги у нее как сухие палки, но Чунна после шестидесяти двух лет невоздержной жизни в каталажку не отправится.

Уже две недели вел он эти удивительные диалогизированные монологи, сопровождая их бурной жестикуляцией. И как нынче луна в просветы меж сплетенных ветвей, так подглядывали за Чунной почти все его знакомые — они день за днем смаковали забавную чудачливость его поведения и интонаций.

— Для тебя, Никколино! — продолжал меж тем Чунна, мысленно обращаясь к сыну. — Для тебя крал. И, да будет тебе известно, не раскаиваюсь. Четверо мальчишек, господи предержащий, четверо мальчишек без куска хлеба! А твоя жена, Никколино, о чем думает она? Ни о чем она не думает, только хохочет: она снова брюхата. Четыре плюс один равно пяти. Плохо ли! Плодись, сынок, плодись, заселяй маленькими Чуннами всю округу! Раз уж нужда не дает тебе других радостей, плодись, сынок! Завтра рыбы питаются твоим папой и, значит, просто обязаны будут давать потом пропитание тебе и многочисленным твоим отпрыскам. Не забудьте: каждый божий день полный баркас рыбы для моих внуков!

Мысль возложить эту обязанность на рыб пришла ему в голову только что; несколько дней назад он внушал себе другое:

¹ Имеется в виду сицилийский поход добровольческих отрядов Джузеппе Гарибальди (1807—1882), так называемой гарибальдийской «Тысячи», в результате которого Сицилия воссоединилась с Италией.

— Яд! Яд! Лучшей смерти не сыскать! Маленькая таблетка — и спокойной вам ночи!

Через служителя Химического института Чунна добыл несколько кристалликов мышьяковистой кислоты. Они были у него в кармане, даже когда Чунна исповедовался священнику — умолчав, разумеется, о намерении покончить с собой — и получил отпущение грехов.

— Умереть — это еще куда ни шло, но сперва причастившись благодати.

«Только не от яда, — тут же подумал он. — Одолеют судороги, человек существо подлое, позову на помощь, не ровен час, меня спасут... Нет, нет, есть лучший выход: море. Медали на грудь, орден на шею, и будьте здоровы! К тому же какой крик поднимется! Господа, гарибальдиец-плавун, новый вид китов! А ну-ка, Чунна, скажи, кто водится в море? Рыбы там водятся, Чунна, и они голодные, как твои внуки на земле, как птицы в небе...

Извозчик заказан на завтра. В семь утра выеду по холодку; час, не больше, — и вот она, Марина, а в половине девятого — прощай, Чунна!»

Шагая по дороге, он принялся сочинять письмо, которое оставит. Кому его адресовать? Жене, старухе горемычной, или сыну, или кому-нибудь из друзей? Ну нет, будь они неладны, друзья! Кто из них помог ему? Сказать по правде, он никого и не просил о помощи, но потому не просил, что заранее знал: никто над ним не сжадется. И вот доказательство: он уже две недели бродит по улицам, как муха с оторванной головой, все кругом это видели, и что же, ни одна собака не остановилась и не спросила: «Что с тобой, Чунна?» Вместо этого все обалдело смотрели на него, а потом, неизвестно почему, отворачивались и улыбались...

2

Он проснулся ровно в семь утра, когда служанка уже встала, и был потрясен тем, что всю ночь проспал крепчайшим сном.

— Извозчик уже здесь?

— Да, дожидается вас.

— Сию секунду буду готов. Ох, башмаки, дай мне их, Роза. Погоди, сейчас отопру дверь.

Вскочив с постели и направляясь за башмаками, Чунна сделал еще одно потрясающее открытие: накануне вечером он по привычке выставил их за дверь, чтобы слу-

жанка почистила. Как будто не все равно, в каких башмаках, чищенных или нечищенных, явиться на тот свет!

В третий раз он был потрясен, когда, открыв шкаф, потянулся за костюмом, который всегда надевал для поездок, чтобы сберечь другой, парадный, более новый или, вернее сказать, менее поношенный.

— Для кого мне сберечь его теперь?

Словом, все шло так, будто он и сам в глубине души не верил, что скоро покончит с собой. Сон... башмаки... костюм... А потом, нате вам, стал умыться, а потом, как обычно, подошел к зеркалу и начал аккуратно завязывать галстук...

— Что ж это я, дурака валяю?

Нет. Письмо. Куда он его дел? Вот оно, в ящике ночного столика. Нашлось!

Прочитал обращение: «Никколино..»

— Куда его положить?

Решил, что лучше всего — на подушку, на то место, где в последний раз покоилась его голова.

— Там оно сразу бросится в глаза.

Он знал, что ни жена, ни служанка раньше полудня не примутся за уборку спальни.

— В полдень я уже три с половиной часа как...

Оборвал себя и обвел глазами убогую, скудно обставленную спальню, словно прощаясь с ней, и остановился взглядом на серебряном, пожелтевшем от времени распятии, снял шляпу и преклонил колени.

Но в глубине души ему еще не верилось, что это — наяву. В глазах, в носу все еще тяжело отдавало сном.

— Боже мой, боже мой!.. — пробормотал он, вдруг обессилов.

И стиснул рукой виски.

Но тут же вспомнил, что его ждет извозчик, и быстрыми шагами вышел из дому.

— Прощай, Роза. Скажи, что вернусь под вечер.

Лошади шли рысью (этот болван извозчик навязал им колокольчики, как на деревенской ярмарке), и у Чунны, взбодренного свежим воздухом, сразу разыгралось неотлучное от него причудливое воображение: он представил себе музыкантов из муниципального оркестра — плюмажи на их головных уборах развеваются, они бегут за извозчиком, кричат, машут руками, просят остановиться или ехать помедленнее, потому что хотят проводить Чунну траурным маршем. А это невозможно, когда бежишь во всю прыть, задирая ноги.

— Благодарствуйте, друзья мои! И прощайте! Я вполне обойдусь без марша. С меня хватит дребезжания оконных стекол в ландо и этих веселеньких колокольчиков.

Когда последние дома остались позади и кругом простерлись поля, точно залитые морем золотистых хлебов, там и сям омывавшим оливы и миндальные деревья, Чунна вздохнул полной грудью. И, словно ощущение жизни просветлилось в нем до полной прозрачности, он почувствовал тайную и как бы уже отделившуюся от него любовь к ней, любовь, которая только и надеялась, только и притязала на блаженную радость, распахнув глаза, распахнув все чувства, безвольно впивать в себя эту жизнь.

Справа, под рожковым деревом, он увидел крестьянку с тремя ребятишками. «Точь-в-точь курица с цыплятами под крыльями», — подумал Чунна, окинув мимолетным взглядом низкорослое раскидистое дерево, и приветственно помахал ему рукой. Ему хотелось послать последний свой привет всему, что попадалось на глаза, но в этом желании не было и тени сожаления: казалось, счастье, которое переполняло его в эту минуту, было достаточной наградой за неминуемую утрату жизни.

Тяжело громыхая, ландо, запряженное парой, несло теперь вниз по пыльному и все более крутому шоссе. В гору и под гору тянулись длинные вереницы повозок; впряженные в них кони и мулы, щедрой рукой возниц прихотливо разубранные бантами, кистями, фестонами, знали дорогу лучше своих хозяев, которые мирно спали, уткнув носы в большие красные хлопчатого полотна платки.

Справа и слева на обочинах сидели, отдыхая на кучах щебня, нищие в грязных лохмотьях, калеки, слепцы — одни из приморского селения поднимались в город на горе, другие, напротив, спускались в селение, надеясь выпросить хотя бы грош или кусок хлеба и протянуть еще один день.

Глядя на них, Чунна опечалился и вдруг подумал, а не пригласить ли весь этот нищий сброд к себе в ландо: «Ну-ка, живее! Живее! Давайте скопом утопимся в море! Карета обездоленных! Залезайте же, дети мои, залезайте ко мне! Жизнь прекрасна, да не про нас».

Он сдержал себя, чтобы извозчик не догадался о цели его поездки. Но еще раз улыбнулся, представив себе эту

компанию оборванцев рядом с собой в ландо, и, точно они в самом деле были рядом, тихонько повторял приглашение, заметив на дороге еще какого-нибудь бедолагу:

— А ну, влезай и ты! Чего там, провезу задаром!

3

В приморском селении Чунну знали решительно все.

В пору своего процветания он владел на этом длинном и прямом участке побережья чуть ли не самыми большими складами серы. Но коммерсант он был никудышный и в считанные годы его разорили или, как выражался сам Чунна, «сожрали живьем»; принимали в этом участие многие, в особенности же отличался как раз тот Чуннин помощник, которому он слепо доверял. Разжившись на хозяйских деньгах, этот человек стал не только одним из богатейших людей в округе, но и получил дворянство за «коммерческие заслуги». Не зря Меркурий, покровитель плутов, одновременно и покровитель торгашей.

— Драгоценнейший мой Чунна! — услышал он, вылезая из ландо, и немедленно очутился в объятиях некоего Тино Имбро, молодого своего приятеля, весельчака из весельчаков, который тут же вlepил ему два звонких поцелуя, одновременно хлопая по плечу.

— Ну как вы? Что вы? Каким ветром вас занесло в нашу дыру?

— Есть одно дельце... — смущенно улыбнулся Чунна.

— Собираетесь уплатить или стребовать? Если уплатить — что ж, отлично, вроде как самому полезть в петлю. А если стребовать — зря не надейтесь, но и не расстраивайтесь понапрасну... Это ландо в вашем распоряжении?

— Да, я нанял в оба конца.

— Отлично! Итак, извозчик, распрягай свою пару. Дражайший Чунна, я вас конфискую. Что это с вами? Вас сегодня словно подменили: нос побелел, губа отвисла... Что с вами? Голова болит? Ну, у меня есть одно такое средство, что она сразу пройдет: от него любая болячка проходит.

— Спасибо, Тино, друг мой, — ответил Чунна, растроганный неподдельной радостью этого балагура. — Но только мое дело и вправду не терпит отлагательства. А потом придется стремглав мчаться домой. Ко всему

еще, понимаете ли, на меня сегодня может свалиться ревизор.

— В воскресенье? И потом, как это — не предупредив заранее?

— Вот новости! — ответил Чунна. — Предупреждения захотел! Они же скоты, эти ревизоры. Бросаются на тебя, когда ты меньше всего ждешь, как сокол на цыпленка.

— Это вы, что ли, цыпленок? — Имбро поднял руку, делая вид, что пытается измерить великанский рост Чунны. Потом продолжал: — И слушать ничего не желаю. Сегодня праздник — значит, самое время повеселиться. Я вас конфискую. Имейте в виду, я снова один-одинешенек. Моя жена, бедняжка, дни и ночи пролила слезы. «Что приключилось, душенька, скажи мне?» — «Хочу к мамочке! Хочу к папочке!» — «Только и всего? Глупенькая! Поезжай к мамочке, поезжай к папочке, они дадут тебе конфетку, ах, девицы, вы как птицы!» Вы мой наставник, скажите, я правильно поступил?

Тут засмеялся и извозчик на козлах. Имбро воскликнул:

— А ты еще здесь, пустая твоя голова? Марш! Сказал тебе — распрягай лошадей!

— погоди, — сказал тогда Чунна, вытаскивая из нагрудного кармана бумажник. — Раньше я заплачу, а потом...

Но Имбро схватил его за руку.

— Одумайтесь! Платить и умирать — чем позже, тем лучше.

— Нет, лучше заранее, — настаивал Чунна. — Раз уж я, пусть ненадолго, но застреваю в этом гнездышке добропорядочных людей, значит, есть надежда, что меня обчистят до нитки, подметки на ходу срежут...

— Сказал, как припечатал! — закричал Имбро и бросился обнимать Чунну. — Истинно речь моего старого учителя! Теперь я узнаю тебя! Ладно, платите и пойдем!

С горькой улыбкой Чунна качнул головой, расплатился с извозчиком и спросил Имбро:

— Куда вы меня поведете? Но помните — на полчаса, не больше. У меня тут дело.

— Смеетесь вы, что ли? Извозчику уплачено, он хоть до вечера будет ждать. И слушать ничего не желаю. А как нам провести день, это моя забота. Видите, я с сумкой, собирался выкупаться. Вот и выкупаемся вместе.

— Какая нелепость! — энергично запротестовал Чунна. — Мне купаться? Что угодно, только не это!

Тино Имбро изумленно воззрился на него.

— Но почему нам не выкупаться?

— Потому что, — заявил Чунна, набычившись. — Я сказал нет, значит — нет. Если я и выкупаюсь, то позже...

— Но сейчас самое время, — настаивал Имбро. — Искупаемся, нагуляем аппетит, а потом напрямиком в «Золотой лев»: набьем животы и глотки промочим. Доверьтесь мне.

— Праздник ко времени!.. Смех, да и только. К тому же у меня нет с собой купального костюма, ничего нет...

— Пошли! — воскликнул Имбро, хватая его за руку. — Все возьмем напрокат в купальне.

Снова горько улыбнувшись, Чунна подчинился стремительному и ласковому напору молодого своего друга.

Немного спустя, запершись в кабинке, он плюхнулся на скамью и прислонился головой к перегородке; тело его обмякло, на лице застыло выражение какого-то гневного страдания. Потом, передернувшись, он тяжело вздохнул и весь съежился, уставив локти в колени и стиснув ладонями виски; издевательский и горький беззвучный смех опять растянул ему рот.

— Предварительная проба морской стихии... — пробормотал он.

В перегородку забарабанили, и из соседней кабинки Имбро прокричал:

— Вы готовы? Я уже в купальном костюме. Тинино, знаменитый стройностью ног.

Чунна встал.

— Сию минуту разденусь.

Он начал раздеваться. Осмотрительно вынув часы из жилетного кармана и собираясь спрятать их в башмак, он взглянул на циферблат. Стрелки показывали без малого половину десятого, и он подумал: «Час времени чистого выигрыша!» И сразу знобящее ощущение счастья охватило его, проникло в самые глубины существа — словно он продолжает жить, хотя уже умер. А ведь эта жизнь и в нем самом, и вокруг уже час как должна была превратиться для него в небытие. Он оглядел свои голые ноги, руки, ладони — они все еще служили ему, он все еще ими владел, двигал по собственной воле. А через три-четыре часа... Лицо его помрачнело, он начал спускаться по мокрой лесенке, чувствуя, как им завладевает ледяной холод.

— Прыгайте! Прыгайте в воду! — крикнул Имбро; он уже окунулся и теперь делал вид, что собирается обрызгать Чунну.

— Нет, нет, не надо! — в свою очередь крикнул тот, дрожа и передергиваясь от страха, который всегда одолевает нас, пригвождает к месту перед зыблущейся, переливчатой, стеклянисто-плотной морской стихией. — Подождите, сейчас влзу... Мне не до шуток... Дайте собраться с духом... Бр-р-р... Какая холодная! — добавил он, касаясь воды скрюченными пальцами ноги. И вдруг, словно осененный какой-то мыслью, нырнул.

— Bravo! Bravo! — крикнул Имбро, едва Чунна встал на ноги, истекая струями, как фонтан.

— Ну не храбрец ли? — сказал Чунна, обтирая руками голову и лицо.

— Плавать умеете?

— Нет, плескаюсь у берега...

— Ну, а я поплаваю немного.

В огороженном перед купальнями месте было совсем мелко. Чунна присел на корточки, одной рукой держась за жердь, другой поглаживая воду, словно уговаривая ее: «Будь умницей, будь умницей!»

Но когда через недолгое время Имбро вернулся, он Чунны не обнаружил. Вылез уже, что ли? Решив проверить, молодой человек направился к лесенке кабинки и тут на поверхность всплыл его друг, весь багровый, еле переводя дух.

— Да вы спятили! Что это с вами? От такого ныряния, не ровен час, жилы на шее лопнут.

— Ну и пусть лопаются!.. — задыхаясь, отчаянным голосом выговорил Чунна; глаза его чуть не вылезли из орбит.

— Воды наглотались?

— Наглотался...

— Ну, знаете... — произнес Имбро и жестом снова выразил сомнение в здравом рассудке своего старого друга. Пристально посмотрев на Чунну, он спросил: — Хотели проверить дыхание или вам стало худо?

— Проверять дыхание, — отрезал Чунна, опять проводя рукой по мокрым волосам.

— Тогда десять с плюсом малышу! — воскликнул Имбро. — Идемте скорее, идемте оденемся. Вода сегодня холоднющая. И аппетит мы уже нагуляли. Но скажите правду: вы плохо себя чувствуете?

Чунна несколько раз напряжил грудь, как индюк.

— Нет, — ответил он, окончив свои упражнения. — Я чувствую себя отлично. Все прошло. Но идемте, идемте, пора и впрямь одеться.

— Макароны с морскими гребешками и гло-гло-гло... глоток винца. Об этом уж позабочусь я, у меня кое-что припасено: подарочек родных моей жены, голу-бушки моей. Еще непочатый бочоночек. Ясно?

4

Встали они из-за стола около четырех. В дверях траттории появился извозчик.

— Запрягать?

— Сгинь, не то!.. — завопил Имбро; лицо у него пылало, глаза сверкали, одной рукой он ухватил Чунну за лацканы, в другой зажал пустую бутылку.

Чунна, такой же багровый, не противился, улыбался, молчал, точно ничего не слышал.

— Я же сказал, до вечера никуда не уедете! — продолжал Имбро.

— Правильно! Правильно! — одобрил его хор голосов.

Потому что в большом обеденном зале собралось человек двадцать друзей Чунны и Имбро, к ним присоединились завсегдатаи траттории, застолье получилось многолюдное, сперва просто веселое, потом все более буйное: смех, выкрики, шуточные тосты, оглушительный гам.

Тино Имбро вскочил на стул. Есть предложение: всем вместе отправиться в гости к капитану английского парохода, пришвартованного в порту.

— Нас с ним водой... да что там водой, вином не разольешь! Этаким юнец лет под тридцать, сплошная борода и вдобавок запас такого джина, что вознесся бы в рай, господи спаси и благослови, даже наш нотариус Каччагалли!

Предложение было встречено громом рукоплесканий.

Когда часов около семи честная компания после визита на пароход разбрелась кто куда, Чунна в страшном возбуждении заявил:

— Дорогой Тино, мне пора. Не знаю, как и благодарить тебя...

— Пустяки какие! — прервал его Имбро. — Займитесь лучше делом, о котором говорили мне утром.

— Да... дело... ты прав... — пробормотал Чунна, хмурясь и хватаясь за плечо друга, точно у него подкосились

ноги. — Да, да... ты прав... Подумать только, я же ради него и приехал... Пора с ним покончить...

— А может, оно не такое уж срочное, — заметил Имбро.

— Срочное, — угрюмо сказал Чунна и повторил: — Пора с ним покончить. Я напился, наелся... а теперь... Прощай, Тинино. Дело очень срочное.

— Проводить вас? — спросил тот.

— Что, что такое? Проводить меня? Да, это было бы забавно... Нет, спасибо, Тинино, спасибо... Отправляюсь один, без провожатых. Напился, наелся... а теперь... Что ж, прощай.

— Тогда я подожду вас здесь, возле ландо, тут и прощаемся. Только не задерживайтесь.

— Не задержусь, не задержусь! Прощай, Тинино. И зашагал прочь.

Имбро, скорчив гримасу, подумал: «Ох, годы, годы! Просто не верится, что Чунна... Он и выпил-то всего ничего».

Чунна зашагал в сторону западной, самой протяженной части порта, еще не выровненной, где громоздились скалы, а меж них бились волны, то с глухим шумом набегая, то с долгими всхлипываниями откатываясь. Он твердо держался на ногах, тем не менее перескакивал с камня на камень — может быть, в неосознанной надежде поскользнуться и сломать ногу или нечаянно свалиться в море. Он отдувался, пыхтел, мотал головой, стараясь избавиться от неприятного щекотания в носу; чем оно было вызвано — потом, слезами или брызгами пены набегающего на скалы прибоя, — он и сам не знал. Добравшись до конца скалистой гряды, Чунна тяжело плюхнулся наземь, снял шляпу, зажмурился, стиснул губы и раздул щеки, как будто собирался вместе с воздухом выдуть из себя весь накопившийся в нем ужас, все отчаяние, всю желчь.

— Что ж, оглядимся, — произнес он, сделав наконец глубокий вздох и открыв глаза.

Солнце уже заходило. Море, стеклянисто-зеленое у берега, с каждой минутой все ярче отливало золотом вдоль неоглядной, зыблущейся черты горизонта. Небо было в огне, и на фоне этого закатного сверкания и беспокойной морской зыби воздух казался особенно недвижно-прозрачным.

— Мне вон туда? — помолчав, задал себе вопрос Чунна, глядя поверх скал на море. — Из-за двух тысяч семи-

сот лир? — Теперь эта цифра казалась ему ничтожной. Как капля в море. — Те самые негодяи, которые сожрали меня живьем, разъезжают по всей округе, им почет и уважение, они теперь дворяне, а я за две тысячи семьсот лир должен... Знаю, я не имел права воровать, но это был мой долг, черт вас всех подери, да, да, долг, господа! Именно долг, когда четверо малышей плачут и просят хлеба, а у тебя эти проклятушие деньги в руках и ты только и делаешь, что их считаешь. Общество не дало тебе права воровать, но ты отец, и в таких обстоятельствах это твой прямой долг. А я дважды отец этим четверым ни в чем не повинным мальчишкам. Если я умру, что с ними станет? По миру пойдут? Пойдут милостыню выпрашивать? Нет, нет, господин ревизор, вы сами заплачете вместе со мной. А если у вас, господин ревизор, сердце как эта каменная скала, что ж, выскажу все судьям: посмотрим, хватит ли у них духу осудить меня. Потеряю место? Найду другое. Нет, господин ревизор, не заблуждайтесь, в море я не брошусь. Ага, вот и баркасы: сейчас куплю килограмм краснобородок, вернусь домой и вместе с внуками съем их за милую душу!

Он встал. Баркасы, распустив паруса, делали на полном ходу поворот. Рыбаки спешили — им нужно было поспеть на рыбный привоз.

Протиснувшись сквозь галдящую толпу, он купил еще живых, бьющихся краснобородок. Но куда их положить? А вот и корзинка — всего несколько солиди; уложил их в нее и — «будьте спокойны, господин хороший, доvezете до дому живехонькими».

На улице перед «Золотым львом» его ждал Имбро — он сразу сделал выразительный жест:

— Прошло?

— Ты о чем? А, о вине... Подумаешь! Есть о чем говорить! — отозвался Чунна. — Смотри, купил краснобородок. Дай я тебя расцелую, Тинино, и тысячу тебе благодарностей.

— Это еще за что?

— Когда-нибудь, может, объясню, за что... Эй, извозчик, подними верх, не хочу, чтобы меня видели.

— Боятесь, что ограбят по дороге? — смеясь, спросил Имбро. — Значит, уладили дельце? Поздравляю! И до свиданья, до свиданья!

Как только выехали из поселка, дорога пошла в гору.

Лошади с трудом тащили ландо, каждый свой шаг сопровождая поматыванием головы, и звяканье колокольчиков словно подчеркивало, как медленно и натужно они берут подъем.

Время от времени извозчик подбадривал несчастных кляч протяжными и унылыми понуканиями.

На полпути к дому совсем свечерело.

Сгустившаяся тьма вместе с тишиной, которая будто вслушивалась, не раздастся ли хоть какой-нибудь звук в пустынном безлюдье этих мало знакомых Чунне мест, отрезвили его, все еще отуманенного винными парами, ослепленного великолепием заката на море.

Когда начало темнеть, он закрыл глаза, стараясь уговорить себя, что вот сейчас уснет. Но вдруг обнаружил, что в давящем мраке ландо глаза его снова широко раскрыты и устремлены в непрерывно дребезжащее оконце напротив.

Ему казалось, что он сию секунду проснулся. И вместе с тем у него не было сил встряхнуться, пошевелить хоть единым пальцем. В тело точно налили свинца, голова стала вчетверо тяжелее обычного. Чунна расслабленно откинулся назад, упершись подбородком в грудь, протянув ноги к переднему сиденью, левую руку засунув в брючный карман.

В чем дело? Может, он и вправду пьян?

— Остановись... — пробормотал он, с трудом ворочая языком.

И тут же представил себе, как вылезает из ландо и глухой ночью наобум бредет полем. Услышал, как где-то далеко залаяла собака, и подумал: собака лает на него, бредущего вон там, вон там... в долине...

— Остановись... — после короткой паузы почти беззвучно повторил он, медленно смыкая веки.

Нет, он должен немедленно выскочить, выскочить на ходу и так тихо, чтобы не заметил извозчик, подождать, пока ландо не отъедет немного вверх по крутой дороге, а потом невидимкой бежать, бежать по полям туда, к морю...

Чунна по-прежнему не шевелился.

— Плюх! — произнес он помертвевшими губами.

И тут, словно молния осветила его сознание, он за-

дрожал и правой судорожно сжатой рукой принялся лихорадочно потирать лоб.

Письмо... письмо...

Ведь он оставил на подушке письмо сыну. Сейчас дома... да, сейчас дома его оплакивают как покойника!.. Вся округа сейчас только и говорит, что о его самоубийстве... А ревизор? Конечно, явился... Ему отдали ключи... и, разумеется, он уже заметил недостачу в кассе... Позорное отстранение от должности, нищета, насмешки... тюрьма...

А лошади продолжали тащить ландо, медленно, с трудом.

В ужасе, весь дрожа, Чунна хотел было окликнуть извозчика. А дальше что? Нет, нет!.. Выскочить, не останавливая?.. Он вынул левую руку из кармана, большим и указательным пальцами схватил себя за нижнюю губу, сжав остальные пальцы и что-то в них кроша. Потом, разжав руку, вытянул ее из оконца, подставил под лунный свет и взглянул на ладонь. Так и есть! Яд! Все время лежал в хармане, этот яд, о котором он забыл. Зажмурившись, Чунна сунул в рот кристаллики и проглотил. Быстрым движением достал из кармана остальные и тоже проглотил. Яд! Яд! Внезапно почувствовал пустоту внутри, голова у него закружилась, грудь и живот словно взрезали острым ножом. Чунна начал задыхаться и высунулся из оконца.

— Сейчас умру.

Внизу залитая чистым и мягким лунным светом лежала долина, впереди четко рисовались на опаловом небе высокие совсем черные холмы.

— Сейчас умру... — повторил Чунна.

Но так чудесно было это лунное умиротворение, что и в нем самом все укротилось. Руку он положил на дверцу кареты, подбородок — на руку и, глядя в окно, стал ждать.

Снизу, из долины, доносился немолчный, согласно звенящий хор кузнечиков — казалось, это голос трепещущих лунных лучей на глади тихо струящейся невидимой реки.

По-прежнему опираясь подбородком на руку, Чунна поднял глаза к небу и снова перевел их на черные холмы и долину, словно проверяя, сколько всего остается другим людям — ему-то уже ничего не осталось. Через несколько минут он ничего не увидит, ничего не услышит...

Может быть, время остановилось? Почему он не чувствует никакой боли внутри?

— Значит, не умру?

И сразу, словно мысль немедленно превратилась в то самое ощущение, которого Чунна ждал, он отшатнулся от окна и схватился за живот. Нет, боли пока еще не было... И все-таки... провел рукой по лбу: ага, уже выступил холодный пот! Стоило ему почувствовать этот холод, как ужас смерти целиком завладел им: Чунна весь затрясся под сокрушительным напором черной, чудовищной, непоправимой неизбежности, конвульсивно сжался и зубами прикусил подушку сиденья, стараясь заглушить вопль, исторгнутый первым мучительным спазмом всех внутренностей.

Тишина. Голос. Кто это поет? И луна...

Пел извозчик, протяжно и уныло, меж тем как усталые лошади с трудом тащили черную карету по пыльной дороге, выбеленной луной.

1896 (1922)

ХОЗЯИН ГОСПОДЬ

Много лет назад пастух, большую часть года бродивший со своими стадами по безлюдным горным склонам, согласился позировать заезжему художнику, который получил заказ расписать запрестольную нишу в новой церкви и делал в то время предварительные наброски и картоны.

Даже не полюбопытствовав, кого он должен изображать в сцене из Священного Писания, пастух послушно напялил диковинное одеяние и, сжимая в руке трость, принял угрожающую позу. Но когда вскорости церковь была освящена и с толпой прихожан он пришел на первую службу, то, увидев расписанную нишу и узнав себя в одном из судий, побивающих привязанного к колонне Христа, начал дико вопить, и плакать, и рвать на себе волосы, и топтать ногами:

— Уберите меня оттуда! Я же не какой-нибудь нехристь!

Под нестройный гул (смешки тех, кто узнал его в алтарном изображении, и недоуменные расспросы других, не столь сообразительных) пастуха вытолкали вон из церкви, но он все не унимался, все грозил прикончить

проклятого мазилу, пока старик причетник не пообещал ему, что художник перепишет лицо еврея, не оставит даже намека на сходство. Но кличка Жидок так за ним и осталась, а теперь, по прошествии стольких лет, он уже и сам именовал себя Жидком. Меж тем лицо и весь облик пастуха утратили то выражение неумолимой суровости, из-за которого художник выбрал его моделью для своего непривлекательного персонажа. Состарился Жидок, даже пасти стада был уже не в силах, прибавлялся милостыней, хотя и не выпрашивал ее, вернее, выпрашивал, но на свой особый лад. Он рыскал по безлюдной долине, точно шелудивый пес, потом, понукаемый голодом, приходил в какую-нибудь усадьбу и обращался к первому встречному крестьянину:

— Поди скажи хозяину, пришел сборщик податей. Теперь-то все сразу понимали и улыбались, но когда он впервые таким манером попросил подаяния, пришлось ему объяснить свои слова. И объяснил он их так: все мы здесь, на земле, квартируем у Господа Бога, и для всех он был бы одинаково добрым хозяином, когда бы иные люди не превратили эту землю в свой собственный дом, не желая понять и признать, что ей назначено быть общим домом. Но людям следует помнить, что у Господа есть еще один дом, вон там (и Жидок пальцем указал на небо), и за право жить в нем он хочет получить плату вперед. Бедняки платят каждодневными своими страданиями от голода и холода, а от богачей Господь только и требует, чтобы они хоть изредка делали немного добра. Вот почему он, Жидок, и приходит к богачам как сборщик податей.

Получив милостыню натурой, он возвращался в долину и по пути отмечал взглядом деревья, которые следовало бы считать его собственными: его собственными в силу того, что эту оливу, эту вишню, эту мушмулу, этот гранат произвел на свет не кто-нибудь, а он, когда много лет назад мимоходом выкопал ямку и зарыл в землю косточку, и земля родила дерево... да, родила для него, Жидка. Потому, может, что земля-то знает, кому принадлежит.

И он испытывал к этим деревьям отцовские чувства, они казались ему самыми красивыми, самыми нарядными в долине, и, останавливаясь, Жидок подолгу любовался ими и поматывал кудлатой гривой в подпалинах седины. Отягощенные ветви приглашали его сорвать хоть один плод, одну ягоду, ведь все они принадлежат ему

(ну да, ветви это отлично знали), — вот они, рвы на здоровье... Но он — нет, нет! — не поддавался искушению и со вздохом опускал уже поднятую было руку.

Так он и жил в чужих владениях, под открытым небом.

Ночью спал в заброшенной лачуге-развалюхе, на заре просыпался и начинал бесцельно блуждать по пустынным и все-таки полным жизни просторам, среди безмолвия, пронизанного шелестом листвы и крыльев, а порою взорванного трелью вспорхнувшей птицы.

Он растягивался прямо на земле и погружался в это безмолвие, глядел, как трепещут под легким ветерком травинки, как на камне блаженно греется в лучах солнца ящерица, как в нерушимом покое долины смело порхают белые бабочки.

Зачем растут на земле иные травы? Не для людей, понятно, да и не для животных — животные их не едят... Растут они затем, что так пожелал Господь, и земля родила их, не заботясь о неудовольствии всемогущего человека, который воображает, будто властен над нею; зря воображает — сколько эти травы ни выпальвай, им это только на пользу; ну а здесь, где их никто не трогает, сорнякам и вовсе нет счету, потому что так пожелала земля.

— Господь и меня пожелал, — думал Жидок, — и все-таки нет у меня даже пяди земли, чтобы встать на нее и сказать: «Это мое». Я как эти травы, которые каждый старается выполоть на своем поле. Только там есть мне место, где и они растут на приволье. Проще сказать, где нет хозяина или ему наплевать.

Не раз и не два возвращался он к этой мысли. Жидок знал такой участок заброшенной земли, куда не забредала ни одна живая душа, где, сколько он себя помнил, то есть столько лет, что он и счет потерял, всегда росли сорняки; ни малейшего следа, что хоть когда-то эту землю обрабатывали, ни единого знака, что хоть в давние времена у нее был владелец. Значит, она с незапамятных — по крайней мере для него — пор принадлежала самой себе и вольна была производить на свет не то, что угодно человеку, а то, что заблагорассудится ей самой.

— А что, если вот здесь, посерединке этого участка, куда никто и взгляда не кинет, — думал Жидок, — что, если я выполю сорняки и посею горсть пшеницы — разве зем-

ля не уродит мне хоть немного хлеба? Уродит, как всем рождает... Даже если у нее есть хозяин, так ведь он никогда и не пытался иметь с нее доход, это яснее ясного. Не все ли ему равно, если на этом лоскутке вместо бесполезных сорняков, вырастет пучок хлебных колосьев для меня? Он эту землю забросил, но я и не думаю ее присвоить, я просто постараюсь, чтобы на маленьком участке хоть раз выросли хлебные колосья, а не бесполезные сорняки... Да и кто тут хозяин?

Эта мысль так завладела Жидком, что теперь он просил подать ему не только хлеб насущный, но и горсть зерна.

— Выходит, Господь Бог увеличил подать? — шутливо спрашивали у него управители усадеб, с которых он собирал дань.

Жидок застенчиво улыбался и пожимал плечами.

— Выходит, увеличил...

Он собирал посевное зерно и одновременно, тайком от всех, возделывал облюбованный им участок — кое-как, спору нет, ведь единственным его орудием была ветхая мотыжка, позаимствованная им без спросу у владельца. Сперва он выполол сорняки, потом принялся вскапывать землю, вскапывать из последних сил своих изглоданных нуждою и старостью рук — придется земле только этим и довольствоваться. Сам-то он доволен не был и с завистью смотрел, как другие пашут, как засевают поля со спокойной уверенностью, что свое дело сделали основательно. А он не мог даже обсыпать зерна известью, потому что все равно проку не будет: они лежали почти на самой поверхности, посеянные, можно сказать, как попало среди едва разрыхленных комьев.

Наступила пора ливней, и Жидок, услышав в своем ночном логове стук дождевых капель, подумал, что и его землю сейчас поливает дождь... Со слезами умиления увидел он набухшие зерна, а потом — первые слабенькие ростки, вылезшие из-под влажной земли. Так оно и есть, так оно и есть: земля уродила ему хлеб, его собственный хлеб! И Жидок воинственно огляделся: да, да, этот хлеб — его собственный! Потом посмотрел на небо, пролившее благословенную влагу и ради него, ради единственного его сокровища, но сразу опечалился: ему хотелось, чтобы оно опустилось совсем низко, чтобы укутало, укрыло от всех крошечную ниву, затерянную среди сорняков.

Мало-помалу ростки окрепли, начали куститься.

И теперь даже в самые холодные, самые ненастные дни Жидку было никак не оторваться от этого клочка земли — он словно согревал глазами свой урожай, и когда хрупкие колосья трепетали на легком ветру, в ответ трепетала вся его душа.

Но однажды он от слабости не смог выбраться наружу из своего убогого жилья.

Солнце уже давно взошло, а Жидок все сидел на земле, прислонившись к стенке, обхватив колени руками, и смотрел в пустоту; он дрожал от холода, зубы выбивали дробь.

Что с ним стряслось? Куда девалась его нива? И амбары куда девались, полнехонькие амбары, и веселые мерщики — их столько, что не сосчитать, и они отпускают пшеницу, пшеницу, пшеницу, распевая песни и не снимая скребком верхушек с четвериков зерна? И эта женщина, у которой фартук был с дырой, и все зерно просыпалось, да так быстро, что бедняжка до амбарных дверей не успела дойти? И она, горемычная, все пыталась пробиться назад, но ее оттесняли, отталкивали другие бедняки, которые просто валом валили, и ни одного зернышка не осталось в ее фартуке!..

— Дайте ей еще! Дайте ей! — упрашивал Жидок мерщиков. — Это моя плата Господу за другой его дом, за тот, верхний...

И амбары по-прежнему были полным-полны; из окон под кровлей на толпы людей, прижавшихся к стенам, текло зерно, лилось потоком, нескончаемым и шуршащим. И это нескончаемое шуршание не умолкло, когда Жидок проснулся, оно все еще стояло в ушах. Значит, лихорадка, его била лихорадка, и он дрожал от холода.

Он с трудом встал на ноги; его шатало... Вышел из лачуги и направился было к далекой ниве, но через несколько шагов рухнул на землю, бесчувственный как бревно.

Через несколько дней он очнулся на больничной койке в длинной, очень тихой палате, ничего не помня, ничего не соображая.

— Ага, значит, я умер, раз меня сюда взяли, — подумал Жидок.

Голова у него была свинцовая, он с трудом разлеп-

лял веки. Кроха души, все еще теплившейся в нем, куда-то спряталась от суеверного ужаса перед этим новым жильем, и он безвольно отдал во власть врачам и санитарам свое старческое тело, измученное и обесиленное, даже не спрашивая, какая на него напала болезнь.

Закрыв глаза, сжавшись в комок, словно чтобы укрыться от молниеносных выпадов лихорадки, он мысленно убежал далеко-далеко, на свое поле, и там постепенно погрузился в сон. И тогда чувствовал, видел, что вокруг него колосятся хлеба, и каждый колос тянется, тянется, тянется... но это уже слишком... разве так бывает?.. Чтобы колосья выше тополей?.. В страшной тревоге Жидок пытался помешать их бесстыжему, их невообразимому росту, но ничего у него не получалось: колосья вокруг прямо на глазах все вытягивались, догоняя друг друга, и постепенно, постепенно смыкались над ним, как могильный холм... Тогда Жидок начинал молотить кулаками по воздуху, вставал на цыпочки, и — чудо из чудес! — оказывается, он тоже так вытянулся, что перерос колосья! Потрясенный, он сперва озирался по сторонам, потом переводил глаза на небо — серп луны висел совсем низко, чуть не касаясь его головы, — он поднимал руки, хватал этот серп и начинал жать пшеницу. Но тут все куда-то проваливалось и, вздрогнув, Жидок просыпался.

И тогда, в противовес сну, колосья представлялись ему хилыми, блеклыми, редкими, их слабые стебли были побиты дождем, переломаны ветром... «Плуг!.. Им нужен был плуг!..» — вздыхал он. Потому что, по совести говоря, его ветхая мотыжка даже и не пощекотала землю.

Так дни шли за днями, а лихорадка все не проходила. Жидок потерял счет времени, но не спрашивал, какой сейчас месяц — боялся услышать: «Лето кончилось».

С трудом отрывая голову от подушки, он смотрел вверх других коек в дальний конец палаты и смутно видел в огромном окне безоблачное, залитое солнцем небо. Но, может, на дворе еще стоит весна? «Кто знает, — думал Жидок, — может, кто-нибудь шел мимо, и заметил мою ниву среди сорняков, и присвоил ее... А так ли уж хорошо, если никто не присвоил? Эта божья благодать пропадет без проку, стоя вот так под солнцем и понапрасну ожидая серпа. И выйдет, что земля зря уродила хлеб».

Но по воле Господа — потому что, конечно же, Господь снизошел к таким молитвам — Жидок выздоровел и в первых числах июня вышел из больницы — был выпущен из тюрьмы.

Не медля, он трусцой побежал туда, на свое поле, уже издали увидел, как оно золотится, и вдруг у него подкосились ноги, бессильно повисли руки. Вся нива — колосья диво какие густые и высокие! — была обнесена частоколом, в углу приткнулся шалаш, а стоило траве у частокола зашуршать под ногами Жидка, как сразу залял пес.

Из-за частокола появился, держа руку козырьком у глаз, деревенский сторож.

— А, Жидок, добро пожаловать! Я тебя поджидал... Скажи-ка мне, что ты здесь ищешь?

Жидок, еле живой от долгого бега и стеснения в груди, сел прямо на землю и, прислонившись к длинной жерди, с трудом переводил дух.

— Ничего я не ищу, — проговорил он наконец, сдерживая слезы. — Уйми своего пса. Просто пришел взглянуть на чудо: земля дала тебе урожай — и такой богатый! — а ты и рук не приложил...

— А чья, по-твоему, эта земля, Жидок?

— Чья? Вон тех сорняков, из которых хлеба не испечешь, — ответил горемыка старик. — Скажи это, скажи твоему хозяину.

И еще долго он сидел там, глядя на высокие налитые колосья, а они клонились под ветром и как будто сострадали Жидку.

1898 (1937)

СИЦИЛИЙСКИЕ ЛИМОНЫ

Здесь живет Терезина? Лакей, еще в жилете, но уже в высоченном крахмальном воротничке, оглядел с ног до головы молодого человека, стоявшего перед ним на лестничной площадке: с виду деревенщина, воротник дешевого пальто поднят так, что ушей не видно, руки посинели от холода, в одной — грязная сумка, в другой, словно для противовеса, — выдавший виды чемоданчик.

— Терезина? Какая Терезина? — в свою очередь спросил он, поднимая сросшиеся лохматые брови, больше

похожие на усы, сбритые с губы и для сохранности приклеенные ко лбу.

Молодой человек мотнул головой, пытаясь стряхнуть каплю, повисшую на кончике носа.

— Терезина, певица.

— Ах вот что! — воскликнул лакей, улыбаясь с насмешливым недоумением. — Вы ее так изволите величать? Терезина — и все? А сами-то вы кто такой?

— Дома она или нет? — спросил молодой человек, хмурясь и шмыгая носом. — Доложите ей, что приехал Микуччо, и впустите меня.

— В такое время их никогда не бывает дома, — с деланной улыбкой ответил лакей. — Госпожа Сина Марнис в театре и...

— А тетушка Марта? — прервал его Микуччо.

— Так, значит, ваша милость племянником ей приходится? — Лакей мгновенно стал воплощением учтивости. — Входите, пожалуйста, входите. Дома никого нет. Тетушка Марта тоже в театре. Раньше полуночи не воротится. Нынче бенефис госпожи... кем она приходится вашей милости? Кузиной, выходит?

Микуччо смешался и ответил не сразу.

— Нет, мы с ней... нет, она мне не кузина... Я... я Микуччо Бонавино, она знает. Мы земляки, я приехал повидать ее.

Услышав это, лакей решил, что можно обойтись обыкновенным «вы», без «вашей милости», и провел гостя в каморку возле кухни, где кто-то оглушительно храпел.

— Посидите здесь. Сейчас принесу лампу, — сказал он.

Микуччо первым делом бросил взгляд туда, откуда доносился храп, но ничего не разглядел, потом начал рассматривать кухню, где повар с помощью поваренка готовил ужин. Смешанный запах горячих кушаний ударил ему в нос — у него даже голова закружилась: Микуччо приехал из заштатного городка Мессинской провинции, больше суток провел в поезде, с утра ничего не ел.

Лакей внес лампу, и существо, храпевшее за занавеской, которая висела на шнуре, протянутом от стены до стены, сонно пробурчало:

— Кто там?

— Вставай, Дорина! — громко сказал лакей. — Я привел сюда господина Бонвичино.

— Бонавино, — поправил Микуччо, согревавший в эту минуту дыханием руки.

— Бонавино, верно, Бонавино, знакомого госпожи. Ты спишь как убитая: в двери звонят, а ты и не пошевелишься. Мне надо на стол накрывать, не могу же я разорваться, слышишь? То повару объясняй, что и как, то с приезжими гостями разговаривай...

Кто-то оглушительно зевнул, потом закричал, потягиваясь, потом, очевидно от холода, издал звук, напоминавший ржание, — таков был ответ на замечание лакея, который удалился, воскликнув:

— Ну и ну!

Микуччо, улыбаясь, следил, как тот шел по смежной, тоже полутемной, комнате, как потом открыл дверь в огромный ярко освещенный зал, где стоял роскошно сервированный стол, в изумлении он уставился на этот стол и, только когда снова услышал храп, перевел глаза на занавеску.

Лакей, перекинув салфетку через руку, сновал взад и вперед, ворча то на Дорину, которая так и не проснулась, то на повара, нанятого, судя по всему, специально для сегодняшнего торжества и надоедавшего непрерывными требованиями объяснить то одно, то другое. Чтобы и его не сочли надоедливым, Микуччо благоразумно решил проглотить непрерывно возникавшие вопросы. Конечно, следовало бы сказать или дать понять, что он — жених Терезины, но Микуччо помалкивал, а почему — и сам не знал; скорее всего потому, что скажи он это — и лакею пришлось бы повести себя с ним, с Микуччо, как с хозяином, меж тем, глядя на него, такого непринужденного и даже в жилете элегантного, он смущался при одной мысли о подобном признании. И все-таки, когда тот в очередной раз пробежал по комнате, Микуччо не выдержал и спросил:

— Простите, а чей это дом?

— Наш, надо полагать, покамест мы в нем живем, — бросил в ответ лакей, не замедляя бега.

И Микуччо только и мог, что покачивать головой. Значит, черт подери, это все-таки правда! Поймала фортуна за хвост! Ну и дела! Лакей — по виду важный господин, повар, мальчишка-поваренок, какая-то Дорина, которая храпит за занавеской, — и все они в услужении у Терезины! Кто бы мог подумать?..

Он мысленно представил себе убогую мансарду — там, далеко, в Мессинской провинции, где некогда жила

Терезина с матерью. Пять лет назад, когда бы не он, Микуччо, мама и дочка умерли бы с голоду. И это он, он открыл сокровище, скрытое в горле Терезины! В ту пору она пела, не умолкая, пела, как чирикает воробей под стрехой, понятия не имея о своем сокровище; пела от горькой досады, пела, чтобы не думать о нищете, которую он старался по мере сил облегчить, несмотря на вечные ссоры из-за этого с родителями, особенно с матерью. Но мог ли он бросить Терезину на произвол судьбы после смерти ее отца? Бросить только потому, что она осталась без гроша за душой, а он худо-бедно, но все же зарабатывал на жизнь, состоя флейтистом в муниципальном оркестре? Уважительная причина, нечего сказать! Сердцу-то ведь не прикажешь!

Да, это было поистине наитием свыше, подсказкой самой судьбы — его решение сделать ставку на голос Терезины, на который никто и внимания не обращал, решение, принятое им сияющим апрельским днем. Стоя у слухового оконца, обрамлявшего ярко-синий клочок неба, Микуччо слушал Терезину — она напевала любовную сицилийскую песенку, — и он до сих пор помнил, какие там были нежные и страстные слова. В тот день Терезина была очень печальна — отчасти из-за смерти отца, отчасти из-за упрямого сопротивления родителей Микуччо; помнится, он тоже был печален — так печален, что, слушая Терезину, не удержался от слез. А ведь она не раз пела ее, эту песенку, но с таким чувством — впервые. И до того он был потрясен, что через день, не предупредив ни Терезину, ни ее мать, привел в мансарду своего приятеля-дирижера. Тогда-то и начала она учиться пению, и два года сряду он тратил на Терезину почти все свое жалование: взял для нее пианино напрокат, закупил нот, делал время от времени дружеские приношения учителю. Далекие прекрасные времена! Терезина горела желанием пробить себе дорогу, завоевать славу, которую предсказывал ей учитель; и какие пламенные ласки расточала она в ту пору Микуччо, стараясь выразить всю глубину своей благодарности, и какие у обоих были надежды на совместное счастье!

Меж тем тетушка Марта только горестно качала головой: так много всякого повидала в жизни бедная старуха, что ни на что уже не надеялась; она боялась за дочку, не хотела, чтобы та хоть на миг поверила в возможность вырваться из сетей смиренной нищеты, и к то-

му же знала, знала, как дорого обходится ему эта безумная и пагубная мечта.

Но Микуччо с Терезиной все пропускали мимо ушей, и тщетно она сопротивлялась, когда молодой, но уже известный композитор, услышав ее дочь в концерте, заявил, что не дать ей настоящего музыкального образования у лучших педагогов — значит поистине совершить преступление: в Неаполь, пусть едет в Неаполь и поступит там в консерваторию, чего бы это ни стоило.

И тогда он, Микуччо, не долго думая, рассорившись с родителями, продал именице, завещанное ему дядей-священником, и отправил Терезину в Неаполь для завершения музыкального образования.

С тех пор она ее не видел. Письма... да, письма он получал, сперва от нее, пока она училась в консерватории, потом от тетушки Марты, когда, после блистательного дебюта в театре «Сан-Карло», Терезину наперебой стали приглашать лучшие оперные театры и ее с головой захлестнула сценическая жизнь. На почтовых открытках под тщательно выведенными дрожащей рукой каракулями бедной старушки всегда была коротенькая приписка Терезины — на большее у нее не хватало времени: «Дорогой Микуччо, подписываюсь под всем, что сообщила тебе мама. Будь здоров и помни обо мне». Они заранее договорились, что Микуччо даст ей пять-шесть лет, чтобы утвердиться на сцене: им ведь не к спеху, оба молодые. И все пять лет он показывал эти письма направо и налево, стараясь опровергнуть клевету на Терезину и тетушку Марту, которую распускали его родные. Потом он заболел, чуть не отправился на тот свет; и вот тогда, без ведома и согласия Микуччо, тетушка Марта и Терезина перевели на его имя кругленькую сумму; деньги частью разошлись во время болезни, но то, что осталось, он буквально вырвал из загребущих рук родителей и теперь приехал, чтобы вернуть их Терезине. Потому что денег ему не надо — нет, нет и нет! Не из-за того, что Микуччо считал их милостыней — он ведь достаточно на нее потратился, но... нет, нет и нет! Почему? Он и сам не знал, особенно сейчас, в этом доме... только нет, нет и нет! Прождавши столько лет, можно подождать еще немного. К тому же денег у Терезины явно вволю, будущее она себе обеспечила, значит, пришло время исполнить давний их уговор назло всем маловерам.

Нахмурившись, Микуччо встал, словно чтобы утвер-

даться в своем решении; он опять подышал на окоченевшие руки и начал притоптывать.

— Замерзли? — спросил, пробегая мимо, лакей. — Теперь уже скоро. Идите на кухню. Там согреетесь.

Микуччо не последовал совету лакея — тот слишком смутил и сбивал его с толку своим вельможным видом. В полном унынии он сел и задумался. Немного погодя в дверь так громко позвонили, что он вздрогнул.

— Дорина, госпожа вернулась! — заорал лакей; лихорадочно натягивая фрак, он кинулся к дверям, но, увидев, что Микуччо идет вслед за ним, остановился на бегу и отдал приказ:

— Ждите здесь, пока я не доложу.

— Ой-ой-ошеньки!.. — раздалось сонное оханье за занавеской, и вскоре, прихрамывая, с трудом разлепляя веки, оттуда выползла толстенная особа в кое-как напяленном платье; ее крашенные в цвет золота волосы были всклокочены, шерстяная шаль натянута по самый нос.

Микуччо выпучил на нее глаза. Она в свою очередь удивленно воззрилась на незнакомца.

— Госпожа вернулась, — повторил за лакеем Микуччо.

И тут Дорина пришла в себя.

— Сейчас, сейчас... — забормотала она, пригладила волосы, кинула шаль за занавеску и, колыхаясь всей своей грузной персоной, помчалась в прихожую.

Появление этой крашеной ведьмы и приказ лакея вселили в Микуччо, и без того подавленного, какое-то горестное предчувствие. До него донесся пронзительный голос тетушки Марты:

— Туда, в зал, в зал, Дорина!

Мимо него прошествовали Дорина с лакеем, нагруженные великолепными корзинами цветов. Он вытянул шею, стараясь разглядеть, что происходит в этом залитом светом зале, и увидел толпу мужчин во фраках, услышал гул голосов. Потом все вокруг затуманилось: до глубины души взволнованный, потрясенный, он даже не заметил, что глаза его полны слез; Микуччо зажмурился и в наступившем мраке весь внутренне сжался, стараясь справиться с режущей болью, вызванной взрывом звонкого смеха. Это, как будто, Терезина? Господи, над чем она так смеется?

Приглушенный возглас заставил его открыть глаза: перед ним стояла — почти неузнаваемая! — тетушка Мар-

та; она была в шляпе — вот бедняжка! — и в тяжело обвисшей роскошной бархатной накидке.

— Микуччо? Ты?

— Тетушка Марта! — воскликнул он, не двигаясь и с некоторым испугом глядя на нее.

— Как это так? — растерянно продолжала она. — Не предупредив? Что стряслось? Когда ты приехал? Это ж надо, как раз сегодня вечером! О боже милостивый!

— Я приехал, чтобы... — забормотал Микуччо, не зная, что сказать.

— погоди! — перебила его тетушка Марта. — Как же быть? Как быть? Видишь, сынок, сколько там народу? Сегодня у Терезины праздник, ее бенефис. Посиди немного здесь...

— Если вы... — выдавил из себя Микуччо: от душевной муки у него перехватило горло. — Если считаете, что мне лучше уйти...

— Да нет, говорю тебе, посиди немного здесь, — то-ропливо и сконфуженно пробормотала старуха.

— Дело в том, — снова заговорил Микуччо, — что я не знаю, куда мне здесь деться... так поздно...

Сделав рукой в перчатке знак обождать, тетушка Марта прошла в зал, который, как показалось Микуччо, сразу обезлюдел, такая там наступила тишина. Потом он услышал отчетливый звучный голос Терезины:

— Простите, господа...

Он подумал, что вот сейчас она придет сюда, и у него снова потемнело в глазах. Но она не пришла, и в зале снова стало шумно. Зато через несколько бесконечно долгих минут вернулась тетушка Марта, уже без перчаток, без шляпы и накидки и не такая сконфуженная.

— Подождем немножко здесь, хорошо? — сказала она. — Я побуду с тобой. Они там ужинают. А мы побудем здесь. Дорина накроет на этом столике, поужинаем вдвоем, вспомним доброе старое время, ладно? Просто не верю, что это ты, сыночек, здесь, со мной... ты да я! Видишь, сколько там господ собралось... Она, бедняжка, иначе никак не может... Сам понимаешь, карьера требует... А какую она сделала карьеру! Ты ведь читал в газетах? Прямо неслыханную, сынок! Но я... я до сих пор как рыба на песке... Просто не верится, что проведу сегодняшний вечер с тобой!

Старуха все говорила, говорила, не умолкая, бессознательно стараясь отвлечь его внимание, потом наконец улыбнулась, потирая руки, растроганно глядя на него.

Вошла Дорина и накрыла на стол, явно торопясь, потому что там, в зале, ужин уже начался.

— Она придет? — отрывисто и тревожно спросил Микучко. — Удастся мне хоть взглянуть на нее?

— Конечно, придет, — скороговоркой произнесла старушка, с трудом скрывая смущение. — Сразу как улучит минутку — она сама мне это сказала. — Глаза их встретились, и они оба улыбнулись, словно наконец узнали друг друга. Казалось, их сердца, победив волнение и неловкость, обменялись приветствиями. «Вы — тетушка Марта», — говорили глаза Микучко. «А ты — Микучко, мой дорогой, мой хороший сынок, и ничуть ты не изменился, бедняга», — отвечали глаза тетушки Марты. Но почти сразу она потупилась, чтобы он не прочел в них лишнего.

— Закусим? — снова потирая руки, спросила она.

— Я голоден как волк! — воскликнул Микучко, успокоившись и повеселев.

— Первым делом перекрестимся: при тебе я могу себе это позволить. — И, лукаво подмигнув, тетушка Марта осенила себя крестом.

Появился лакей с первым блюдом. Микучко напряженно следил за тем, как старуха накладывает себе еду, но, когда очередь дошла до него, он, поднимая руки, вдруг вспомнил, какие они у него грязные после долгой езды в поезде, покраснел, сконфузился и взглянул на лакея, а тот, теперь образец учтивости, слегка кивнув головой, улыбнулся, приглашая угощаться. К счастью, на помощь пришла тетушка Марта.

— Погоди, я хочу поухаживать за тобой.

Он был так благодарен, что чуть не расцеловал ее тут же. Когда с раскладыванием кушанья было покончено и лакей ушел, Микучко тоже торопливо перекрестился.

— Молодец, сынок, — похвалила его тетушка Марта.

И он сразу почувствовал уверенность, блаженное спокойствие, забыл о своих грязных руках и о лакее и принялся есть с таким аппетитом, словно всю жизнь голодал.

Но всякий раз, когда лакей, бегая взад и вперед, распахивал стеклянную дверь зала и оттуда доносился смутный гул голосов или громкий смех, Микучко взволнованно оборачивался, а потом смотрел в скорбные и любящие глаза старухи, пытаясь прочесть в них объяснение. Но читал только мольбу ни о чем сейчас не спрашивать, отложить разговор на после. И они снова улы-

бались друг другу и продолжали есть, беседуя о далеком своем городе, о друзьях и знакомых, и расспросам тетушки Марты не было конца.

— Почему ты не пьешь?

Он потянулся за бутылкой, но тут дверь зала вновь распахнулась: шуршание шелка, торопливые шаги и такое сияние, словно каморку внезапно залили ярким светом для того, чтобы ослепить Микуччо.

— Терезина...

Слова замерли на губах, так он был потрясен. Королева, воистину королева!

Весь красный, выпучив глаза, раскрыв рот, он остолбенело уставился на нее. Может ли быть, чтобы она... вот так?... Голая грудь, голые плечи, голые руки... в переливчатом блеске тканей и драгоценностей... Она стоит перед ним, и все равно это не она, не настоящая. Что в ней от прежней Терезины? Ни голоса, ни глаз, ни смеха — он ничего не узнавал в этом точно во сне привидевшемся существе.

— Как поживаешь, Микуччо? Ты совсем выздоровел? Вот молодчина! Ведь ты, если не ошибаюсь, болел? Мы поболтаем с тобой, но попозже... А сейчас посиди с мамой... Хорошо?

И Терезина умчалась в зал, шурша шелками.

— Что ж ты не ешь? — нарушив молчание, робко спросила тетушка Марта, чтобы хоть немного привести его в себя.

Но он даже не взглянул на нее.

— Поешь, пожалуйста, — настаивала старушка, указывая на тарелку.

Двумя пальцами Микуччо оттянул измятый, перепачканный паровозной копотью воротничок — ему не хватало воздуха.

— Поесть?

И несколько раз провел рукой под подбородком, точно благодарил ее и давал понять: сыт по горло, больше не лезет. Снова помолчал, униженный, подавленный только что явившимся ему видением, потом прошептал:

— Какая она стала...

И тетушка Марта горестно кивнула в ответ и тоже отодвинула тарелку, будто все знала наперед.

— Смешно и думать... — добавил он, как бы размышляя вслух, и закрыл глаза.

И в этой тьме отчетливо увидел пропасть, разделившую их. Нет, это была не она — вон та, в зале, — не его

Терезина. Все кончено, все давно уже кончено, и только он один, болван несчастный, ничего не понимал. Сколько раз ему говорили об этом там, на родине, но он упрямо отказывался верить. И теперь каким чучелом выглядит он здесь, в ее доме! Если бы эти господа и даже этот лакей, если бы они узнали, что он, Микуччо Бонавино, приехал из такой дали, тридцать шесть часов провел в поезде, всерьез считая себя женихом этой королевы, как бы они хохотали — и эти господа, и этот лакей, и повар, и поваренок, и Дорина! Как бы хохотали, если бы Терезина притащила его в зал на всеобщее обозрение и воскликнула: «Смотрите, этот дурачок, этот жалкий флейтист говорит, что хочет жениться на мне!» Правда, она сама дала ему слово, но могла ли она представить себе, что когда-нибудь станет вот такой? Правда и то, что это он открыл ей путь, помог вступить на него, но теперь она уже ушла так далеко, так далеко, что он, оставшийся на месте, по-прежнему играющий на флейте по воскресеньям на городской площади, может ли он рассчитывать настигнуть ее? Смешно и думать... И потом, что значат эти жалкие гроши, потраченные когда-то на нее, ставшую теперь такой важной дамой? Его кинуло в жар при одной мысли, что кто-то может заподозрить, будто он и приехал только для того, чтобы предъявить свои права в оплату за те мизерные гроши. И тут он вспомнил, что в кармане у него деньги, посланные Терезиной во время его болезни. Он залился краской, так ему стало стыдно, и сразу полез во внутренний карман пиджака за бумажником.

— Я еще и для того приехал, тетушка Марта, — скороговоркой сказал он, — чтобы вернуть вам те деньги, которые вы прислали. Вернуть, уплатить долг, называйте, как хотите. Вижу, Терезина стала теперь... да, мне показалось — передо мной королева! Вижу... ладно, даже и думать смешно! Но деньги — нет уж, увольте, этого я от нее не заслужил. Все кончено, тут и говорить не о чем, но деньги — увольте! Мне только одно неприятно — что я возвращаю не сполна.

— Что ты такое говоришь, сынок! — горестно, со слезами на глазах, попыталась его прервать тетушка Марта.

Микуччо сделал ей знак замолчать.

— Не я их истратил, истратили мои родители, когда я был болен и понятия ни о чем не имел. Но пусть они пойдут в уплату за ту мелочь, которую я истратил... по-

мните? И довольно об этом. Тут все, что не разошлось тогда. А теперь я уйду.

— Как уходишь? Что на тебя нашло? — воскликнула тетушка Марта, стараясь его удержать. — Подожди, я хотя бы предупреджу Терезину. Ведь она же тебе сказала, что хочет еще повидать тебя. Сейчас пойду к ней...

— Нет, это ни к чему, — твердо сказал Микуччо, — Пусть остается с теми господами, ее место там. А я, горемыка... еще раз повидал ее, с меня и довольно... Лучше и вы... идите к ним и вы... Слышите, как они смеются? Не хочу, чтобы смеялись надо мной. Я уйду.

В неожиданном решении Микуччо тетушка Марта усмотрела самое для себя тягостное: знак презрения, порыв ревности. Ей, бедняжке, теперь вечно чудилось, что при виде ее дочери все сразу начинают подозревать худшее, то самое, из-за чего она так много и так безутешно плакала, из-за чего втайне терзалась среди сутолоки этого ненавистно-роскошного существования, которое постыдно пятнало ее и без того утомленную старость.

— Но ведь мне, сынок, — вырвалось у нее, — мне уже не уберечь ее...

— Почему? — спросил Микуччо и тут же стал мрачнее тучи, прочитав в глазах старушки ответ, который до сих пор не приходил ему в голову.

Сломленная горем, тетушка Марта закрыла лицо дрожащими руками, но справиться с хлынувшими слезами не смогла.

— Да, да, уходи, сынок, уходи... — всхлипывала она. — Ты прав, не для тебя она теперь... если бы вы меня послушались тогда!..

— Значит... — крикнул Микуччо, бросаясь к ней и силой отрывая одну ее руку от лица, но она приложила палец к губам, таким скорбным, таким униженным взглядом моля о пощаде, что он овладел собой и совсем другим тоном, стараясь приглушить голос, сказал: — Ах так, значит, она... она уже не достойна меня. Ладно, ладно, теперь я сам уйду... Значит, еще и это... Какой же я болван, тетушка Марта, ни о чем не догадывался! Не плачьте... Что поделаешь! Карьера, как говорится, карьера...

Он вытащил из-под стола чемоданчик и сумку и направился к выходу, но вдруг вспомнил, что в сумке лежат чудесные лимоны, купленные перед отъездом для Терезины.

— Ох, посмотрите, тетушка Марта! — сказал он. Развязав сумку и одной рукой придерживая ее, Микуччо вы-

сыпал на стол налитые ароматные плоды, потом добавил: — А не запустить ли мне ими в головы вон тех благородных господ?

— Ради бога! — простонала старушка, все еще плача, и жестом снова попросила его замолчать.

— Ну, ну, успокойтесь, — горько посмеиваясь, сказал Микуччо и спрятал пустую сумку в карман. — Я привез их в подарок ей, но сейчас оставляю вам одной, тетушка Марта. — Он выбрал лимон и поднес его к носу старухи. — Понюхайте, тетушка Марта, понюхайте, как пахнет наша родина. Подумать только, я ведь даже пошлину за них заплатил!.. Ладно. Но помните, вам одной. А ей от моего имени скажите: «Желаю удачной карьеры!»

Подхватил с пола чемоданчик и ушел. Но на лестнице вдруг пал духом: один-одинешенек ночью в огромном чужом городе, так далеко от родных мест, обманутый, униженный, опозоренный... Он вышел на крыльцо — дождь лил как из ведра. У него не хватило мужества пуститься в путь по незнакомым улицам под таким проливным. На цыпочках Микуччо вернулся, поднялся по лестнице на один марш, сел на верхнюю ступеньку, облокотился о колени, обхватил голову руками и беззвучно заплакал.

Когда все отужинали, Сина Марнис снова зашла в каморку. Ее мать тоже заливалась слезами в одиночестве, меж тем как из зала доносились веселые голоса и смех гостей.

— Он что, уже ушел? — удивленно спросила она.

Не поднимая на нее глаз, тетушка Марта кивнула головой. Сина постояла, задумчиво уставившись в пространство, потом вздохнула:

— Бедняга...

И тут же, без перехода, улыбнулась.

— Погляди, — сказала ее мать, уже не утирая слез салфеткой, — какие он привез тебе лимоны.

— Ой, какие дивные! — подпрыгнув, воскликнула Сина. Прижав руку к груди, она другой рукой стала накладывать на нее лимоны.

— Не надо, слышишь, не надо! — возмущенно запротестовала мать.

Но Сина, пожав плечами, бегом бросилась в зал, выкрикивая:

— Сицилийские лимоны! Сицилийские лимоны!

ВОСХОД СОЛНЦА

1

В общем, лампа на глади письменного стола уже не могла выдержать. Укутавшись в зеленый свой плащ, она отчаянно всхлипывала, и тени от вещей, что стояли кругом, подпрыгивали при каждом ее всхлипе, точно всякий раз она посылала их к черту и ничего другого сказать просто не могла.

Но все вместе могло бы показаться каким-то кошмарным сном. Потому что в бездонном молчании ночи до слуха Бомбики, мерившего шагами комнату, которую попеременно то проглатывала тьма, то исторгал на свет судорожный вздох лампы, время от времени доносился из нижних комнат, словно из-под земли, хриплый, скрежещущий голос жены:

— Госто! Госто!

И он, приостанавливаясь, неизменно шептал, не забывая дважды склонить голову:

— Подохни! Подохни!

И впрямь, такой изжелта-бледный, такой парадный, во фраке, в накрахмаленной до блеска рубашке, с этой внезапно вспыхивающей на мертвенном лице улыбочкой, с этими вскидываниями рук к потолку, разве сам он не казался выходцем из кошмара? Тем более что на письменном столе возле лампы тоже внезапно вспыхивал маленький револьвер с перламутровой рукояткой... Бр-р-р! Вспыхивал, и еще как!

— Ну не миленькая ли штучка?

Потому что, пусть на первый взгляд в комнате кроме него, Госто Бомбики, никого не было, в иные минуты человек начинает разговаривать с собой, как с кем-то другим, как со своим двойником: этот двойник, к примеру, часа три назад, до того как Бомбики отправился в клуб, убеждал его не ходить туда, а он — нет, нет и нет! — во что бы то ни стало хотел пойти. В клуб Добрых Друзей. И — да, да, да! — в доброту им не откажешь. Стоило посмотреть, с какой изящной непринужденностью эти бандитские рожи загребли последние тысячи сиротских лир, великодушно согласившись под его честное слово отсрочить уплату остальных не то двух, не то трех тысяч, он уже в точности и не помнит.

— Отсрочить на двадцать четыре часа.

Револьвер. Только это и остается. Когда время отказывает надежде от дома и говорит, что вход ей воспре-

щен, бесполезно молотить в дверь, лучше круто повернуться и уйти.

К тому же с него хватит. Такая горечь во рту! Нет, не желчь; даже не желчь. Вкус рвоты. Потому что он до дна исчерпал это развлечение — держать в руках жизнь, как резиновый мяч, точными ударами заставляя подпрыгивать вверх и вниз, вниз и вверх, ударять об землю и ловить, находить себе партнершу и играть вдвоем, не без сердечного трепета посылать ей мяч и носиться взад и вперед, то защищаясь, то нападая, промахиваться и бегать вдогонку... А теперь мяч безнадежно прорван и в руках одна сморщенная оболочка.

— Госто! Госто!

— Подохни! Подохни!

Вот она, самая большая его беда; свалилась ему на голову шесть лет назад, когда он, путешествуя по Германии, по чудесной рейнской провинции, добрался до Кельна в последнюю ночь карнавала, от которого, казалось, совсем обезумел этот старинный католический город. Но его, Бомбики, это ничуть не оправдывает.

Он вышел из кафе на Хоештрассе с благим намерением вернуться в гостиницу и лечь спать. Вдруг кто-то пощекотал его за ухом павлиньим пером. Будь оно проклято, это атавистическое, прямо-таки обезьянье проворство! Он мгновенно схватил искусительное перо и, победоносно (болван!) повернувшись на каблуках, оказался лицом к лицу с тремя женщинами, совсем юными; они смеялись, кричали, топотали, как необъезженные кобылки, махали перед ним руками, так что в глазах рябило от множества пальцев, на которых сверкали перстни. Которая из трех владелица пера? Ни одна не пожелала признать, и тогда он, вместо того чтобы надавать подзатыльников всем трем, выбрал на свою беду стоявшую посередине, с изысканным поклоном отдал ей перо и, по традиции всех карнавалов, потребовал выкуп: поцелуй или щелчок по носу.

Щелчок по носу.

Но, подставляя ему лицо, эта чертова кукла так выразительно закрыла глаза, что его обдало жаром. И через год она — его жена. А через шесть:

— Госто!

— Подохни!

К счастью, нет детей. Впрочем, если бы они были, кто знает, может быть, не пришлось бы... Ладно, ладно, к чему пустые «если». А что касается ее, этой крашеной

ведьмы, то как-нибудь приспособится, будет тянуть и дальше, раз уж не подохла при нем, невзирая на его сердечные пожелания...

Итак, без проволочки, коротенькое письмо, два-три слова, и хватит, не так ли?

— Завтрашней зари я уже не увижу!

О-о-о! Госто Бомбики замер, пораженный неожиданным открытием. Заря завтрашнего дня? Но за все сорок пять лет жизни он ни разу не видел солнечного восхода, ни единого раза, никогда! Что такое утренняя заря? Он столько слышал, будто это — великолепнейшее зрелище, которое природа дает всем, кто вовремя встает с постели, столько читал описаний зари в стихах и прозе, что, в общем, более или менее представлял себе рождение дня, но видеть собственными глазами — нет, лгать не станет, ему никогда не приходилось.

— Да, черт подери, не было... Такого опыта у меня еще не было. Судя по тому, как славословят зарю поэты, зрелище это наверняка из самых заурядных, но все равно, такого опыта у меня не было, и, прежде чем уйти, хочу восполнить пробел. Рассветать начнет часа через два... Вот это мысль! Отличная мысль! Хотя бы однажды увидеть, как рождается солнце, а потом...

Он потер руки, довольный внезапным своим решением. Откинув все заботы, выбросив из головы все раздумья, за городом, на лоне природы, как первый или последний житель земли, стоя, нет, удобно расположившись на каком-нибудь камне или, еще лучше, прислонившись к дереву, встретить восход солнца — ведь, может, это и вправду великое наслаждение! — увидеть, как начинается еще один день, но для других, не для него, еще один день, все те же привычные докуки, привычные дела, привычные лица, привычные слова и — о господи! — мухи, и иметь право сказать: вы уже не для меня!

Он сел за стол и, под всхлипы умирающей лампы, написал жене следующее:

Дорогая Анхен!

Я покидаю тебя. Жизнь, я не раз говорил тебе это, всегда представлялась мне азартной игрой. Я проиграл — теперь расплачиваюсь. Не лей слез, дорогая, у тебя распухнут глаза и понапрасну, а я этого вовсе не хочу. Право же, поверь мне, причина того не стоит. Так что прощай. Нынешний день я собираюсь встретить в таком месте, где можно полюбоваться восходом солнца. Мне сейчас страшно хочется хоть разок посмотреть

это пресловутое зрелище, которое показывает нам природа. Говорят, если смертники выражают какое-то желание, его по возможности стараются исполнить. Вот и я не отказываю себе в исполнении желания.

Единственное, что могу добавить, — не считай меня больше своим преданным *Госто*

Но жена еще не спит, она вот-вот поднимется наверх, обнаружит письмо, и тогда прости-прощай его замысел; лучше взять письмо с собой и опустить без марки в первый попавшийся почтовый ящик.

— Заплатит штраф и, наверное, только этим и будет огорчена.

— А ты иди сюда, — приказал он затем маленькому револьверу, засовывая его в карман черного бархатного низко вырезанного жилета. И в чем был — во фраке и цилиндре — вышел из дому приветствовать восход солнца и — мое почтение остающимся!

2

Недавно прошел дождь, и лужи на пустынных мостовых отражали дрожащий грязно-желтый свет сонных фонарей. Но тучи уже рассеивались, кое-где на небе мерцали звезды. Что ж, отлично! Зрелище не будет испорчено!

Он посмотрел на часы: четверть третьего. Неужели ему придется ждать вот так, на улице, битых три часа или даже больше? Когда в это время года восходит солнце? Природа, наподобие любого театра, дает спектакли в строго определенные часы, но в какие — Бомбики понятия не имел.

Он обычно возвращался домой далеко за полночь и привык к тому, что шаги его гулко отдаются на длинных и безлюдных городских улицах. Но тогда у него была ясная цель: каждый шаг приближал к дому, к постели. Меж тем сейчас...

Бомбики приостановился. Вдали почти вровень с землей вдоль тротуара скользил луч света, за ним, пошатываясь, двигалось что-то темное, по очертаниям — животное, которое нетвердо держится на лапах.

Подбиральщик окурков со своим фонариком.

Вот и он! Человек, существующий тем, что другие выкидывают, прогорклыми, ядовитыми, мерзкими отбросами!

— Господи, а разве вся жизнь — не тоскливая мерзость?

Тем не менее ему показалось соблазнительным попытаться поговорить с этим человеком. Почему бы и нет? Уж теперь-то он все может себе позволить. Чем не развлечение, чем не новый жизненный опыт? У него, черт возьми, такого опыта еще не было, да, не было. Он подзвал подбиральщика, дал ему только что раскуренную сигару.

— Как! Ты ее куришь?

Грязный и всклокоченный, тот открыл в придурковатой ухмылке беззубую вонючую пасть.

— Сперва сделаю из нее окурок, потом смешаю с остальными. Спасибо вам, молодой господин.

Госто Бомбики с отвращением смотрел на него. Но и тот весьма проникательно буравил его слезящимися от холода глазками и так ехидно, гадко улыбался, как будто...

— Если желаете, молодой господин... — сказал он наконец, подмигнув этим своим слезящимся глазом. — Тут рядом, в двух шагах, есть...

Госто Бомбики отвернулся от него. Прочь, прочь отсюда, из этого города, из этой клоаки! Прочь! Он зашагал в сторону окраины — найдет там удобное место, в последний раз налюбуется зрелищем и — счастливо останется!

Он шел упругим шагом, пока не миновал последние дома и не очутился за городом. Там он остановился и растерянно огляделся. Потом посмотрел на небо. Необъятное, вольное, пламенеющее звездами небо! Их бесчисленное множество, этих огоньков, и они непрерывно мерцают. Бомбики с облегчением вздохнул: на него пахнуло свежестью. Какая тишина! И покой! И ночь здесь иная, а ведь город всего в двух шагах. В городе она несет людям вражду, кипение мелких страстишек, разъедающую, расслабляющую ненависть, а тут — удивительное, давно позабытое умиротворение. Два шага — и все совсем другое. Тем не менее Бомбики, непонятно почему, испытывал странную тяжесть, можно даже сказать, оцепенение в ногах.

Деревья, с которых первые осенние ветры сорвали листву, высились вокруг, точно потусторонние видения, и делали ему какие-то таинственные знаки. Он впервые увидел их вот такими, и ему стало несказанно грустно. Он снова остановился, смущенный, можно даже ска-

зять, удрученный этим страшным одеревенением, поглядел по сторонам и начал всматриваться в темноту.

Мерцание звезд, которые прокалывали и углубляли небо, было слишком слабо, чтобы озарить землю, но их лучистому трепету там, наверху, словно отвечал из дальней дали, из недр самой земли другой трепет, звонкий и немолчный, — стрекотание кузнечиков. Притаив дыхание, Бомбики напряженно вслушивался в эту мелодию: до него донесся тогда тихий шелест последних неопавших листьев, смутное копошение всего ночного простора полей, и он почувствовал щемящую тревогу, безотчетный страх перед тем неведомым и незримым, что кишело кругом в безмолвии ночи. Чтобы избавиться от этих еле уловимых, невнятных ощущений, он, сам того не замечая, снова двинулся в путь.

В канаве направо от проселка стыла вода, неподвижная, укутанная тьмой, но там и сям в ней вдруг вспыхивал огонек — отражение ли звезды или, быть может, то чертил след зеленый фонарик пролетающего светлячка.

Дойдя до первых мостков через канаву, Бомбики решил взобраться на невысокую дорожную насыпь и дальше идти прямо полем. После недавнего дождя земля раскисла, с голых веток все еще капало. Он зашлепал было по грязи, но через несколько шагов не выдержал и остановился. Бедные черные фрачные брюки! Бедные лакированные туфли! А, в общем, до чего же приятно все это так испакостить!

Невдалеке залаяла собака.

— Ну нет... как бы там ни было... умереть я готов... но переломать ноги не согласен!

Он попытался опять спуститься на дорогу, заскользил и не успел моргнуть глазом, как — плюх! — одной ногой провалился в канаву.

— Одноножная ванна... Впрочем, волноваться не стоит: схватить насморк все равно не успею.

Бомбики вылил воду из туфли и с трудом перебрался на противоположную сторону. Там земля была суше, местность более открытая. Он ждал, что вот-вот снова залает собака.

Постепенно глаза его привыкли к темноте, он различал уже не только ближние деревья. Нигде не было и признака жилья. Ему с таким трудом давался каждый шаг, промокшая туфля такой свинцовой тяжестью оттягивала ногу, что Бомбики и не вспоминал о смертоубийственном замысле, который заставил его ночью забрести

сюда, в это безлюдье. Он просто шагал и шагал, наискось пересекая поле. Теперь оно шло слегка под уклон. Далеко-далеко, на фоне бледно озаренного звездами неба, четко чернела горная цепь. Горизонт все расширялся, деревья уже не казались силуэтами. Ну что ж, пожалуй, здесь стоит остановиться. Может, солнце как раз и взойдет из-за этих далеких гор?

Он снова посмотрел на часы и сперва сам себе не поверил: было уже около четырех утра. Зажег спичку — да, без шести минут четыре. Бомбики был поражен, что дорога отняла у него столько времени. Но он и вправду устал. Он сел прямо на землю, потом заметил почти рядом с собою валун и пересел на него. Куда это он забрел? Мрак и одиночество!

— Какая нелепица!

Восклицание это сорвалось у него с губ неожиданно и непроизвольно, как вздох здравого смысла, уже давно принужденного к молчанию. Но, придя в себя от короткого обморока, дух сумасбродства, которому он позволил вовлечь себя в множество нелепых авантур, тут же взял верх над здравым смыслом, более того — присвоил себе это восклицание. Ну разумеется, нелепица, эта не слишком веселая загородная прогулка глухой ночью! Куда приятнее было бы покончить с собой в домашнем уюте, не приняв ножной ванны, не промочив носки, брюки, фрак, не доходившись до полного изнеможения. Правда, очень скоро у него будет вволю времени для отдыха. К тому же, поскольку он все равно забрался сюда... Да, но долго ли ему еще придется ожидать этого хваленого восхода солнца?.. Может, час, а то и больше... целую вечность... И Бомбики во весь рот зевнул.

— Ох-хо-хо!.. А вдруг я усну... Бр-р-р! Ну и холодина! И какая сырость!..

Он поднял воротник фрака, засунул руки в карманы и, весь съежившись, закрыл глаза. Нельзя сказать, чтобы сидеть в такой позе было очень удобно. Но во имя любви к зрелищам... Бомбики мысленно перенесся в залы клуба, залитые электрическим светом, натопленные, роскошно обставленные... Снова увидел своих друзей... и уже начал засыпать, как внезапно...

— Что это?

Он широко раскрыл глаза, и черная ночь ворвалась в него вместе с мучительным чувством одиночества. Кровь застыла в жилах. Бомбики задрожал от волнения. Петух, где-то там, далеко, пропел петух... а вот ему отве-

чает другой... оттуда... из еще большей дали... из вязкой тьмы...

— Петух, пропади он пропадом! Подумаешь, тоже страшилище!

Он встал и несколько раз прошелся взад и вперед, не слишком удаляясь от камня, на котором только что сидел, сжавшись в комок. При этом сам себя сравнивал с собакой — прежде чем свернуться калачиком, ей тоже почему-то нужно два-три раза покружиться на месте. И в самом деле, он опять уселся, но теперь уже на землю рядом с валуном, чтобы было еще неудобнее и его не мог сморить сон.

Вот она, земля: жестковата... ничего не скажешь... жестковата... эта старуха Земля... он покамест чувствует ее под собой и будет чувствовать... но совсем недолго... Протянул руку к кустику, вылезшему из-под камня, и погладил по верхушке так нежно, как гладят по голове женщину.

— Ждешь, чтобы с тобой расправился плуг... или оплодотворило семя.

Отнял руку — она пропиталась острым и свежим запахом мяты.

— Спасибо, дорогая, — растроганно сказал он, словно этим благоуханием одарила его в ответ на ласку та самая женщина.

И угрюмо, горестно вновь погрузился в мысли о своей суматошной жизни; вся ее безотрадность, вся мерзость постепенно олицетворилась в облике его жены, и тут же он представил себе, как через четыре-пять часов она будет читать письмо... А что сделает потом?

— Я вот здесь... — произнес он и увидел себя, уже мертвого, посреди пустынного поля, увидел, как, неприбранный, он валяется под солнцем, и мухи обсели его рот, его сомкнутые веки.

Вскоре тьма за дальними горами начала понемногу редеть — то забрезжила заря. Как он был печален, как уныл, этот первый проблеск дня, меж тем как землю еще окутывал ночной мрак; казалось, небу нестерпимо тяжело возвращать ее к жизни. Но постепенно-постепенно по всему небосклону над горной цепью стал разливаться чистый, нежнейший зеленоватый свет, он все разгорался и разгорался, он рдел и трепетал от собственной яркости. Горы в этом ореоле обрели легкость, даже хрупкость, они зарозовели и, чудилось, тихо дышали. И наконец выплыл огненный, точно опьяненный победоносным своим сверканием диск солнца.

На земле крепким сном спал Госто Бомбики, похожий на узел грязного тряпья; он прислонился головой к камню, и грудь его, подобно кузнечным мехам, шумно вбирала и выпускала воздух.

1901 (1926)

ЗВАНЫЙ ОБЕД

Хватит или не хватит? — спрашивали друг друга сестры Санта, Лиза и Анджелика Борджанни, которые вот уже два дня занимались на кухне приготовлением настоящего званого обеда.

Санта, младшая, была выше Анджелики, Анджелика — выше Лизы, старшей. Впрочем, все три, пышногрудые и крутобедрые, своим огромным ростом и геркулесовой мощью могли поспорить с братьями.

— Семья Борджанни — это восемь колонн! — говорил обычно Мауро, младший в семье.

Было их, следовательно, три сестры и пятеро братьев — Розарио, Никола, Титта, Лука и Мауро — по старшинству.

Розарио и Никола занимались земледелием, Титта — серными копиями в предместье Арагоны, Лука брал подряды на строительные работы чуть ли не во всей округе, а Мауро страстно любил охоту и потому был охотником.

Розарио Борджанни был смолоду известен своими дикими и жестокими выходками. Про него рассказывали жуткие истории, под стать тем, что сохранились еще со времени самого страшного бандитизма, истории, разумеется, преувеличенные и приукрашенные народной фантазией. Молве угодно было даже, чтобы он сразился однажды с целой дюжиной самых ужасных разбойников и всех уложил. Преувеличение, конечно! Только четырех: двоих на своем собственном поле, двух других — на дороге, что ведет от Комитини к Арагоне.

И про Мауро тоже чего только не говорили. Однажды, например, он свалился на охоте с самой вершины горы Форке — его трижды подбросило, пока он летел вниз по лесистому склону, и всякий раз, подсакивая с поднятым в руке ружьем, он восклицал:

— Хорошо, что я умею танцевать!

В результате он сломал себе все-таки правую ногу

и получил небольшое сотрясение мозга — это он-то, у кого мозги и без того всегда были набекрень!

В другой раз, тоже на охоте, он увидел четырех скворцов, сидевших на спинах у быков, которые паслись на косогоре. Он осторожно подкрадывается поближе и стреляет — бах!

Из-за кустов выскакивает взбешенный пастух.

— Стой! — кричит ему Мауро. — Еще шаг, и полетишь вверх тормашками!

— Да что же это, синьор Мауро! Моя скотина...

— А ты не знаешь, дурак, что, когда я вижу дичь, я стреляю?

— Даже если она на спине у быка?

— Хоть на голове младенца Иисуса, если святой дух мне покажется просто голубем!

Стол, похоже, был накрыт человек на тридцать, по меньшей мере. А гостя ждали лишь одного, да и то не известно было, кто это. Знали только, что он приедет завтра из Комитини и обед этот надо устроить ему в благодарность за то, что он укрыл у себя брата Луку, подрядчика, вот уже две недели скрывавшегося от правосудия.

Убийство? Да... то есть, нет, но почти. А дело было так. Лука Борджанни взял подряд на строительство большой дороги между Фовара и Наро. И вот однажды вечером, закончив дела, он возвращался верхом домой, как вдруг увидел на освещенной луной каменистой тропе страшную тень. Кто-то, безусловно, сидел в засаде, накрывшись капюшоном. К счастью, Лука заметил его, вернее — заметил его капюшон. Ему показалось, что негодяй присел на корточки, прячась от луны, медленно выходявшей из-за холма.

— Кто здесь?

Никакого ответа.

— Трах-тах, трах-тах! — На всякий случай Лука взвел курок двустволки. И застрекотал кузнечик.

Тогда Лука снова спросил, остановив коня:

— Кто здесь?

Молчание. Только кузнечик стрекочет.

— Считаю до трех! — предупредил наконец Лука, бледнея. — Не ответишь, читай отходную! Раз!

Тень не шелохнулась.

— Два!

Тень по-прежнему недвижна, как ни в чем не бывало. Только кузнечик стрекочет.

— Три!

И выстрелил. Что-то взлетело в воздух, и Лука пришпорил коня! Домой примчался, еле переводя дух. Братья и сестры окружили его.

— Спрячьте меня! Спрячьте меня!

— Зачем? Ранил кого-нибудь?

— Нет... Убил...

— Ты? Кого?

— Кого-то... Не знаю... Из ружья... Спрячьте меня!

Братья сняли его с седла и на руках отнесли сначала вниз, в подвал. Мауро отправился разузнать, не слышно ли чего в деревне об убийстве, а Розарио и Титта в волнении ожидали, пока Лука там, в подвале, придет немного в себя и наберется сил, чтобы переправить его в другое, более надежное место. Они уже решили, что его надо спрятать у одного знакомого в Комитини и что Лука должен верхом отправиться туда той же ночью. Никола, вооруженный до зубов, поехал посмотреть, что делается на том месте, которое описал ему брат, и узнать, кто же все-таки там был. В конце концов Лука тронулся в путь. Утром на рассвете вернулся с дороги Никола.

— Ну что?

— Ничего! Нашел только плащ с капюшоном на земле. Раненый, видно, добрался до села, а его бросил — весь продырявленный... Лука стреляет как бог! Судя по плащу, он, должно быть, ранил его смертельно... Одного не понимаю: если в капюшоне две вот такие большущие дыры, выходит, и в голове... Ничего себе!

В томительном ожидании прошло три дня. В селе никто ничего не знал. Из других мест тоже не доходило никаких известий о том, что кто-то ранен или убит. В конце концов недели через две выяснилось, что какой-то крестьянин, работавший тогда в тех краях, использовал как вешалку один из каменных верстовых столбиков, что стоят вдоль большой дороги, — повесил на него плащ и вечером вернулся в село, забыв про него. Лука стрелял в этот столбик, приняв его за разбойника.

И теперь обед — вот он, во всей красе. Еще накануне посреди комнаты был накрыт длинный стол: бледный поросенок, украшенный лавровым листом и начиненный макаронами, которому предстояло отправиться на противне в духовку, семь освежеванных зайцев и вокруг каждого дрозды — охотничий трофей Мауро, два индю-

ка — грудь колесом, молочный барашек, рубец, заливные бычьи ноги, большущая рыба в соусе, огромный торт, батарея бутылок и множество фруктов.

— Хватит или не хватит?

Титта утверждал — да, Мауро — нет. И считал:

— Нас восемь человек, с гостем — девять, слуга и служанка — одиннадцать. Каждый из нас, слава богу, ест за четверых и... и...

— Не волнуйся, гость не останется голодным, — уверял Титта.

Этот разговор происходил у стола около полуночи. Сестры и братья — все семеро — один за другим оставили свои постели, движимые одним и тем же любопытством — какое впечатление производит накрытый стол. Так они и собрались тут все — в ночных рубашках, каждый со свечой в руке, словно призраки. Вскоре Титта и Мауро из-за чего-то повздорили. Мауро схватил зайца и замахнулся на брата. Началась драка.

— Мазурка! Мазурка! — закричала вдруг Анджелика, услышав, по счастью, звуки мандолины и гитары, доносившиеся с улицы.

— Серенада! — обрадовалась Санта, хлопая в ладоши и увлекая сестру танцевать — обе в ночных рубашках.

Остальные последовали их примеру. Лиза бросилась в объятия Титты, Розарио подхватил Николу, а Мауро, оставшись один, тоже, весело смеясь, принялся танцевать с зайцем, у которого болтались уши.

Поначалу в пылу объятий, рукопожатий, поцелуев и расспросов брата Луки (самая высокая колонна в семье) никто и не заметил щупленького человечка неопределенного возраста, придавленного огромной, глубоко сидевшей шапкой, которую держали оттопырившиеся под ее тяжестью уши. Бедняга, казалось, был взволнован проявлением чувств этих восьми колоссов, которые и не заметили его, совсем растерявшегося и такого маленького, что он не доставал даже (вместе с шапкой) до плеча Лизы, а она-то была ниже всех ростом.

— Ох, подождите... — спохватился наконец Лука. — Познакомьтесь — дон Диего Филиниа, по прозвищу Цапля. — И, улыбаясь, он с покровительственным видом положил ему руку на плечо.

— Боже, какой маленький! — хором воскликнули три сестры, разглядев гостя. — Цапля?

— Да... это из-за комплекции, уважаемые синьоры... — промолвил дон Диего, снимая свою огромную шапку и улыбаясь смущенно и смиренно.

Все посмотрели на него с глубоким сочувствием — такой он был теперь неприкрытый, без единого волоска на блестящем выпуклом черепе — и не находили, что сказать. Какое разочарование! И это гость! Выходит... Знать бы заранее!

— Почему он плачет? — спросила Анджелика. Она долго рассматривала его, и теперь на лице ее появилось брезгливое выражение, смешанное с жалостью.

— Плачет? — обернулся Лука и, присев, заглянул в лицо крохотному гостю.

— Я не плачу, нет, — ответил дон Диего, поднося к глазам большой цветастый платок. — По дороге что-то попало мне в глаз... Я не плачу.

— А... — облегченно вздохнули колоссы.

Дон Диего передвинул платок к носу, как бы для того, чтобы незаметно убрать капельку.

— Снимите вы этот свой плащ... — предложила Санта.

— Нет, нет... Ради бога, не надо! — воспротивился дон Диего. — Если я, не дай боже, чихну, то уж буду чихать сто раз подряд... Я никогда не снимаю плащ.

И вздохнул, потирая ручки и опустив глаза:

— Да! — И, растерявшись оттого, что все замолчали, добавил еще дважды: — Да... да...

Никто не решался заговорить, и неловкое молчание становилось с каждой минутой все тягостнее.

— Мы действительно вам очень обязаны, — начал наконец Лука, — очень благодарны вам, дон Цапля, за большую любезность и услуги, которые вы оказали мне во время пребывания в Комитини.

— Мы благодарим вас от всего сердца! — поддержал брата Розарио, протягивая гостю руку. — Как вас звать? Цапля?

— Нет... Прошу вас... Филиния, меня зовут Фили--а, — ответил дон Диего, жалко улыбаясь.

— Можете считать, что наш дом — ваш дом, — добавил Никола, в свою очередь пожимая гостю руку и взглядом приглашая других братьев: «Теперь вы. Я свое сказал».

Титта и Мауро один за другим последовали его примеру — сделали по-военному шаг вперед, произнесли сло-

ва благодарности и пожали дону Диего руку, а он все повторял в ответ свое «пожалуйста, пожалуйста».

Из трех разочарованных сестер невозможно было выжать ни слова.

Разговор зашел о той истории, из-за которой Луке пришлось скрываться от властей.

— Да какой там столбик! — возмутился он. — Живой человек из плоти и крови сидел там в засаде! Ведь после выстрела я слышал крик, сам слышал, своими собственными ушами... Хотел бы я знать, какой негодяй придумал такое! Я бы показал ему, как смеяться за спиной у Луки Борджанни!

— Ладно, ладно... — остановил его Розарио. — Неважно кто. Важно, что придумал. Но теперь не будем больше говорить об этом. Давайте лучше веселиться.

Дон Диего кивнул в знак согласия. Не потому, однако, что рассчитывал, бедняга, развлечься с этими восьмью гигантами, но для того лишь, чтобы прекратить спор. А то ведь кто его знает, чем он может кончиться!

В ожидании, пока позовут к столу, Розарио и Никола завели с гостем разговор о земледелии, о плохих урожаях и урожаях хороших. Дон Диего со своим обычным смирением все ссылался на волю божью — мол, все в руках господних, — но такой довод в конце концов взбесил Никола.

— Да при чем тут руки господни! Земле нужны трудовые руки! Вот такие, смотрите, Цапля!

И, сжав кулаки, он протянул дону Диего свои геркулесовы ручищи. Можно было подумать, будто он только и делал, что обрабатывал землю хорошими тумаками, принуждая ее давать каждый год больше положенного.

— А эти, хоть и мозолистые и натруженные! — воскликнул Розарио, показывая свои.

Тогда Титта и Мауро тоже захотели похвастаться и закатали рукава курток и рубашек. Бедный дон Диего видел только, что под нос ему суют восемь крепких, мускулистых рук, каждая из которых способна одним ударом кулака быка уложить.

— Вижу... Вижу... — говорил он каждому, с удивлением глядя на руки и уныло улыбаясь, — Вижу... Вижу...

— Нет, вы потрогайте! Потрогайте! — предлагали ему братья Борджанни.

И дон Диего дрожащим пальцем тихонечко трогал эти руки, и все придерживал платок у носа, чтобы на

них, упаси боже, не капнула случайно какая-нибудь капелька!

— К столу, — безучастно произнесла Санта.

— Цапля, к столу! — закричал Мауро. — Вы только дайте нам волю. Сразу вырастете... Столько съедите, что в дверь не пройдете. Обвяжем вас веревкой и сытого спустим в окно.

— У меня совсем нет аппетита, — робко заметил дон Диего на всякий случай.

— Где сядет гость? — негромко спросил Титта у сестер.

— Между Розарио и Лизой, — предложил Мауро.

Лиза возмутилась:

— Мы, женщины, будем сидеть отдельно.

Дон Диего занял место между Розарио и Николой. Восемь Борджанни, усевшись за стол, тут же наполнили вином большие стаканы, из которых обычно пьют воду.

— Итак, перекрестимся! — торжественно произнес Розарио.

И опрокинул!

— А вы, дон Диего, не пьете? — спросил Титта.

— Спасибо, перед едой — никогда, — робко извинился гость.

— Чего уж там, выпейте для аппетита, — посоветовал Никола и всунул ему в руку стакан.

Дон Диего поднес его из вежливости ко рту, чуть-чуть пригубил, осторожно сделав крохотный глоточек.

— Ну-ка! Все до дна! — скомандовали восемь Борджанни.

— Не могу... Спасибо, не могу...

Мауро поднялся со своего места.

— Сейчас я вправлю ему мозги, подождите!

Одной рукой он взял стакан, другой голову дона Диего и, как тот ни сопротивлялся, со словами «Позвольте поухаживать за вами!» влил вино ему прямо в рот.

— О боже! — застонал, вскакивая, дон Диего, едва не захлебнувшись, глаза его были полны слез. — О боже!

И под общий смех вытер пот со лба.

— Смотрите-ка, оно у него из глаз вышло! — насмешливо заметила Анджелика.

На стол подали фаршированного поросенка. Розарио встал, разрезал его на части и самый большой кусок положил дону Диего.

— Это слишком много... Слишком... Слишком... — пролепетал тот, держа тарелку.

— То есть как — слишком? — вскричал Никола. — Это вы оставьте!

— Половину, пожалуйста... — продолжал дон Диего. — Я не могу столько... Я очень умерен в еде...

— Умерен? Но ведь это же поросенок! Ешьте! — приказал Мауро, снова поднимаясь с места.

Дон Диего, испугавшись, уткнулся в тарелку и, не говоря ни слова, принялся есть.

Это первое блюдо все ели молча. Только иногда, едва лишь гость пытался незаметно положить вилку, восемь колоссов тут же кричали:

— Ешьте! Все до последнего кусочка!

— Но теперь я и в самом деле уже не в силах ничего больше съесть! — довольно энергично возразил дон Диего, справившись наконец со своей порцией, и облегченно вздохнул. — В таких случаях говорят, как Карл во Франции: я сделал все, что мог.

— Что это вы придумали? — удивился Мауро. — Ведь мы еще только начинаем...

— Ну, вам-то хорошо... — заметил улыбаясь дон Диего. — Вы можете, да благословит вас господь... А я...

— За кого же это вы нас принимаете? — спросил Титта и нахмурился. — Думаете, мы приглашаем к столу только ради одного блюда и все? Передохните и выполняйте свой долг. Мы должны рассчитаться с вами.

— Но я ведь не притворяюсь! — поспешил заверить дон Диего. — Я хочу только сказать, что...

— Вы ешьте! — отрезал Розарио. — Вот это. Мауро принес с охоты.

— Зайца и пять дроздов? — испугался дон Диего. — Вы ошибаетесь, уважаемый! Ну подумайте сами, могут ли я...

— Все! Кончили эти разговоры! — оборвал его Никола.

— Да вы только посмотрите на меня! — взмолился дон Диего. — Я же не могу! Некуда! Не хотите же вы, чтоб я отдал богу душу? В меня не войдет еще целый заяц!

— Я положил вам всего пять дроздов...

— Но это невозможно! Будь я голоден... Я съем только это.

— А ну-ка, живо! — вскричал Мауро и замахнулся куском зайца, в который только что вгрызался. — Это я принес с охоты. Три дня подряд ломал себе ноги из-за вас. Не съедите, обидите меня.

— Не сердитесь... Не сердитесь, ради бога! Я попробую...

И бедный дон Диего отдал себя на милость божью.

Он ел, а пот градом катился у него со лба. Он поднимал глаза от тарелки и видел: эти восемь демонов, вырвавшихся из ада, все льют и льют в свои глотки вино. И он тихонько молился:

— Господи Иисусе, помоги мне!

Обеду не было конца. От гнева и отчаяния дон Диего готов был рыдать, кататься по земле, царапать себе лицо, свернуть себе челюсть. Что же это за жестокость такая? Нероны! Нероны! Но у него уже не было сил даже отодвинуть тарелку. Приборы, стаканы, бутылки — все кружилось перед ним на столе, в висках стучало, глаза закрывались сами собой, а восемь Борджанни, уже пьяные, орали и жестикулировали как одержимые, то вскакивая, то садясь, и ругались друг с другом.

Теперь, едва только дон Диего хоть немного отодвигал свою тарелку, говоря как бы самому себе: «Не хочу больше... Не хочу больше...», все восемь гигантов поднимались со столовыми ножами в руках и те двое, что были рядом, приставляли ему нож к горлу и вопили:

— Ешьте, дон Дурак! Ведь как потратились из-за вас!

Дон Диего не знал уже, на каком он свете, когда сквозь полузакрытые глаза ему привиделся на столе огромный точильный круг! Он сделал еще одну тщетную попытку встать и убежать.

— О боже, они привязали меня к стулу! — простонал он и заплакал.

Но это было не так. Бедный дон Диего ошибся! Розарио поднялся во весь рост с огромным ножом в руке. Дону Диего показалось, что он коснулся головой потолка и что в руке у него топор и он хочет казнить его.

— Половину дону Диего! — закричал Розарио, разрубая пополам огромный торт, который бедняга принял за точильный круг.

— Другую половину соседям! — предложила Анджелика.

— А нам? — спросил Мауро. — Нам ничего? Я хочу свою долю!

Лука поддержал Анджелику:

— Соседям! Соседям!

Дон Диего в ужасе следил за этим спором.

— Ну тогда я силой возьму свое! — вскипел Мауро, вскочил и потянулся к тарту.

Но Лука оказался проворнее. Он схватил торт и бросился к окну. За ним, крича и толкаясь, кинулись все остальные. Лука хотел выбросить торт в окно. Началась ужасная драка. Братья и сестры схватились друг с другом: крики, визг, пощечины, тумаки, опрокинутые стулья, летящие со стола бутылки и стаканы, звон разбитой посуды, льющееся на скатерть вино — конец света! Розарио встал на стул и закричал зычным голосом:

— Постыдитесь! Что за спектакль устроили! У нас же гость за столом!

Гордый призыв неожиданно подействовал на этих сумасшедших, и они вдруг притихли, словно по волшебству. Поискали гостя: где он, куда делся?

На стуле лежал плащ, под столом пара ботинок. Лишь бы побыстрее, несчастный удрал босиком.

— В конце концов все прошло хорошо... — говорили потом друг другу восемь Борджанни, успокоившись. — Все прошло хорошо, если не считать, что не подали фрукты.

1902 (1926)

КОГДА Я БЫЛ СУМАСШЕДШИМ...

1. МЕДНЫЙ ГРОШ

Дозвольте, перво-наперво, предупредить, что теперь я в своем уме. О, оттого-то я и нищ. И лыс вдобавок. Когда-то, когда я еще был я, или, сказать иначе, многоуважаемый синьор Фаусто Бандини, богач, и все мои чудные волосы были еще при мне, тогда-то и обнаружилось, что я, точно, был сумасшедшим. Ну и, понятно, более худым. Глаза вот только были такими же испуганными, какими они остались и поныне на моем лице, сплошь испещренным следами от приступов хронической жалости ко всему существу, которой я тогда был подвержен.

Недогляжу, и снова на меня находит. Ну да эти вспышки Марта, мудрая моя жена, миг гасит парочкой окриков, как только она умеет это делать.

Вот как давеча вечером, к примеру.

Да вы не думайте, ерунда сушая. Что, в самом деле,

может приключиться с бедным здравомыслящим и здравомыслящим бедняком, вынужденным жить размереннее какого-нибудь захудалого муравьишки?

Чем тоньше ткань, тем нежнее должна быть и вышивка, прочитал я как-то, не помню где. Но до этого не мешало бы научиться сперва вышивать.

Возвращался я домой. Ничто так не досаждало, думается мне, как настырные просьбы нищего, когда в кармане нет ни гроша, а он по одному вашему виду понимает, что вы-то как раз и готовы ему подать. Мне повстречалась девочка. Ни на минуту не умолкая, она с четверть часа шла и шла и скулила за моею спиной: две-три совершенно одинаковые фразы. Я — глух; не оборачиваюсь и не смотрю на нее. В какой-то момент она отстает от меня и, словно слепень, набрасывается на парочку молодоженов.

— Дадут они ей что-нибудь или нет? — гадаю я про себя.

Ах, девочка, ты ведь не знаешь! Когда свежиспеченные, еще не остывшие супруги выходят на улицу и идут, держась под руку, им кажется, будто все глаза только на них одних и нацелены; им не по себе от происшедшей в них перемены, которая, думают они, сразу же бросается в глаза, и всем про них все становится понятно, и нет такой силы, которая бы заставила молодоженов остановиться и протянуть бедняку милостыню.

Так и есть, через какое-то время слышу, кто-то снова бежит за мной и зовет:

— Барин, миленький! Хорошенький!

Это опять она со своим невыносимым нытьем. Больше я не в силах выдерживать; кричу ей истошно:

— Нету!

Куда там, пуще прежнего. Как будто сказав «нет», я выпустил на волю другую пару фраз, приберегавшихся на подходящий случай. Но уж тут я зафырчал, зафырчал, да как — «Фу, ты!» — и замахнулся тростью. Вот так-то. Отскочила она от меня в сторонку, по привычке заслонив голову рукою, но слышу — мычит знай себе, из-под локтя.

— Хоть парочку медяков!

Господи, какие глаза смотрели на меня с этого истощенного, отливавшего зеленью лица, из-под копны свалывшихся, нечесаных рыжих волос. Все язвы улицы гнездились в этих глазах; а преждевременная зрелость

делала их и вовсе ужасными. (Я не ставлю здесь никакого восклицательного знака, ибо теперь, когда я в своем уме, ничто больше не должно меня удивлять.)

Еще до того как увидеть эти глаза, я уже жалел о том, что пригрозил ей палкой.

— Сколько тебе лет?

Девочка смотрит на меня исподлобья, не опуская руки, и молчит.

— Отчего ты не работаешь?

— Работала бы, кабы было где. Не берут.

— Да ты не ищешь, — говорю я ей, пускаясь своей дорогой. — Потому что тебе по душе это постыдное занятие.

Стоит ли говорить, что она потащилась за мной, сьзнова заводя свою жалостливую канитель: как хочется есть, не подам ли я ей Христа ради.

Мог ли я снять с себя пиджак и сказать ей: «Бери»? Поди знай, в другие времена я, может быть, так бы и поступил. М-да... в другие времена у меня нашлось бы в кармане, наверное, и несколько медяков.

Но тут меня неожиданно осветила мысль, за которую считаю долгом извиниться перед всеми, кто в своем уме. Работать — бесспорно хороший совет; но куда как легко и просто сказать: работай! А тут я возьми и вспомни, что Марта искала служанку.

Нет, вы не думайте: я признаю, что эта внезапная мысль была чистым безумием, и не столько из-за той трепетной радости, которую она во мне возбудила и которую я тотчас же отлично распознал, потому что в бытность свою сумасшедшим я не раз испытывал точно такое же — будто пьянящее просветление, длящееся всего миг, вспышка, от которой, кажется, весь мир так и забьется, затрепещет в самом естестве нашем, — сколько из-за тех доводов, которые я, будучи человеком здравомыслящим и рассуждая под стать ему, привел и за которые ухватился, пытаюсь продлить в себе то упоение.

Я думал: «Дать этой девочке кров да еду, ну, там, платье какое поношенное, и она будет прислуживать нам, не требуя большего. Это же какая экономия выйдет для Марты». Так-то.

— Послушай, — сказал я девочке, — денег я тебе не дам. Но ты и вправду хочешь работать?

Она остановилась и некоторое время смотрела на меня своими дерзкими глазами из-под зло насупленных бровей; потом несколько раз кивнула в ответ.

— Да? Ну что ж, тогда пошли со мной. Будешь работать у меня по дому.

Девочка вновь остановилась в нерешительности.

— А мама?

— Скажешь ей потом. А сейчас пошли.

Мне чудилось, будто я иду по совсем другому бульвару и что... даже стыдно сознаться, деревья и дома были охвачены тем же волнением, которое испытывал я сам. Оно росло, росло чем дальше, тем больше по мере моего приближения к дому.

Что скажет на все это моя жена?

Глупее я, разумеется, не смог бы изложить ей суть дела (я бормотал что-то невразумительное). И это, положительно одно это невразумительное изложение и подействовало на нее так, что она не только отвергла предложение — что было совершенно справедливо, — но еще и не на шутку рассердилась, бедняга моя, Марта. Но что делать, если теперь, когда я в своем уме, я и двух слов не могу связать из вечного страха, как бы из меня чего такого странного не вырвалось? Довольно. Молчу, ни слова больше; жена не упустила случая повторить мне угрожающе свое обычное «*Опять? Опять?*», которое действует на меня хлестче холодного душа; засим она выпроводила девочку, не дав ей и гроша, ибо — как сказала она — милостыня на тот день уже была роздана. (Марта и в самом деле каждый день раздает милостыню, но заметьте: дает она медяк первому встречному нищему, а уж когда отдаст, не забыв при этом добавить: «Моли за меня святые невинные души Чистилища», тут ее совесть успокаивается, и уж больше она ни о чем и не желает знать.)

А между тем я все думаю, и вот что я скажу: та девочка если еще не пропала, то вскоре пропадет наверное. Да, но почему меня это должно волновать? Ведь я нынче в своем уме и об этом не смею думать нисколечко, ни самую малость. «Думать о себе!» — вот ведь каков мой теперешний девиз. Пусть нелегко, но ведь все-таки я приучил себя подгонять под этот девиз все поступки моей *новой жизни* (назовем ее так). Но, видит бог, я ведь сам того не желая... Но довольно, довольно. Если я нынче — возьмем для примера — остановлюсь под окном какого-нибудь дома, где, мне, положим, известно, люди не просыхают от слез, я должен немедленно представить себе в этом окне свое собственное жалкое, потерянное изображение, которому, как только оно появится, строго-на-

строго велено кричать мне сверху, склонив, этак несколько набок, голову и тыча себя пальцем в грудь: «А я?» Вот так вот.

И так всегда: «А я?» — при любых обстоятельствах. Ибо в этом залог здравого ума.

А вот когда я был сумасшедшим...

2. ОСНОВАНИЕ МОРАЛИ

Когда я был сумасшедшим, я был словно не в себе; это все равно что сказать: в своем доме я был гостем.

Я положительно превратился в постоянный двор, открытый для всех. Бывало, постучу себя этак легонько по лбу и слышу — там уже расквартировались люди; несчастные, которым нужна была моя помощь; а скольких, скольких других таких же постояльцев держал я с равным успехом в своем сердце; про руки и ноги уж я не говорю — они словно не мне принадлежали, а всем тем несчастливцам, которые сидели во мне и гоняли меня то туда, то сюда в беспрерывных о них хлопотах.

Я не мог произнести в сознании своем «я» без того, чтобы тут же эхом не отозвалась во мне бездна других «я, я, я», точно во мне чирикала целая стая воробьев. А это означало, что если, допустим, я почувствовал голод и только об этом подумал, как тут же великое множество голодных ртов начинало вторить: «*хочу есть, хочу есть*», и приходилось что-то предпринимать, и как досадовал я при этом на себя, что на всех меня не хватало! Словом, я воспринимал себя членом общества вселенской взаимопомощи, но так как сам я тогда не нуждался ни в чьей помощи, то пресловутая «взаимность» представляла интерес исключительно для других.

Самым замечательным при этом было то, что мне казалось, будто я здраво оцениваю свое безумие; ладно, уж если пошло на то, чтобы высказать всю правду без обиняков, знайте, что я даже набросал план *sui generis*¹ трактата, задуманного под названием «Основание морали».

Тут у меня в ящике лежат записи для этого трактата, и, бывает, вечерком, после ужина (когда Марта по заведенному у нее порядку отправляется себе подремать), до стану я их потихоньку и не спеша — хотя и украдкой —

¹ В своем роде (лат.).

перечитываю, испытывая некоторое удовольствие и некоторое, признаюсь, недоумение, ибо уж в чем мне не откажешь, так это в том, что все-таки я здорово рассуждал, когда был сумасшедшим.

По сути дела мне бы следовало высмеять и себя, и этот трактат, но вот не получается; и потому, думаю, не получается, что рассуждения мои по большей части были направлены на то, чтобы перевоспитать ту злосчастную, мою первую жену, о которой я буду еще говорить, рассказывая о приступах самых диких безумств, которыми были отмечены те мои далекие годы.

Из имеющихся заметок я делаю вывод, что трактат «Основание морали» должен был состоять из диалогов между мной и моей первой женой, а также из назидательных бесед. Одна тетрадка, к примеру, озаглавлена «Застенчивый юноша», под которым я явно имел в виду того парня, сына знакомого деревенского поставщика, связанного со мной деловыми обязательствами, который по отцовским поручениям приезжал ко мне в город, а эта злосчастная зазывала его обедать с нами для того, чтобы поиздеваться над ним и повеселить себя.

Переписываю из тетрадки.

«Ответь мне, о Мирина. О, где глаза твои? Не видишь разве, что сей бедный юноша уже уразумел, что ты замыслила играть им? Ты считаешь его за дурака; он же всего лишь застенчив; столь застенчив, что даже не смеет уйти от того позорного столба, к которому ты его выставляешь, как бы ни страдал он тайне от этого. Если бы ты, о Мирина, восприняла страдания этого юноши, которые так тебя веселят, не одними только глазами, если бы ты заботилась не об одном только своем жестоком наслаждении, но подумала бы и о том, каково ему, ты бы уж не могла так веселиться, ибо была бы раздавлена сознанием чужой боли. Стало быть, Мирина, ты поступаешь так оттого, что действие, оказываемое твоими поступками, ты видишь не целиком, а в той лишь его части, которая касается тебя».

Вот так. Для сумасшедшего, согласитесь, не так уж и дурно. Дурно было то, что я не понимал, что рассуждать — это одно, а жить — совсем другое. А ведь, почитай, добрая половина, ну, может, чуть меньше, тех злосчастных, что содержатся взаперти в домах признания, ведь разве все это не люди, вздумавшие когда-то жить соответственно абстрактным рассуждениям? Да сколько

тому доказательств и сколько примеров мог бы я здесь привести, не признавая сегодня каждый здравомыслящий человек, что множество из того, что мы делаем и говорим, и множество наших обычаев и установлений не могут быть объяснены разумным путем, и тот, кто пытается это сделать, — безумец.

Таким, по сути, был и я, таким предстал я и в своем трактате. Но я так бы всего этого и не заметил, не одолжи мне Марта свои очки.

Между прочим, если бы все те, кто не желает признавать существование бога — ибо, говорят они, бог дан нам в ощущениях, исключаящих разум, — полюбопытствовали бы заглянуть в мой трактат, они бы заметили, что я-то как раз и постигал бога мыслью. Другое дело, что теперь-то я вижу, что такое понимание бога слишком трудно, более того, неприемлемо для тех, кто в своем уме, ибо тот, кто признал бы это понимание, должен был бы поступать по отношению к ближнему так, как в свое время поступал я — то есть как сумасшедший. Иными словами — одинаково относясь к другим, как к себе, потому что они суть то же, что мы сами. Буде кто воистину так бы поступал и признавал, что другие обладают такой же реальностью, как и он сам, тот неминуемо пришел бы к мысли о едином для всех бытии, об истине и сущности, всех нас превосходящей: о Боге.

Но, повторяю, это не для тех, кто в своем уме.

Забавно, между прочим, что Марта, пока я читаю (а мы с ней по старой привычке читаем перед сном страницу-две какой-нибудь полезной книги), скажем, «Цветочки» Святого Франциска, прерывает меня все время почтительными и восторженными вздохами:

— Ах, какой святой! Какой праведник!

Каково, а?!

Наверное, это дьявольское искушение, но я опускаю на колени книгу и смотрю на нее, не в силах понять, неужели она может совершенно серьезно говорить такое при мне? Ибо, ежели следовать логике, то Святой Франциск никак не должен бы казаться ей здравомыслящим, если уж таким не кажусь ей я.

Впрочем, убеждаю я себя, здравомыслящие, видимо, могут быть логичными до какого-то определенного предела.

Но вернемся к тем дням, когда я был сумасшедшим.

С наступлением вечернего часа в деревне, на вилле, куда из отдаленья долетали звуки волюнок, которыми

открывалось шествие артели жнецов, возвращавшихся в деревню с полными повозками зерна, мне начинало казаться, что воздух между мною и окружавшими меня предметами растворялся и исчезал вовсе, что взор мой проникал за черту зримого. Душа моя раскрывалась и, зачарованная священной близостью со всем, что ни есть, низвергалась в запредельность чувств, вбирая в себя всякое самое слабое движение, всякий еле различимый шорох. И внутри меня воцарялось такое полное, такое мертвое безмолвие, что я вздрагивал от шороха промелькнувших рядом крыльев, а когда слышал вдали птичью трель, сладкие слезы стояли у меня в горле, ибо я был счастлив за птичек, которые еще не страдали от холодов и находили в полях себе пищу; счастлив так, будто это я согревал их своим дыханием, я насыщал их собой.

Я проникал и в жизнь растений, и возникал то из камешка, а то из стебелька травы, принимая в себя и всем существом своим ощущая бытие всякой всячины так, что мне даже чудилось, будто я сам превращаюсь чуть ли не в целый мир, что деревья — это мои руки и ноги, земля — мое тело, реки — сосуды, а воздух — душа; и я шел и шел, восторженный, проникнутый этим божественным озарением.

А когда оно исчезало, я чувствовал себя обессиленным так, словно и в самом деле моя душа на какое-то время вместила в себя целый мир.

Стоило мне присесть у дерева, как гений безумия начинал нашептывать мне самые диковинные мысли: что человечество, дескать, нуждается во мне, в моем избавительном слове — в голосе примера, в слове поступка. В какой-то миг я и сам замечал, что я брежу, и тогда я принимался себя усовещать: приди в себя, приди в сознание... И я возвращался в сознание, но не для того, чтобы увидеть себя, но чтобы увидеть в себе других такими, как они сами себе видятся, ощутить их так, как они сами себя ощущают, и возлюбить их так, как они сами себя любят.

Так вот, воспринимать в себя другие существа и сводить, отражая во внутреннем зеркале своего сознания, их реальность к реальности своей собственной, постигая этим все сущее в его единстве, — это ли не эгоистический поступок, то есть поступок, в котором часть подменяет целое и всецело подчиняет его себе, и стоит ли после этого удивляться, что поступать так показалось мне чистым безумием?

Увы, так оно и было. Но в ту пору, пока я на цыпочках расхаживал по своим уголкам, наклоняясь как можно ниже, чтобы, не дай бог, не наступить на какой-нибудь цветочек и не растоптать какую-нибудь букашечку, чьей однодневной трепетной жизнью я только и жил, другие прибирали к своим рукам мои деревни, присваивали мои дома, раздевали меня в прямом смысле догола.

И теперь — вот он я: *ессе homo*¹.

3. МИРИНА

Свеча, которую эта святая женщина привезла когда-то с собой из родной деревушки, освятив ее на «упокой души» в соборной церкви, исполняла теперь свое предназначение.

Сколько лет пролежала она у нас, спрятанная глубоко в шкафу, а теперь вот горит в высоком свинцовом подсвечнике и, как старая подружка, пришедшая посидеть с покойницей, будто вспоминает милое, нехитрое былое, далекую деревню, и горячие слезы катятся по ней, приютившейся в изголовье пока еще открытого гроба, стоявшего на полу в том месте, где еще недавно была кровать усопшей.

Как только я вспоминаю свою первую жену, с поразительной ясностью возникает у меня перед глазами и эта печальная картина похорон. Святая женщина, покоившаяся в гробу, — это Амалия Санни, старшая сестра и — меня так и тянет сказать — мать Мирины. Как сейчас вижу эту убогую комнату, две свечи, кроме той, освященной, в ногах покойницы, они потоньше и горят быстрее, слегка при этом потрескивая.

Сам я сижу у окна и, точно это неожиданное горе не столько опечалило, сколько ошеломило меня, рассматриваю родственников и друзей, явившихся по случаю кончины: люди они все порядочные и здравомыслящие, ничего не могу сказать, но все-таки неприятно было, что слишком уж усердно выказывали они мне свою неприязнь. Наверное, на то у них были свои причины, но этим они отнюдь не помогли мне сделаться здравомыслящим, потому как эти их взгляды давали мне только лишнее основание для того, чтобы искренне жалеть их самих.

¹ Се человек (лат.).

Я любил Амалию Санни, как сестру. Сейчас я понимаю, что у нее был один недостаток, и вот какой: душа ее целиком и полностью совпадала с моей в понимании жизни. Я бы не сказал, что она была сумасшедшей; самое большое — она не была здравомыслящей, как Святой Франциск. Потому как ведь среднего не дано: или ты святой, или сумасшедший.

Вместе мы старались всколыхнуть и пробудить в Мирине душу, но бережно, чтобы не повредить при этом пленительной свежести ее взбалмошного и иступленного жизнелюбия, чтобы не накинуть вериги смирения на ее грациозное, маленькое, словно у куклы, тело. Не то чтобы мы хотели заставить бабочку сложить крылья и бросить летать: мы думали всего лишь научить ее избегать ядовитых цветов. Но мы не понимали, что то, что казалось нам ядом, для бабочки было нектаром.

Но довольно: я не собираюсь распространяться о своем неудавшемся супружестве с Мириной. Скажу только, что во мне она презирала как раз то, чем восхищалась в своей сестре. И теперь мне это кажется в высшей степени естественным.

В комнату, где лежала покойница, вдруг, запыхавшись, ввалилась одна из многочисленных кузин моей жены, забыл уже, как ее звали: ну карлица такая, толстуха, в круглых очках с толстыми линзами, которые чудовищно увеличивали глаза бедняжки. Она вышла из дому, чтобы, не отходя особенно далеко, нарвать цветов — любых, какие попадутся, и столько, сколько хватит сил донести, — и вот теперь пришла убрать ими тело. По ее растрепанным волосам было видно, какой на улице ветер.

Сейчас-то я понимаю, что это было очень трогательно с ее стороны, но тогда... Я помнил, как несколько дней назад Амалия, увидя Мирину, возвращающуюся на виллу с огромной охапкой цветов, горестно воскликнула:

— Какая досада! За что ты их?

В святости своей она искренне верила, что полевые цветы растут не для людей, а что ими земля словно улыбается солнцу в признательность за теплоту, которую оно ей шлет. Рвать такие цветы было для нее святотатством. И я, сумасшедший, признаюсь, не выдержал, когда увидел покойницу, убранный полевыми цветами. Я не стал ничего говорить. Я просто вышел.

Ясно помню еще, что творилось в ту ночь с природой, как будто сорвавшейся с места и уносившейся прочь

под завывающим напором ветра. По небу, как разъяренные фурии, нескончаемым потоком неслись рваные облака и, казалось, тащили за собой побледневшую от страха луну; деревья, не переставая, корчились, шелестели листвой, скрипели, стонали, словно хотели вырвать из земли свои корни и тоже бежать, тоже мчаться туда, куда мчался ветер, уносивший облака, на грозное пиршество.

Душа моя, когда я выходил из дома, замкнулась в горе утраты, но тут вдруг раскрылась, словно сама печаль по умершей распахнулась навстречу той ночи: другую, беспредельную боль я почувствовал в этом таинственном небе, в этих рваных, несущихся по небу облаках; другую, тайную муку в этом обезумевшем, куда-то мчавшемся, воющем воздухе, — и раз уж бессловесные деревья так метались, то, знать, и в них была какая-то неведомая боль. И вдруг — жалобный крик, как будто неверный свет мелькнул среди кромешной тьмы: то ухнула сова в низине; а вдалеке кто-то кричал и кричал от страха: то сверчки звенели у холма.

Подхваченный ветром, я шел среди деревьев. В какой-то миг, не знаю почему, я обернулся и посмотрел на наш домик, который стоял теперь ко мне другой своей стороной.

Стоял я, смотрел, и вдруг словно какая-то сила толкнула меня — я подался вперед, стремясь разглядеть в темноте, было ли то, что мне привиделось, на самом деле: у низко расположенного окна той самой комнаты, где Мирина оплакивала свою сестру, шевельнулась какая-то тень. Но, может, это мне померещилось? Я потер глаза с такой силой, что на какое-то мгновение вообще перестал что-либо видеть; тьма словно сгустилась вокруг меня, чтобы помешать мне разглядеть, не дать поверить в то, что, мне показалось, я видел. Тень, которая шевелила руками? Может, то была тень дерева, колеблемого ветром?

Настолько я был далек от подозрения, что моя жена мне изменяет!

Сказать откровенно, мне не кажется, что я много на себя беру, утверждая, будто в ночь, подобную той, не только мне — никому не пришло бы в голову столь низкое подозрение; и что на моем месте любой другой, убедившись, так же как я, что тень эта не что иное, как мужчина из плоти и крови, решил бы первым делом, что это ночной вор, и побежал бы потихоньку, как и я, за

ружьем, чтобы пугнуть злодея, выстрелив по крайней мере в воздух.

Правда, когда я понял, что за вор стоял под окном, я не стал стрелять ни в него, ни в воздух.

Пристроившись за углом сыроварни, буквально в двух шагах от того окна, у которого они вели беседу, я, согнувшись пополам, пронизываемый леденящей, словно лезвие бритвы, дрожью, поминутно пробегавшей по спине, силился расслышать, о чем они говорили. Но слышал я только свою жену, которую ужасала вызывающая дерзость его поступка. Она его выпроваживала. Он что-то говорил, но так тихо и быстро, что мне не только не удалось разобрать что, но некоторое время я даже по голосу не мог понять, кто это.

— Уходи, уходи, — повторяла она. И добавила сквозь слезы еще несколько слов, от которых я так и окаменел. Я понял все! Он пришел сюда, в эту грозную ночь, для того только, чтобы справиться о состоянии больной. А она ему сказала: «Мы ее убили!» Ах, так, значит, Амалия все знала, значит, она раньше, чем я, обнаружила измену?

— Да в чем мы виноваты? В чем? Брось! — сказал он вдруг громко и сердито.

Варди! Так это Чезаре Варди, мой сосед! Я узнал его, я увидел его в этом голосе: приземистого, кряжистого, словно бы вскормленного землей, солнцем и здоровым воздухом. Потом я услышал, как с силой захлопнулись ставни, словно сам ветер помог движению ее рук; услышал, как он уходил. А я, я не двинулся с места, не переменил неудобную позу; слухом, сдерживая дыхание, я следовал за ним, его шагами, куда более медленными, чем биение моего сердца. Потом я пришел в себя после первого замешательства, и мне показалось, что это было невероятным — все то, что я увидел и услышал.

«Возможно ли? Неужели это возможно?» — спрашивал я себя, снова, как бы в забытьи, пускаясь в путь по полям, среди деревьев. Из горла моего поминутно вырывался сдавленный, протяжный писк, который сливался с буйным шелестом листвы, словно мое раненое тело жаловалось само по себе, а потрясенной, изумленной душе не было до него дела.

— Возможно ли?

Когда же я наконец понял, что значил этот писк, в горле перехватило, и я резко остановился, судорожно, обеими руками схватив себя за плечи, скрестив их

на груди, словно стараясь удержать себя, и опустился на землю. И вот тогда хлынули из меня безудержные, отчаянные рыдания; я плакал и плакал; затем, обессиленный, опустошенный, стал сам себя успокаивать.

Но я вам расскажу только о том, что я сделал после того, как хорошенько все обдумал. Так будет лучше. Теперь, когда прошло уже столько лет, расстраиваться из-за давней своей беды, боюсь, будет недостойно здоровогомыслящего человека; тем более, что тогда, кажется, да что там кажется, — совершенно точно, я вел себя из рук вон глупо.

Поднявшись, стало быть, с земли, я снова пустился блуждать. Вдруг я почувствовал, что словно какая-то сила еще раз толкнула меня затаиться, и я спрятался под изгородью, которая отделяла мое поле от его. Не торопясь, Варди возвращался к себе домой. Когда он проходил мимо меня, не подозревая о моем присутствии, я услышал в ночной темноте, как он глубоко вздохнул. Этот вздох настолько приблизил его ко мне, что меня передернуло от омерзения. Ах, я готов был убить его из-за одного только этого вздоха. Я вполне мог это сделать, стоило чуть приподнять ружье, даже целиться не надо было — так близко от меня он был. Но я дал ему пройти.

Вернувшись бегом, я обнаружил, что родственники уже ушли из комнаты покойной и что при ней оставались только двое слуг. Я освободил их от этой тягостной обязанности, сказав, что сам побуду у тела. Я задержался ненадолго, вглядываясь в лицо свояченицы, которое показало мне спокойней, просветленней, словно тень греха, отвратительную тайну которого она хранила, покинула ее с той минуты, когда я сам все узнал. Затем я вошел к Мирине.

Она плакала. Увидев меня, она изменилась в лице.

— Не бойся, — сказала ей. — Пошли со мной.

— Куда?

— Со мной. Больше тебя не будут мучить угрызения совести.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я сделать хочу, а не сказать. И сделать хочу то, чего хочешь ты. Пойдем-пойдем. Увидишь.

Я схватил ее за руку, потянул. Дрожа, всхлипывая, она дала дотащить себя до комнаты покойной. Я указал ей пальцем на сестру.

— Видишь? — сказал я ей. — Она простила тебя. Так что можешь сказать теперь и мне, что ее убила ты.

— Я?

— Да, как ты только что это сказала ему из окна. Тихо, не кричи! Я ничего тебе не сделаю. Просто ты сейчас же уйдешь из этого дома. Не надо слез. Этот дом — твоя тюрьма. Так вот я тебя освобождаю.

Она упала на колени, уткнувшись в землю лицом, умоляя простить ее, сжалиться над ней. Но я поднял ее, велел замолчать, вывел из комнаты.

— Куда? Куда ты меня ведешь? — спрашивала она в тревоге.

— Туда, куда тебе больше всего хочется; не бойся. Если ты хочешь быть наказана, это и будет наказание; если хочешь по-прежнему наслаждаться жизнью, будешь это делать свободно. Ибо я тебя освобождаю! Освобождаю!

За плечом у меня все еще висело ружье. Ах, как она взглянула на него, естественно заподозрив, что я просто собираюсь выманить ее на улицу! Я поймал ее взгляд. Быстро сдернув ружье, я поставил его на пол, в углу гостиной.

— Я не собираюсь делать тебе ничего плохого. Ты ведь не обязана любить меня насильно.

— Куда ты меня ведешь?

— К нему, он ведь тебя ждет.

Войдя в чужой дом, думал я тогда, следует довольствоваться стулом, который, возможно, нам будет предложен хозяином, а не раздумывать при этом, что вот-де мы из того самого дерева, из которого сделан этот стул, сделали бы другой, — и лучшей формы, и больших размеров, стул по собственному вкусу и росту. Для Мирины стулья в моем доме были слишком высоки. Когда она садилась, ее ноги болтались в воздухе, она же хотела чувствовать под ними землю.

Но я обещал говорить только о том, что я сделал. Ну хорошо, можете пропустить это краткое рассуждение безумца. Конечно, куда как проще и быстрее было бы выстрелить... Ну да впрочем...

На улице я взял ее за руку и, пока мы шли, все говорил, говорил. Не помню хорошенько, что я говорил; знаю только, что в какой-то момент она вдруг вырвала руку и побежала, все быстрее и быстрее, словно ее уносило ветром. Я растерялся, застигнутый этим неожиданным бегством: мне ведь все время казалось, что она

шла за мной так покорно... В темноте я позвал, как слепой:

— Мирина! Мирина!

Она исчезла в темноте, за деревьями. Долго и безуспешно я ходил, искал ее. Вспыхнула заря, а я все ее искал; я думал и предполагал уже все, что угодно, пока не убедился, что она укрылась там, куда я сам собирался ее отвести.

Я посмотрел на небо, подернутое редкими полосами облаков, уцелевших после ночного бегства, и почувствовал себя таким неприкаянным среди этой новой, неожиданной тишины; я смутно ощущал, что чего-то не хватает вокруг, повсюду, на всей земле. Ах да, конечно — ветра. Ветер стих. Деревья стояли недвижно в сыром воздухе бледного рассвета.

Какая усталость была в этой оцепенелой неподвижности. Я и сам тоже еле стоял на ногах и опустил на землю. Взглянул на деревья, на их листья и почувствовал, что если в ту минуту их колыхнет даже самое слабое движение воздуха, то и они, наверное, испытают такое же чувство боли, какое испытал бы я сам, подойди кто тогда ко мне и возьми за руку.

И тут вдруг я сообразил, что покойник-то остался в доме; и что там ведь были родственники, которые в тот час, наверное, уже проснулись и хватились меня с женой. Я вскочил на ноги и побежал.

Считаю, людям здравомыслящим не нужно рассказывать, что произошло далее. Добропорядочных родственников возмутили мои слова и объяснения; они объявили меня сумасшедшим, и вдобавок та карлица-кузина, толстуха в круглых очках, пока все галдели, воодушевленная общим возбуждением, набралась смелости и крикнула мне в лицо, тыча сжатыми кулачками:

— Дурак!

И бедняжка была права.

Они поспешно отвезли тело в ближайшую церковь, а меня бросили в доме одного.

Через два года я предпринимаю путешествие. Варди бросил Мирину, которая, избежав нищеты, отчаяния, пути порока, живет в доме какой-то своей родственницы. Однако она во власти неизлечимой болезни, и ее вот-вот не станет. Я надеялся, я лелеял мечту, что, придя к ней с прощением, примирившись с нею и свозив ее в нашу деревню, я скрашу ее последние дни. Захожу я к ней, в ее убогую комнатушку, и говорю:

— Но теперь-то ты меня понимаешь?

— Нет! — отвечает она, отдергивая руку, которую я хочу погладить, и с неприязнью смотрит на меня. И бедняга тоже была права.

4. ШКОЛА МУДРОСТИ

Для того чтобы преуспеть в любом деле, требуется, как известно всякому, определенная широта средств, позволяющая дожидаться наиболее выгодного случая, а не кидаться, как собака на кость, на первое подвернувшееся; такова обычно судьба всякого, кто находится в стесненном положении и вынужден сегодня обкрадывать свой завтрашний день, самого себя, свое дело.

Так вот, сказанное распространяется и на профессию вора.

Вор-горемыка, вынужденный жить сегодняшним днем, как правило, кончает плохо. Напротив, вор, не обремененный подобными тяготами, может и умеет выждать время, подготовить почву и в результате достигает самых высоких и почетных мест при всеобщем восхищении и ко всеобщему удовольствию.

Так что, говоря о людях, обокравших меня, воздержимся приписывать их заслуги здравомыслию.

Все те, кто упражнялся в этой профессии на моем довольно-таки значительном состоянии, не могут быть названы людьми здравомыслящими. Они имели все возможности красть изящно, вольготно, благоразумно и предусмотрительно и с легкостью занять важное и весьма уважаемое положение. Они же, без всякой на то нужды, накинулись всем скопом на мое добро, и, естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Доведя меня до полного разорения всего за несколько лет, они и себя лишили возможности спокойно жить за мой счет и дальше. Вот тут-то они и стали чесать себе затылки, чего не делали раньше; мне известно, и я об этом весьма сожалею, что кое-кто из них кончил совсем плохо.

Марта, моя жена, сходится со мной в этом мнении; она только замечает, что когда кристально честный человек вынужден управлять имуществом богатого дурака или сумасшедшего (имеюсь в виду я) вместе со сворой ненасытных воругов, то тактика умеренного воровства теряет смысл; она неразумна; в этом случае благовидное, спокойное, повседневное воровство является свидетель-

ством уже не дальновидности, но глупости и малодушия. А это как раз и есть случай Санти Бенсаи, моего секретаря и первого мужа дорогой моей Марты.

Бедняга Санти (которому я весьма обязан, коль скоро не хожу сегодня с протянутой рукой) представлял себе размеры моего состояния и с полным основанием считал, что его хватило бы с лихвой и на меня, и на всех таких же, как он, если бы они, подобно ему, довольствовались малым: то есть отрывали бы по кусочку, не суетясь, с чувством, толком и расстановкой, не причиняя мне чересчур ощутимого ущерба. Возможно, что он даже советовал своим коллегам, ради общего же интереса, умерить аппетиты; но к нему явно не прислушивались; он нажил себе врагов; и немало выстрадал, бедняга. Все продолжали тащить кто во что горазд; он же — как скромный муравей. И когда я под конец остался нищ, как Святой Йов, видели бы вы, как страдал добрый Санти: он страдал даже больше, чем я. Потихоньку-помаленьку он поднакопил себе на скромное существование, и никак не мог успокоиться по поводу того, что прочие, обворовавшие меня, не соизволили оставить мне на прожить хотя бы столько, сколько осталось у него.

— Живодеры! — восклицал он; он, тот самый, кто потихонечку сосал мою кровь.

Не раз, видя, что я слишком бледен, он чуть ли не силой затаскивал меня к себе и кормил обедом; сам он не ел, распалившись гневом против живодеров.

Я помалкивал и слушал, что говорила Марта, которая уже с той поры начала преподавать мне уроки мудрости. Она защищала от мужа моих погубителей.

— Будем справедливы! — говорила она. — По какому праву смеем мы требовать, чтобы другие заботились о нас, когда мы сами нисколько не заботимся о себе? Добро синьора Фаусто так плохо лежало, что каждый отхватил свою долю. Не столько они воры, сколько дурак тот — простите, синьор Бандини, — кто позволяет себя обкрадывать.

В другой раз она в раздражении говорила:

— Ладно, Санти, помолчи! Бери пример с синьора Бандини, который хотя бы сидит и помалкивает, прекрасно понимая, что теперь жалуйся не жалуйся — все равно ничего не изменишь. Коль он и вправду всегда думал о других, хотя вовсе не обязан был этого делать, что же удивляться, что другие подумали о себе? По мне, так синьор Бандини сам себя и обокрал.

— Значит, в тюрьму меня? — спрашивал я ее, улыбаясь.

— Зачем же в тюрьму! Вот в какое-нибудь другое заведение, это пожалуй.

Но Санти кипел. Разгоралась словесная перепалка, и напрасно я пытался их утихомирить, говоря, что в конце концов самое большое зло те люди причинили не мне — ведь я-то, в общем, как-то перебивался, — а тем несчастным, которые нуждались в моей помощи.

— Ага, стало быть, вы причинили зло не только себе, но и другим? — говорила Марта. — Вы согласны со мной? Не думая о себе, вы не думали и о других. Двойное зло! Не следует ли, кстати, из этого, что все те, кто думают только о себе и живут, ни в ком не нуждаясь, уже одним этим доказывают, что думают о других? И, думаете, необходимость выказывать вам свою благодарность они почтут за великое благодеяние?

— Ну что ты мелешь, болтушка? — вспыхивал при этих словах Санти, опасаясь, как бы я не углядел в них упрека за ту небольшую помощь, которую он от всего сердца оказывал мне.

Марта невозмутимо, бросая на него полный сострадания взгляд, отвечала:

— Я не про тебя говорю. При чем тут ты, милый мой Санти, ты — бедный и порядочный человек?

А ведь и в самом деле! Уступи я его чувствам и позволь действовать, как он хотел, жить бы мне при нем денно и ночью. Он ни на минуту не хотел со мной расставаться и умолял, чтобы я не отказывался от его услуг. Бедняга Санти! Но и в нищете пары безумия никак не выветрились из моей головы. Я не хотел быть в тягость никому из тех, кого когда-то благодетельствовал, и с жалкой гордостью носил свои лохмотья, свою нищету, стараясь по мере сил раздобыть себе хоть какую-нибудь работу — даже на черную был согласен, — которая дала бы мне возможность удовлетворить мои скромные потребности.

Но и это не нравилось моей мудрой наставнице.

— Работать? — говорила она мне. — Не было печали! Вы не рождены, чтоб работать, а теперь еще, сами того не ведая, отнимете место у какого-нибудь бедолаги, который, может быть, сумел бы кое-как выкарабкаться благодаря той работе, которую вы хотите себе присвоить.

Так что же мне оставалось? Лечь и умереть — этого,

что ли, хотела добрая моя советчица? Но ее рассуждение меня сразило, и, не желая ни у кого отнимать его место, я уехал подальше от тех краев и попросил крова у бывших моих работников, крестьян; в благодарность за это я сторожил у них по ночам лесную угольничную землянку, под тем предлогом, что мне все равно не спится. Туда, спустя несколько месяцев, дошло до меня известие, что бедный Санти Бенсаи скончался от удара. Я оплакал его как брата! Примерно через год его вдова разыскала меня. Но я к тому времени дошел до такого состояния, что решительно не хотел показаться ей на глаза.

Нынче Марта не хочет поставить себе в заслугу то, что она меня спасла; но если верно, что добрый Санти в завещании горячо хлопотал за меня перед женой, то верно и то, что она могла пренебречь этими хлопотами.

— Нет, н е т, — твердит о н а, — благодари за все доброго Санти; он-то по крайней мере хоть малость твоих деньжонок предусмотрительно отложил нам на старость. Видишь? То, что не смог для себя сделать ты, сделал для тебя он. Жаль, правда, что у бедняжки не хватило смелости на большее.

Вот так я, здравомыслящий теперь человек, вкушаю — пусть скудные — плоды самой благоразумной из добродетелей: дальновидности — ведь он был дальновиден, бедный мой вор, такой признательный и такой порядочный.

1902 (1926)

МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ

Конь и бык — прочитал я однажды в книге, заглавия и автора которой не запомнил, — конь и бык... Но быка лучше опустить. Приведем лишь то, что относится к коню. Итак:

«Коню, который не знает, что ему предстоит умереть, метафизика незнакома. Но если бы конь знал, что он должен умереть, проблема смерти и для него стала бы в конце концов важнее, чем проблема жизни.

Добывать сено и траву, конечно, задача чрезвычайно важная. Но вслед за ней возникает другая: почему, потрудившись двадцать-тридцать лет, чтобы обеспечить себе сено и траву, обязательно нужно умереть, так и не узнав, для чего жил?

Конь не знает, что ему придется умереть, и не задается такими вопросами. Но перед человеком, то есть — согласно определению Шопенгауэра — животным метафизическим (что означает животное, знающее, что ему придется умереть), этот вопрос стоит неотступно».

Из этого, если не ошибаюсь, следует, что все люди должны бы искренне завидовать коню. А тем более метафизические животные вроде меня, которые больны и знают не только, что им предстоит умереть очень скоро, но также и то, что произойдет в их доме после их смерти, и при этом не имеют даже права возмущаться.

Осадок никогда не бывает прозрачным. По мере приближения к концу жизненные соки изо дня в день перекидают во мне всё больше и больше. И вот я хочу, заполнив эти несколько листков, доставить себе удовольствие, правда, отдающее горечью морской воды (удовольствие, которое мне не суждено испытать): хочу, чтобы жена моя узнала, что я все предвидел заранее.

Эта мысль родилась у меня сегодня утром. И родилась она потому, что жена застала меня врасплох в коридоре у входа в гостиную, когда я, пригнувшись, тихонько подглядывал в замочную скважину.

— Да ведь ты не ревнивый, — крикнула она мне, — что же ты здесь делаешь? Скажите, пожалуйста! Даже ботинки снял, чтобы не шуметь.

Я посмотрел на ноги. И вправду босые! А тем временем жена заливалась хохотом. Что я мог сказать? Я бормотал глупейшие оправдания: я и не думал шпионить, мне захотелось посмотреть просто из любопытства — я перестал слышать звуки рояля, не видел, когда ушел учитель, и вот... Но клянусь, что ботинки (с позволения сказать) я скинул гораздо раньше и без всякой задней мысли. Просто они жмут. Она, моя дорогая Еуфемия, которая застала меня здесь босиком, должна бы знать, почему они жмут, и не смеяться над этим, по крайней мере в моем присутствии. У меня отекают ноги, и иногда я от нечего делать их щупаю: надавлю пальцем и жду, пока ямка снова забуднет.

Но это отнюдь не значит, что я совершил непростительную глупость.

Ведь я же знал, ведь я же знаю, что моя жена его терпеть не может, этого своего учителя музыки. И потом, я уверен, совершенно уверен, что — пока я жив — она мне не изменит. Она столько лет мне не изменяла, так неужели же она захочет себя запятнать из-за каких-то двух

или, допустим, четырех, шести месяцев? Да нет же, я уверен, у нее хватило бы терпения, даже если бы я протянул еще год в таком состоянии.

И потом, я его знаю, прекрасно знаю мужа (будущего) моей жены! И тоже могу дать голову на отсечение, что он не причинит мне ни малейшего зла, пока я еще скриплю.

Он, разумеется, мой близкий друг. Отличный молодой человек.

По правде сказать, не такой уж молодой. Сорок лет, почти мой возраст. Но я выгляжу, как будто мне сто; а он — крепыш, твердо стоящий в жизни, как дуб среди леса; и кроме того, одарен, как говорили древние, всеми качествами, необходимыми для образцового мужа: «нравственным поведением, великодушным и благородным нравом».

Об этом свидетельствуют и его заботы обо мне.

Вот, к примеру сказать, почти каждое утро он приезжает за мной в экипаже, чтобы дать мне глотнуть воздуха. Берет меня под руку и помогает мне потихонечку спуститься с лестницы, заставляя отдыхать на каждой площадке, пока он не сосчитает до ста; потом щупает мне пульс, не частит ли он, заглядывает мне в глаза, ласково спрашивает:

— Пошли?

— Пошли.

И так и дальше, до самого низа, тихонько, тихохонько. После прогулки меня несут наверх в кресле, он с одной стороны, швейцар с другой.

Я пробовал протестовать, но тщетно. Правда, мне не одолеть разом и семи ступенек без мучительной одышки; но я хотел бы, чтобы мой друг не утруждал себя такими докучными обязанностями; чтобы швейцар нашел себе другого помощника... Куда там! Флорестано, если бы ему позволяли силы, готов бы нести меня один, безо всякой помощи. Ну что ж, в конце-то концов я вешу немного (что-нибудь около сорока пяти кило со всеми отеками); и потом, я думаю: помогая мне, он хочет заслужить будущее счастье. Ну и пусть старается!

С другой стороны, и жене моей Еуфемии почти приятно страдать из-за меня, и она рада бы мучиться еще больше, лишь бы отвоевать у собственной совести право радоваться впоследствии безо всяких угрызений. Законное право, законнейшая компенсация, в которой ни

жизнь, ни совесть не могут ей отказать и на которые я, повторяю, не смею обижаться.

Сознаюсь, однако, что бывают минуты, когда мне почти хочется, чтобы оба они были отъявленными негодяями. Их честные помыслы, их тонкие чувства нередко оборачиваются для меня самой изощренной жестокостью: поскольку я лишен возможности взбунтоваться против того, что, вне всякого сомнения, случится после моей смерти, то я, например, часто чувствую себя обязанным подозвать моего малыша, моего единственного сыночка, поставить его между колен и внушать ему, чтобы он любил и по-сыновнему почитал того, кто в скором времени станет его вторым отцом, чтобы он старался никогда не давать ему повода для жалоб. Я говорю ему:

— Посмотри, милый Карлуччо, у тебя грязные ручки. Что тебе сказал вчера дядя Флорестано, когда увидел у тебя на носике чернильное пятнышко? Он тебе сказал: «Умойся, Карлуччо, а не то тебя посадят в тюрьму». Только это неправда: дядя Флорестано шутит. Теперь за грязные руки на каторгу не посылают. Но ты все равно их мой, потому что дядя Флорестано любит чистеньких мальчиков. Он такой добрый и так тебя любит, милый Карлуччо, и ты тоже, смотри, должен его очень, очень любить и, помни, всегда его слушаться, чтобы он всегда был доволен тобой. Понял, сыночек?

И я расхваливаю все подарочки, которые он приносит ему, чтобы доставить удовольствие Еуфемии. Бедный мой малыш следует моим советам и уже благоговееет перед ним. На днях, например, Флорестано водил его гулять, а вернувшись, со смехом рассказал мне, что во время прогулки, когда они переходили залитую солнцем площадку, Карлуччо вдруг вскрикнул, остановился и огорченно спросил:

— Я тебе сделал больно, дядя Флорестано?

— Нет, Карлуччо. Почему ты спрашиваешь?

А мой малыш простодушно ответил:

— Я наступил на твою тень, дядя Флорестано.

Ну нет, это уж чересчур, бедненький мой Карлуччо! Ах ты дурачок! Знай же, что тень топтать можно: дядя Флорестано и твоя мамочка будут в свое время топтать тень твоего папы в уверенности, что они не делают ему больно, потому что при жизни они очень остерегались наступить ему хотя бы на ногу.

Какое между нами тремя идет состязание в вежливо-

сти! И в то же время — какое добровольное мученичество. Мне, бедному больному, хотелось бы безвольно плыть по течению, а я, наоборот, вынужден держать себя в руках, чтобы как можно меньше их отягощать, не то они окружат меня еще большим вниманием и заботой, а это иной раз вызывает во мне отвращение, даже ужас. Возможно, я не прав. Но зрелище нашей изысканной любезности, наших постоянных церемоний у порога смерти кажется мне тошнотворным балаганом. Я вижу, как они в желтых перчатках и с бесконечными реверансами мягко подталкивают меня к этому порогу; и мне кажется, что они низко кланяются мне и говорят с приятной улыбкой на устах:

— Ну проходи же. Счастливого пути! И будь уверен, мы всегда будем помнить тебя, такого доброго, такого благоразумного и рассудительного!

Они всегда говорили мне, что надо быть искренним. Искренним? Но для меня искренность означала бы в данный момент только одно: убить. Не дай бог! Что меня удерживает?

Поговорим серьезно. Если бы я не был верующим, если бы не верил в бога по-настоящему и думал бы, напротив, что со смертью кончается все, даже душа, и что, когда земля уйдет у меня из-под ног, меня поглотит пустота и ничего больше, — вы думаете, что я не убил бы Флорестано?

Когда я ночью, во время бессонницы, представляю себе, как он будет ложиться в мою постель, на мое место, со всеми моими правами на мою жену и мои вещи; когда думаю, что в соседней комнате, лежа в кроватке, мой сыночек, мой сиротиночка ночью вдруг заплачет и позовет свою маму, а тот, может быть, скажет моей жене, если она захочет вскочить и посмотреть, что с моим малышом, почему он плачет: «Да пусть его плачет, дорогая, не вставай, еще простудишься!» — тогда, кланясь вам, я готов убить Флорестано!

А вместо этого я каждую ночь тихо сижу у окна и подолгу смотрю на небо. Там есть малюсенькая звездочка, от которой я не отвожу глаз, и я часто говорю ей:

— Жди меня, я приду!

А Еуфемии, которая, как дочь вольнодумца, хвалится, что не верит в бога, я часто повторяю:

— Верь, глупая: бог есть. И благодари его, слышишь? Благодари его.

Еуфемия смотрит на меня, как будто ей кажется странным, что я, Лука Леучи, могу так говорить: ведь я, по ее мнению, вовсе не обязан верить в бога, поскольку он плохо обращается со мной, заставляя так рано умереть. Но если она от всей души любит своего Флорестано, она еще будет благодарить бога, когда ей в руки попадут эти листки.

Я прекрасно понимаю, что мне следует умереть как можно скорее. Я иногда замечаю, как Флорестано взглядами и вздохами дает понять моей жене, какие желания терзают его, беднягу! Тогда я воображаю, как моя жена, томно склонив красивую белокурую голову на его широкую, мощную грудь, ласково поглаживает его великолепные усы, легонько, двумя пальцами, расправляя их длинные рыжеватые волоски!.. О блаженство! Потерпи и ты, дорогая моя Еуфемия! А те ночные словечки, которые ты твердила, обнимая меня, ты будешь говорить и ему, почти не сознавая этого:

— Радость моя... Ах, дорогой... да, да... Дорогой, дорогой...

Я начинаю неудержимо смеяться. Тогда оба они удивленно спрашивают меня, над чем я смеюсь; я отделываюсь шуткой, а Флорестано замечает:

— Ты до старости, дорогой Леучи, останешься все таким же шутником.

Но часто мне не удается быть шутником, как называет меня мой друг. Остроты мои против воли становятся едкими, и тогда Флорестано, сидящему рядом со мной в экипаже, бывает не по себе. Я ему говорю:

— Я предложил бы тебе, дорогой Флорестано, очутиться на минутку в моем положении, если бы оно не было таким скверным. Уверяю тебя, что у тебя появилось бы такое же странное чувство, как у меня, если бы ты был способен видеть жизнь такой, какой она останется для других, будучи при этом уверен, что для тебя она кончится очень скоро — может быть, даже пока ты об этом говоришь, — и представлять себе, как поведут себя другие, когда тебя не станет.

Я выражаюсь ясно, но Флорестано делает вид, что не понимает. А я продолжаю:

— Дорогой Флорестано, я даже знаю, например, какой венок с фарфоровыми цветами ты возложишь на мою могилу, когда меня зароят.

Флорестано принимается мне возражать, и тогда я умолкаю; сию, такой худой, бледный и грустный,

и смотрю из угла коляски, едущей шагом по просторным аллеям Джаниколо, на мирное зрелище заходящего солнца; и не все ли равно, как будут другие наслаждаться жизнью, хотя бы и горькой? Вот этот широкоплечий здоровяк, который сидит рядом со мной и вздыхает; моя жена, которая тоже вздыхает, сидя дома; а еще мой малыш (уже без меня), который когда-нибудь, очень скоро, начисто забудет, кем я был, какой я был!

— Папа...

А Флорестано, обернувшись, нетерпеливо ответит ему:

— Ну что тебе?

Муж твоей матери, Карлуччо, он тебе не настоящий папа. Понимаешь?

И все-таки жизнь, Карлуччо, — она так прекрасна... так полна.

1903 (1924)

МУХА

К деревне они выскочили низом — ноги уже не несли, воздуха не хватало, а оттуда, чтобы сократить путь, — давай сюда, напрямик! быстрее будет! — кинулись вверх по иззубренному, глинистому склону крутого оврага, подсобляя себе даже руками, — живей! живей! — потому как башмаки-то на коже, гвоздями подбиты, чуть ступишь, и — тьфу ты, пропасть! — скользят вниз, срываются.

Едва показались наверху их багровые лица, как женщины, судачившие у родника, на окраине деревни, разом, все как одна, развернулись и ну высматривать — кто же это такие? А не братья ли Торторичи, случаем? А то кто ж, они самые, Нели и Саро Торторичи. Ишь, сердечные! Куда ж это нелегкая их несет?

Нели, меньшей из братьев, приостановился было — дух перевести, а то совсем невмоготу, да заодно и женщинам угодить — растолковать, что к ч е м у, — но Саро разве даст: схватил его за руку и потащил дальше.

— Чурлану Цару, брат наш двоюродный! — оглянувшись на ходу, успел все же сказать Нели и, взмахнув рукой, прочертил в воздухе крест.

Женщины закричали, заголосили, запричитали, кто от ужаса, кто от жалости, а одна среди них — громче всех:

— Кто же это его?

— Никто. Господь Бог! — издалека крикнул Нели.

Тут они повернули, взяли в сторону площади, где находился дом окружного врача.

Синьор врач, Сидоро Лопикколо, без пиджака, в незастигнутой рубашке, с небритой дней десять, не меньше, щетиной на ввалившихся щеках, с воспаленными и нагноившимися глазами ходил, шаркая домашними туфлями, из комнаты в комнату, держа на руках больную, дохленькую — одна кожа да кости, — желтую, как воск, девочку лет девяти на вид.

Жена прикована к постели, лежит — не встает уже одиннадцать месяцев; а в доме шестеро детишек, не считая той, которую он носил на руках — старшенькой: все ободранные, замызганные, одичавшие; в доме все вверх дном, разгром полнейший: осколки битой посуды, очистки, во всех комнатах сор на полу кучами; стулья разломаны, кресла продавлены, кровати не стелены бог знает с какого времени, одеяла изодраны в клочья — да и как им быть целыми, когда дети — лапушки вы мои ненаглядные! — целыми днями толкутся на них, колошматя друг друга подушками.

В неприкосновенности остался один только увеличенный фотографический портрет, висевший на стене в той комнате, которая называлась когда-то гостиной; его, синьора врача Сидоро Лопикколо, изображение, когда он еще был молодым — тут он только-только получил свой диплом: чистенький, подтянутый и улыбается.

Вот к этому портрету он теперь-то и направлялся, шаркая своими туфлями; ухмыльнувшись, оскалив зубы в приторно-любезной улыбке, церемонно раскланявшись с портретом, он протягивал к нему больную девочку:

— Вот, вашество, изволь! Любуйся!

«Вашество» — это потому, что так его в те далекие годы ласкательно величала мама. Его мама, она ждала от него непременно чего-нибудь великого — еще бы, ведь он был любимцем, опорой и гордостью дома.

— Так-то, вашество!

На двух парней, которые явились к нему как раз в эту минуту, он накинулся как бешеная собака:

— Что надо?

Сминая в руке шапку, не в силах совладать с дыханием, говорить стал Саро Торторичи.

— Нужда в вас, синьор врач, у нас там брат двоюродный помирать, значит, собрался...

— Везет же людям! Не по моей это части, в церковь ступайте, пусть звонят! — выкрикнул доктор.

— Да нет же, смилуйтесь, ваша честь! Кончается от напасти какой-то, ни с того ни с сего. В Монтелузе он; там, значит, в конюшне помирает.

Доктор прямо отшатнулся и, рассвирепев, заорал:

— Где-где? В Монтелузе?

От них туда добрых десять миль дороги было. Да еще какой дороги!

— Смилуйтесь, давайте скорее, ждате некогда, — взмолился старший Торторичи. — Он уже как печенки шмат, так почернел, а разнесло его — прямо страх берет! Христом-богом молю, давайте скорей!

— Как «давайте», пешком, может? — завопил доктор. — Десять миль пешком? Да вы не иначе рехнулись! Мула хотя бы! Пешком не пойду. Мула привели?

— Сейчас сбегая, будет м у л, — поспешил заверить его Саро. — У кого-нибудь одолжу.

— Вот и ладно, — подал тут голос Нели, меньшей, — а я пока успею к парикмахеру сбегать, побриться.

Доктор повернул к нему голову и смерил его таким взглядом, словно хотел испепелить.

— Да сегодня ж воскресенье, ваша милость, — смутившись, стал оправдываться Нели, и вдруг улыбнулся. — А я как-никак жених.

— Ах, жених, скажите, пожалуйста! — ухмыльнулся, вне себя от ярости, врач. — Ну так вот, жених, держи!

С этими словами он сунул ему в руки больную девочку; потом стал хватать одного за другим остальных обступивших его малышей и в бешенстве толкать их к Нели.

— И этого забирай! и этого! и этого! и этого! Господи, какое скотство! скотство! скотство!

Развернулся и уже побежал было, но вернулся назад, отобрал девочку и рывкнул на братьев:

— Что стали? Где мул? Я сейчас буду готов.

Спускаясь по лестнице вслед за братом, Нели опять расплылся в улыбку. Ему двадцать лет было; Луцце, невесте его, шестнадцать — роза, одно слово! Семеро ребят? Чепуха! Он двенадцать заведет. А чем прокормить, так на то ему господь и руки дал, две, правда, всего, но зато какие! И — никогда не унывать. Пахать и петь — чтоб все было как полагается. Недаром же люди прозвали его Лиола, поэтом. И чувствуя, что всем он люб за доброту свою, за угождение людям, за вечно веселое свое настроение, он улыбался даже воздуху, которым дышал. Солнце еще не успело опалить ему кожу, пригасить золотистый блеск выющихся светлорусых волос, которым не одна женщина могла позавидовать; и не одна из них трепетала и заливалась краской, когда он смотрел на нее так, как только он один и умел смотреть своими ясными, такими живыми глазами.

Признаться, в тот день в глубине души больше, чем за двоюродного брата Цару, он был расстроен из-за Луццы, из-за того, что теперь она надуется на него — ведь шесть дней ждала не могла дожждаться, пока наступит это воскресенье, чтобы побыть с ним вдвоем. Но, по совести говоря, разве мог он уклониться от своего христианского долга? Бедняга Цару! Он ведь тоже в женихах ходил. И надо ж, такая напасть — откуда она только взялась на него! Пошел на заработки в долину, в Монте-лузу, — миндаль трусить; к Лопесу в поместье подрядился. А вчера с утра, с субботы то есть, зарядило к дождю; но что вот-вот польет, и думать нечего было. Но Лопес ближе к обеду говорит: — За час только бог на все горазд. Натрусить-то миндаль мы натрусим, а ну, как дождь зарядит? Что ж тогда — будет он мокнуть под водой? Нет, не по мне это, дети мои, — И наказал женщинам, подбиравшим с земли сбитые плоды миндаля, чтобы шли они сегодня ко двору, да лучше брались счищать кожуру с того, что успели собрать и снести в сарай. — А вы, — говорит он, обратившись к мужикам (среди них были и они, Нели и Саро Торторичи), — вы, коли охота есть, ступайте вместе с женщинами да все разом и приступайте. А Чурлану Цару: — Завсегда, — говорит, — готов, вот только бы знать, за день мне набезит по моей расценке, по двадцать пять сольди за час? — Нет, за полдня положу тебе по двадцать пять, за остальное — как женщинам, пол-лиры. — Ну не надувательство ли это? Ведь разве что мешало мужикам заработать

свое, проработав день целиком? Сухо же было весь день, да и ночью ни капли не упало. — Пол-лиры, как бабам? — говорит Цару. — Я как-никак штаны ношу. Заплатишь за вторые полдня по двадцать пять сольди — по рукам, нет — будь здоров.

Ну так и шел бы себе, так нет: остался ждать до вечера двоюродных братьев, которые, раз такое дело — по пол-лиры так по пол-лиры, — пошли наравне с женщинами лущить миндаль. Да потом, видно, умаялся сидеть без дела, глядя, как другие работают, ну и поплелся себе в конюшню, которая тут же неподалеку стояла, поспать, пока суд да дело, наказав миру разбудить его, когда придет время собираться домой.

Миндаль трусили всего полтора дня, так что набралось его пока немного. Женщины предложили в тот же вечер все и закончить, работая допоздна, да тут же и заночевать, чтобы встать засветло и к утру уже быть дома. На том и порешили. Лопес принес вареных бобов и две бутылки вина. К двенадцати ночи, дочиста облупив весь миндаль, всем гуртом — женщины, мужчины — завалились на току под открытым небом на неубранной еще соломе, которая была такой сырой, будто и в самом деле дождь прошел.

— Ну давай, Лиола, заводи!

И он, Нели, стал петь; пел про все, что только в голову не придет. Луна то пряталась, то опять выглядывала из-за черных и белых тучек, которыми сплошь, как частой сеткой, было затянуто небо; и была луна круглым лицом Луццы, и оно то улыбалось, то хмурилось, смотря по тому, ладилось или нет в любви, про которую он пел в своих песнях.

А Чурлану Цару так все и лежал себе в конюшне. Светать еще не стало, Саро пошел его будить, как видит, а он уж и почернел, и трясет его, как лошадь в лихорадке.

Все это Нели рассказывал, сидя у парикмахера, который, заслушавшись, отвлекся и порезал его бритвой. Царапинка, вот здесь, чуть выше подбородка; чепуха, подумаешь, еле заметно даже. Нели не успел даже подосадовать, потому что на пороге парикмахерской стояли Луцца с матерью и Мита Люмия, несчастная невеста Чурлану Цару; как она плакала, как кричала — как обезумевшая.

Чего они только не делали, чтобы втолковать ей, бедненькой, что незачем ей ходить в Монтелузу смо-

треть на жениха: она увидится с ним еще засветло, когда они в наилучшем виде доставят его домой, в деревню. Тут прилетел Саро, горланя, что доктор уже в седле и ждать дольше не может. Нели отвел Луццу в сторонку и стал уговаривать, чтобы она потерпела — он еще до вечера вернется и тогда она узнает кое-что; сама увидит, ей будет приятно.

Но уже то приятно жениху с невестой, что они говорят об этом, взявшись за руки и глядя друг дружке в глаза.

А дорога — сплошная погибель, а не дорога! Другой раз так ухнет вниз, что тут доктор Лопикколо и смерть свою завидит, хоть Саро с одной, а Нели с другой стороны крепко придерживают под уздечки мула.

Отсюда, сверху, была видна бескрайняя ширь полей, то гладко стелющихся, то опускающихся вниз; поля, засеянные злаками, усаженные оливками и миндалям; то все сплошь желтые от снятой пшеницы, то вдруг в черных плешинах от выжженного жнивья; вдалеке за всем виднелось море густого синего цвета. На жасминовых, рожковых деревьях, кипарисах и оливах еще держалась листва, непреходящая, вековая листва, переливающаяся всеми оттенками зеленого; верхушки миндальных деревьев уже пореди.

Всё вокруг, во всю ширь горизонта, было затянато словно пеленою ветра; но жара стояла нещадная: камни трескались от солнца. Откуда-то из-за частокола пыльных кактусов раздавался пронзительный визг долгоносика, и опять все стихало, то вдруг сорока раскатывалась трескучим хохотом, и в ту же минуту мул под доктором настораживал уши. Тогда тот принимался хныкать:

— Окаянный мул! Окаянный мул!

Он так впился взглядом в эти уши, что даже позабыл о солнце, которое било ему прямо в глаза, и раскрытый зонт его на зеленой подкладке болтался без дела у него на плече.

— Да вы, ваша милость, не бойтесь, мы же с вами, — подбадривали его братья Торторичи.

А чего ему, доктору, было бояться, нечего ему было бояться. Это он из-за детей, говорил он. Ради них, се-

мерых своих несчастных пострелят, должен был он бегать свою шкуру.

Чтобы как-то его отвлечь, Торторичи пустились рассказывать ему, какой нынче год окаянный выдался: хлеба уродилось мало, ячменя мало, бобов мало; с миндалем дело известное: год на год не приходится — год родит, год нет; а про оливки даже и говорить не хочется: только что они принялись и пошли в рост, как туманы на корню сгубили все подчистую; да и виноградом не больно-то разживешься, вон все виноградники в округе болеют.

— Да-да, хорошенькое утешеньице, — вставлял изредка, покачивая головой, доктор.

За два часа пути успели переговорить обо всем. Потом дорога на большом протяжении пошла ровно, и теперь по толстому слою беловатой пыли заокотали, повели между собой разговор четыре копытца мула да две пары крестьянских башмаков, подбитых гвоздями. Лиола вздумал было затянуть песню, но как-то вяло, без особой охоты, вполголоса; помычал, а там и совсем бросил. Ни одной живой души не попадалось навстречу; крестьяне на воскресный день вернулись в деревню, разошлись по домам, кто собирался пойти к мессе, кто что купить, а кто просто отдохнуть. Может, там, в Монтелузе, никого и не осталось рядом с Чурлану Цару, и помирал он себе в одиночку, хоть и жив был еще.

Так-таки одного они его и застали в смрадной конюшне, на низенькой каменной кладке у двери; так, как Саро с Нели его оставили, так он и лежал: посинел, распух до неузнаваемости.

И хрипел.

Через решетку в окно возле яслей проникало солнце и падало ему прямо на лицо, потерявшее все человеческое: носа, из-за того что все опухло, не было видно, губы почернели и страшно раздулись. И из этих губ вылетал надрывный, похожий на собачье рычание хрип. В крутых, как у негра, завитках его застряла чешуйка овса, вспыхивавшая на солнце золотистым блеском.

Они как вошли втроем, так и замерли, растерявшись, словно их останавливал ужас перед тем, что они видели. Мул, фыркнув, стал перебирать копытами по булыжному настилу конюшни. Тогда Саро Торторичи приблизился к умирающему и ласково окликнул его:

— Чурла, Чурла, доктор пришел.

Нели взял мула и пошел привязывать его к яслям, возле которых на стене проступала как будто тень какого-то другого животного — это осел, стоявший тут долгие годы, почесываясь о стену, запечатлел на ней свой образ.

Чурлану Цару на втором оклике перестал хрипеть; попробовал открыть налившиеся кровью, оплывшие черными кругами, полные страха глаза; раскрыл свой жуткий рот и промычал, словно внутри у него все онемело:

— Умираю!

— Нет, нет, — с поспешностью сказал Саро, испугавшись. — Вот доктор пришел. Мы его привели с собой.

— Отвезите меня в деревню! — попросил Цару и, не в силах сжать губы, выдохнул: — Ой, мамочки!

— Отвезем, отвезем, у нас и мул есть, — торопливо отвечал Саро.

— Да я тебя хоть на руках понесу, Чурла, — сказал Нели, подбегая и склоняясь над ним. — Ты не переживай!

Чурлану Цару повернулся на этот голос, уставился на Нели своими красными глазами, словно не узнавая сначала, кто это, потом повел рукой и ухватился за его кушак.

— Ты, красавчик? Это ты-то?

— Да, да, не унывай! Плачешь? Брось, Чурла, брось! Было б отчего!

Он приложил руку к его груди, сотрясавшейся от рыданий, которые застревали в горле, не в силах вырваться наружу. Ему уже нечем было дышать; он гневно дернул головой, потом вскинул руку, ухватил Нели за загривок и притянул к себе:

— В один день собирались мы с тобой свадьбы сыграть...

— И сыграем, не сомневайся, — сказал Нели, снимая руку, крепко державшую его за затылок.

Врач тем временем осматривал больного. Все ясно: это злокачественный карбункул¹.

— Скажите, не помните ли вы — может быть, вас укусило какое-нибудь насекомое?

¹ Имеется в виду сибирская язва.

— Н е т , — мотнул головой Цару.

— Насекомое? — удивился Саро.

Врач объяснил, как только можно было объяснить этим двум темным крестьянским парням, в чем состояла болезнь. Видно, где-то здесь неподалеку околело от карбункула какое-то животное. На падаль, сброшенную в овраг, бог знает сколько мошкары слетелось; ну и какая-нибудь могла потом залететь сюда, в конюшню, и заразить Цару.

Цару, пока врач говорил, отвернулся лицом к стене.

Никто не знал, а ведь смерть по-прежнему была в этой конюшне; такая маленькая, что даже зная о ней, и то вряд ли бы кто-нибудь ее заметил.

Там, на стене, сидела муха. И, казалось, не шевелилась; но, приглядевшись, можно было увидеть, как она то высовывала хоботок и двигала им, то быстро чистила свои передние, тоненькие лапки, потирая их друг о друга, словно была чем-то ужасно довольна.

Цару увидел ее и прирос к ней глазами.

Муха.

А ведь это могла быть она, а может, и любая другая. Поди разберись теперь! Он слушал, что рассказывал врач, ему казалось, что теперь он припоминает. Ну да, вчера, когда он лег здесь спать, ожидая, пока братья покончат с Лопесовым миндалем, к нему привязалась муха и прямо-таки допекла. Может, это она и была?

Он увидел, как она вдруг поднялась и полетела, и, обернувшись, стал следить за ней взглядом.

Вот она села на щеку Нели. По щеке, потихоньку-потихоньку, в два присеста, она перебежала до подбородка, а оттуда — до свежей ранки от бритвы и жадно в нее впиалась.

Позабыв обо всем на свете, Чурлану Цару какое-то время пристально за ней наблюдал. Потом, задыхавшись и хрипя — голос словно отдавался в пустой бочке, — спросил:

— А муха может быть?

— Муха? А почему бы и нет? — отвечал доктор.

Больше Чурлану Цару ничего не спрашивал: он снова стал следить за мухой, которую Нели, словно обалдев от того, что рассказывал врач, так и не прогонял. Ему, Цару, было уже все равно, что говорил врач, ему было важно, чтобы тот своими разговорами подольше продержал

внимание Нели, который стоял, словно каменное изваяние, и даже не чувствовал, что по лицу его ползает муха. Ах, была бы она та самая! Вот тогда бы уж точно сыграли бы они свадьбу в один день! Жгучая зависть, глухая дикая ревность охватили его при виде молодого, цветущего двоюродного брата, у которого впереди была вся жизнь, жизнь, обещавшая ему еще столько радостей, та жизнь, которую у него, Цару, взяли вдруг и отобрали.

Вдруг Нели, словно почувствовав наконец укус, взмахнул рукой и, согнав муху, стал почесываться как раз в том месте на подбородке, где у него был порез. Обернулся, посмотрел на Цару, сверлившего его взглядом, и ему стало не по себе, когда он увидел, как тот растянул в жуткой улыбке губы. Потом у Цару, словно против воли, вырвалось:

— Муха.

Нели не расслышал и, наклонив к нему ухо, переспросил:

— Что ты говоришь?

— Муха, — повторил тот.

— Какая муха? Где? — спросил в замешательстве Нели, вскинув взгляд на врача.

— Там, где у тебя чешется. Я точно знаю.

Нели показал врачу ранку на подбородке.

— Что тут у меня? Зудит что-то.

Врач взглянул, нахмурил брови, потом, словно желая рассмотреть повнимательнее, вывел его из конюшни. Саро вышел следом за ними.

Что было потом? Чурлану Цару ждал, ждал долго в тоске, которая переворачивала ему все нутро. Со двора до него доносился неясный говор. Вдруг Саро как шальной влетел в конюшню, отвязал мула и, даже не взглянув на него, выскочил с воплем:

— Нелуччо, родненький! Родненький мой!

Так, значит, все правда? И вот они уже убежали, бросали его, как собаку. Он попробовал привстать, опираясь на локоть, дважды позвал:

— Саро! Саро!

Молчание. Он не смог дольше держаться на локте, повалился и, чтобы не слышать пугающей его тишины полей, засопел; звук получался похожий на хрюканье. Потом в нем вдруг промелькнуло сомнение, а не приснилось ли ему все это, как дурной сон, в жару; но, повернувшись к стене, он снова увидел муху.

Вот она.

Она то высовывала хоботок и двигала им, то быстро чистила свои передние, тоненькие лапки, потирая их друг о друга, словно была ужасно довольна.

1904 (1923)

ПОДЖЕЧЬ СОЛОМУ

Поскольку приказывать было уже некому, у Симоне Лампо появилась с некоторых пор привычка отдавать распоряжения самому себе. И он строго повелевал:

— Симоне, сюда! Симоне, живо!

Вынуждал себя, несмотря на свое происхождение, делать самую неприятную работу. Порой притворялся, будто возмущается этим принуждением, но лишь для того, чтобы тут же снова заставить себя повиноваться, и таким образом изображал сразу двух персонажей этой комедии. Говорил, например, сердито:

— Не хочу это делать!

— Симоне, я поколочу тебя палкой. Я же сказал тебе: собери навоз! Ну?!

Бац!.. Он влеплял себе звонкую пощечину. И собирал навоз.

В тот день, осмотрев свое маленькое поле — все, что осталось от тех земель, которыми он владел когда-то (всего два гектара пашни, высоко в горах, брошенные без всякого присмотра), он приказал себе седлать маленькую ослицу, с которой вел обычно свои самые глубокомысленные разговоры.

Ослица поднимала то одно, то другое облезлое ухо, казалось, слушала его и была терпелива, несмотря на какое-то не совсем понятное неудобство, которое с некоторых пор причинял ей хозяин, — при ходьбе что-то ударило ее сзади прямо под хвост.

Это была ивовая корзинка без ручки, привязанная к чересседельнику и подвешенная под хвостом несчастного животного, чтобы собирать и сберегать теплые, еще с парком, шарики навоза, которые иначе ослица посеяла бы на дорогу.

Все потешались, глядя на эту старую ослицу с кор-

зинкой под хвостом — всегда наготове, а Симоне Лампо гордился своей выдумкой.

В деревне все знали, как широко он жил когда-то, как бросался деньгами. Теперь же ему пришлось отправиться на выучку к муравьям, которые и подсказали ему такую хитрость, чтобы не потерять и эту малость навоза, пригодного для удобрения земли. Так-то вот!

— Ну, Нина, давай-ка я подвешу тебе это шикарное украшение! До чего же мы дошли с тобой! Ты — ничто, и я — ничто. Только людей смешить и годимся. Да ты не огорчайся! Дома у нас еще есть сотня птичек. Чик-чирик, чик-чирик... Конечно, им вовсе неохота попасть на сквородку, но я съем их, и вся деревня посмеется. Да здравствует веселье!

Он имел в виду другую свою затею, которая вполне была под стать выдумке с корзинкой, висевшей под хвостом ослицы.

Несколько месяцев назад он притворился, будто верит, что сможет снова разбогатеть, если займется отловом птиц. И пять комнат своего деревенского дома он превратил в одну огромную клетку (которую все так и называли — клеткой сумасшедшего), а сам остался в двух комнатках наверху, обходясь тем жалким скарбом, что уцелел после разорения; распахнул в доме все двери, ставни, все маленькие и большие окна и навесил на проемы решетки, чтобы дать птицам побольше воздуха.

С утра до вечера, к немалой радости всей округи, над его домом стоял многоголосый, оглушительный и неумолчный птичий гомон: чирканье воробьев, свист дроздов, пение зябликов, всевозможнейшее стрекотанье, воркованье, щебетанье...

Вот уже несколько дней, однако, как Симоне Лампо, разуверившись в успехе этого предприятия, стал трижды в день питаться птичками и сломал там, в горах, устройство из сетей и прутьев, с помощью которого сотнями отлавливал этих птичек.

Оседлав ослицу, он верхом направился в сторону деревни.

Нина не прибавила бы шагу, даже если б хозяин ихлестал ее кнутом. Казалось, она медлила нарочно, чтобы он подольше наслаждался своими грустными мыслями, которые, как он уверял, рождались и по ее вине — из-за ее походки он непрестанно покачивал головой. Да, так-то вот... Он все кивал и кивал, глядя с высоты ее

крупна на опустевшие поля, которые, по мере того как угасали последние отблески заката, становились все мрачнее, и не мог не думать о своем горестном разорении.

Разорили его серные рудники.

Сколько гор выпотрошил он в погоне за призраком скрытого в них сокровища! Верил, что в каждой откроет новую Калифорнию. Калифорнии повсюду! Колодцы глубиной до двухсот, до трехсот метров, вентиляционные шахты, установки с паровым двигателем, трубы для откачки воды... Уйма, просто уйма других расходов ради какого-то тоненького слоя серы, который, как выяснилось в конце концов, и разрабатывать-то не было смысла. Ни печальный, многократно повторенный опыт, ни клятвы никогда больше не ввязываться ни в какие предприятия не могли удержать его от новых попыток, пока он почти совсем не обнищал. И жена бросила его, уехала к своему богатому брату, потому что их единственная дочь ушла с горя в монастырь.

Он остался совсем один — в доме не было даже заухудалой служанки; совсем один и к тому же весь во власти какого-то непрестанного волнения, которое и вынуждало его совершать все эти безумства.

Он это знал разумеется, понимал, что поступает безрассудно; но делал это нарочно, назло людям, которые прежде, когда он был богат, относились к нему с таким почтением, а теперь отворачивались и смеялись над ним. Все, все смеялись и избегали его; никто не захотел помочь ему, никто не сказал: «Что же это вы, приятель, делаете? Идите-ка сюда, ведь вы умеете работать, всю жизнь честно трудились, бросьте-ка сходить с ума, давайте лучше начнем вместе какое-нибудь хорошее дело». Никто не сказал ему этого.

Тревога и горькое страдание из-за того, что он оказался в таком беспомощном состоянии, в таком горьком и беспросветном одиночестве, росли и все больше приводили его в отчаяние.

Сильнее всего его мучила неопределенность. Ну да, потому что он не был больше ни бедным, ни богатым. К богатым он не мог теперь и близко подойти, а бедные не хотели признавать его своим из-за того, что у него дом в деревне и кусок земли в горах. А что проку в этом доме? Никакого проку. Еще и налог платить приходится. Ну, а земля... Все-то богатство — та малость пшеницы,

которую он пожнет на днях, и выручки за нее едва ли хватит, чтобы уплатить церковную подать. Ему же ничего и не останется. Что же он будет есть? Тех птичек несчастных... Еще одно наказание! Пока он ловил птиц, чтобы торговать ими на смех людям, куда ни шло, но теперь спускаться вниз, в эту огромную клетку, хватать их, убивать и есть...

— Ну-ка, Нина, живей! Заснула ты, что ли? Живей!

Будь проклят этот дом и эта земля, ведь из-за них он не может стать даже простым нищим на дороге, жалким и безумным, без всяких забот в голове, вроде тех бродяг, которых он немало знал и которым мучительно завидовал теперь в своем ожесточении.

Нина вдруг приостановилась и подняла уши.

— Эй, кто здесь? — крикнул Симоне Лампо.

Ему показалось в темноте, что на низкой ограде мостика у большой дороги кто-то лежит.

— Эй, кто здесь?

Человек чуть приподнял голову и издал нечто похожее на хрюканье.

— А, это ты, Надзаро? Что тут делаешь?

— Жду, когда выйдут звезды.

— Ешь их, что ли?

— Нет, считаю.

— А потом?

Надзаро надоели эти расспросы. Он приподнялся и сердито крикнул из своей густой, спутанной огромным клубком бороды:

— Дон Симо, уходите, не мешайте мне! Вы же знаете, что я в эту пору уже не работаю и не пошевелил пальцем ни за какие коврижки. К тому же с вами я не желаю разговаривать!

Он снова лег навзничь в ожидании, когда выйдут звезды.

Если он зарабатывал четыре сольдо, почистив кому-нибудь пару лошадей или сделав — лишь бы побыстрее — какую-нибудь работу у соседей, он становился властелином мира. Двух сольдо ему хватало на хлеб, двух других — на фрукты. Больше ему ничего не надо было. И если предлагали еще какую-нибудь работу, чтобы он получил, кроме этих четырех сольдо, одну или даже десять лир, он отказывался и высокомерно отвечал по своему обыкновению:

— Я уже не работаю.

И отправлялся бродить по полям или по берегу мн же уходил в горы. Его видели повсюду и чаще всего там, где, казалось, меньше всего можно было встретить, — он ходил босиком, заложив руки за спину, тихий, молчаливый, а глаза у него были светлые и вдохновенные.

— Так вы уйдете наконец или нет? — крикнул он, снова садясь на ограду. Он еще сильнее рассердился, видя, что дон Симоне стоит со своей ослицей и рассматривает его.

— Даже ты гонишь меня? — вздохнул Симоне Лампо, качая головой. — А ведь мы с тобой могли бы составить неплохую пару.

— Черт вам пара, а не я! — проворчал Надзаро, снова ложась. — Вы же грех на душу взяли, я уже говорил вам это!

— Из-за этих птичек?

— А душа ваша, а сердце... Неужели не болит оно у вас? Из-за всех этих несчастных божьих созданий, которых вы съели! Уходите! Вы — грешник!

— Пошла! — дернул Симоне Лампо ослицу.

Проехав немного, он остановился:

— Надзаро! — обернулся он.

Бродяга не ответил.

— Надзаро! — снова окликнул Симоне Лампо. — Хочешь, пойдем со мной и выпустим птиц?

Надзаро тут же сел.

— В самом деле?

— Ну да.

— Хотите спасти душу? Этого мало. Тогда надо еще поджечь солому!

— Какую солому?

— Всю солому! — сказал Надзаро, быстрой и легкой тенью приближаясь к нему.

Он положил руку на шею ослицы, а другой коснулся ноги Симоне Лампо и, глядя ему в глаза, спросил еще раз:

— В самом деле хотите спасти душу?

Симоне Лампо улыбнулся и ответил:

— Да.

— В самом деле? Поклянитесь! Имейте в виду, я знаю, что вам нужно для этого. Я изучаю ночь и знаю, что нужно не только вам, но и всем ворам, всем мошенникам, кто живет там, внизу, в нашей деревне, знаю, что бог должен был бы сделать для их спасения и что он ра-

но или поздно сделает — уж поверьте мне! Так вы действительно хотите выпустить птиц?

— Ну да, я же сказал тебе.

— И поджечь солому?

— И поджечь солому.

— Вот и хорошо. Ловлю вас на слове. Идите вперед и ждите меня. Мне еще надо досчитать до ста.

— Хорошо, я подожду тебя, — улыбаясь, ответил Симоне Лампо и двинулся дальше.

Внизу на берегу моря уже виднелась россыпь слабых огней селения. Отсюда, с этой дороги, что тянулась по каменистому плоскогорью высоко над деревней, открывалась в ночи таинственная громада моря, и горстка огней внизу казалась поэтому еще более жалкой.

Симоне Лампо тяжело вздохнул и нахмурился. Так он всякий раз приветствовал издали появление этих огней.

Для людей, что жили там, внизу, забытых, пришибленных, они, конечно, были совершенно сумасшедшие — он и Надзаро. Ну и ладно, а теперь они сдружатся, пусть в деревне посмеются еще больше! Надо освободить птиц и поджечь солому! Ему нравилось это выражение Надзаро, и, добираясь до дому, он повторил его несколько раз со все большим удовольствием:

— Поджечь солому!

Внизу, во всех пяти комнатах, птички в этот момент спали. Выходит, это их последняя ночь тут. А завтра — кыш! И они свободны. И полетят высоко-высоко! Во все стороны разлетятся, вернуться в поля, счастливые и свободные. Да, это было, конечно, очень жестоко с его стороны, Надзаро прав. Смертный грех! Лучше есть один только хлеб и ничего больше.

Симоне Лампо привязал ослицу в хлеву и, взяв небольшой масляный светильник, пошел наверх ждать Надзаро, который должен был, как он сказал, насчитать еще сто звезд. Сумасшедший! Зачем? А может, он так молится...

Ждал Симоне Лампо, ждал. Уж и спать захотел. Какие там сто звезд! Три часа прошло, должно быть, если не больше. Половину небосвода можно пересчитать за это время... Ну ладно! Наверное, он пошутил, что придет. Не стоит ждать больше. И он хотел уже улечься

спать, прямо в одежде, как был, но вдруг услышал громкий стук в дверь.

Вот и Надзаро — запыхавшийся, весь сияющий, возбужденный.

— Ты что, бегом бежал всю дорогу?

— Ага. Все в порядке.

— Что в порядке?

— Все. Завтра поговорим об этом, дон Симо! Я смертельно устал.

Он тяжело опустился в кресло и начал обеими руками растирать себе ноги, и глаза его — острые глаза дикаря — светились каким-то странным веселым блеском, а в огромной густой бороде пряталась еле заметная улыбка.

— А птицы? — спросил он.

— Внизу. Спят.

— Ну ладно. А вы не хотите спать?

— Хочу. Так долго ждал тебя...

— Раньше не мог. Ложитесь. Я тоже хочу спать и устроюсь здесь, в кресле. Мне хорошо, не беспокоитесь! Не забывайте, что у вас еще грех на душе! Завтра искупим его.

Симоне Лампо разглядывал его с кровати, приподнявшись на локте, очень довольный. До чего же нравился ему этот сумасшедший! Сонливость прошла, и ему хотелось поговорить с ним еще.

— Послушай, Надзаро, зачем ты считаешь звезды?

— Мне нравится их считать. Спите!

— Подожди. Скажи мне, ты доволен?

— Чем? — спросил Надзаро, поднимая голову, которую опустил было на руки, лежащие на столе.

— Всем, — ответил Симоне Л а м п о . — Такой жизнью.

— Доволен? У каждого свои горести, дон Симо! Да вы не волнуйтесь. Это пройдет. Давайте спать.

И снова опустил голову на руки.

Симоне Лампо потянулся было, чтобы погасить свечу, и вдруг замер. Его испугала мысль, что придется остаться в темноте наедине с этим сумасшедшим.

— Послушай, Надзаро, ты бы хотел всегда жить со мной?

— Всегда — не то слово. Пока вы этого хотите. Почему же нет?

— И ты будешь любить меня?

— Отчего же. Но — вы не хозяин, а я не слуга. Просто вместе. Я уже давно приглядываюсь к вам, понимаю? Знаю, что разговариваете со своей ослицей и с самим собой. И я понял: рябина зреет... Но я не хотел говорить с вами, потому что вы собирали в доме птиц. Теперь же, когда вы сказали, что хотите спасти душу, я буду с вами, пока пожелаете. Между тем я поймал вас на слове, и первый шаг сделан. Спокойной ночи.

— А молиться разве не будешь? Столько говоришь о боге!

— Я уже молился. На небе мои молитвы. На каждую звезду по молитве.

— Ах вот почему ты их считаешь!

— Ну да. Спокойной ночи.

Успокоенный этими словами, Симоне Лампо погасил свечу. И вскоре оба они уже спали.

На рассвете первое же чириканье разбудило бродягу, устроившегося спать на полу. Симоне Лампо, привыкший к птичьему щебету, громко храпел.

Надзаро принялся будить его.

— Дон Симо, птицы ждут нас.

— А, уже? — воскликнул он, внезапно просыпаясь и удивленно тараща глаза на приятеля.

Сначала он ничего не мог припомнить. Потом позвал Надзаро в другую комнату, поднял дверцу в полу, и по крутой деревянной лестнице они спустились вниз, где все насквозь провоняло птичьим пометом и затхлостью.

Испуганные птицы заверещали все разом и, громко хлопая крыльями, взлетели к потолку.

— Как же их много! Как много! — жалостно воскликнул Надзаро, и слезы выступили у него на глазах. — Несчастные создания!

— А было еще больше! — ответил Симоне Лампо, качая головой.

— Да вас повесить мало, дон Симо! — закричал на него Надзаро, погрозив ему кулаком. — Не знаю, хватит ли для искупления греха того, что я уже заставил вас сделать! Ну пошли. Сначала надо согнать их в одну комнату.

— Да нет, не надо. Смотри! — Симоне Лампо взял связку бечевки, которые благодаря какому-то сложнейшему устройству держали решетки на оконных рамах.

Он потянул бечевки вниз, повис на них, и решетки с дьявольским шумом все разом рухнули вниз.

— А теперь прогоним их! Прогоним! На свободу! На свободу! Кыш! Кыш! Кыш!

Птицы, столько месяцев сидевшие взаперти, перепугались, подняли жуткий переполох, стали метаться, трепеща крыльями, и не решались вылететь на улицу. Только когда с радостным и в то же время с отчаянно испуганным криком стрелой умчалось несколько самых от важных, вслед за ними в страшной сумятице вылетели все остальные и тут же, словно для того чтобы прийти в себя от внезапного волнения, расселись по крышам, трубам, подоконникам и балконным решеткам соседних домов, вызывая внизу, на улице, громкие возгласы удивления. А Надзаро, плачущий от возбуждения, и Симоне Лампо все еще кричали в пустых уже комнатах:

— Кыш! Кыш! На свободу! На свободу!

Затем они вышли полюбоваться на это зрелище: вся улица была заполнена птицами, которые с рассветом обрели свободу. Но вот стали открываться окна; мальчишки или женщины, смеясь, пытались поймать какую-нибудь птичку; и тогда Надзаро, взбешенный, вскинул руки и заорал, как одержимый:

— Оставьте их! Не трогайте! Негодяй! Воровка! Пустите их!

Симоне Лампо пытался успокоить его:

— Да будет тебе! Не бойся, второй раз их уже не поймать...

Они вернулись наверх, возбужденные и довольные. Симоне Лампо подошел к плите, намереваясь развести огонь и сварить кофе, но Надзаро сердито дернул его за руку:

— Какой кофе, дон Симо! Огонь уже разведен. Я сделал это сегодня ночью. Пойдем скорее, посмотрим еще один полет — там!

— Еще один полет? — спросил Симоне Лампо, недоумевая. — Какой полет?

— Один здесь, другой там! — ответил Надзаро. — Искушение греха за всех птиц, которых вы съели. Разве я не говорил вам: надо поджечь солому. Пойдемте сидеть ослицу — и увидите.

Догадка молнией ослепила Симоне Лампо. Он боялся поверить в нее. Он схватил Надзаро за руки и, тряся его, закричал:

— Что ты сделал?

— Сжег пшеницу на вашем поле, — спокойно ответил Надзаро.

— Ты? Пшеницу? Убийца! Врешь?! Сжег мою пшеницу?

Надзаро оттолкнул его гневным жестом.

— Дон Симо, что это еще вы придумали? Не станете же вы отказываться от своих слов? Надо поджечь солому, сказали вы. И я поджег пшеницу, ради спасения вашей души!

— Да я сейчас же отправлю тебя на галеры! — завопил Симоне Лампо.

Надзаро громко рассмеялся и сказал просто и ясно:

— Вы сумасшедший! А душа? Так-то вы хотите спасти душу? Нет, дон Симо! Так дело не пойдет.

— Ты погубил меня, убийца! — закричал Симоне Лампо, но уже другим голосом, чуть не плача. — Разве мог я догадаться, что ты имел в виду, когда говорил о соломе? Сжечь пшеницу! А что я теперь буду делать? Как заплачу церковную подать? Подать эту за землю я обязан платить или нет?

Надзаро посмотрел на него с презрительным снисхождением.

— Дитя! Продайте дом, он ведь вам ни к чему, и тогда не нужно будет платить церковную подать за землю. Это так просто...

— Да, — простонал Симоне Лампо. — А что я теперь буду есть, когда нет ни птиц, ни пшеницы?

— Об этом позабочусь я, — спокойно и серьезно ответил Надзаро. — Ведь я же теперь буду с вами. У нас есть ослица; у нас есть земля; обработаем ее и будем сыты. Мужайтесь, дон Симо!

Симоне Лампо с изумлением взглянул на него и невольно залюбовался спокойной уверенностью этого сумасшедшего, что стоял перед ним, — рука замерла в гневном и в то же время беспечном жесте, а в светлых глазах и в густой, спутанной огромным клубком бороде прятался умный и беззаботный смех.

1905 (1922)

КАТАРСКАЯ ЕРЕСЬ

Бернардино Ламис, ординарный профессор по истории религий, прищурил скорбные глаза и, как всегда в самых важных случаях, обхватил голую, будто череп, голову худыми дрожащими руками, которые, казалось, оканчивались не ногтями, а пятью светящимися розоватыми раковинками, и объявил двум единственным своим слушателям, с упорной преданностью посещавшим его занятия:

— На следующей лекции, господа, мы остановимся на катарской ереси.

Один из студентов, по имени Чотта — темноволосый паренек из селения Гуарчино в Кампанье, коренастый и плотный, — оскалил зубы, выражая бурную радость, и энергично потер руки. Второй, Ванниколи, бледный, болезненного вида блондин, с волосами, взъерошенными, как жнивье, напротив, поджал губы, поднял темные, светлые глаза, которые смотрели еще печальнее, чем обычно; при этом нос его, казалось, приплюснулся к какому-то неприятному запаху, — все это означало, что он вполне понимает, какого усилия стоит высокоцитимому профессору обращение к этой теме после того, что он высказал ему в личной беседе. (Ибо Ванниколи считал, что когда он и Чотта после окончания лекции провожали профессора Ламиса значительную часть пути по дороге к дому, тот обращался исключительно к нему, как к единственно способному его понять.)

И в самом деле, Ванниколи знал, что месяцев шесть тому назад в Германии (в Галле на Заале) вышла огромная монография Ганса фон Гроблера «Катарская ересь», которую критика превозносила до небес, и что за три года до того Бернардино Ламис написал на ту же тему два внушительных тома, которые фон Гроблер оставил без внимания, за исключением одного только случая, когда он мимоходом упомянул о них в кратком примечании, и то, чтобы дурно отозваться о них.

Бернардино Ламису это нанесло удар в самое сердце; и еще больше огорчили и возмутили его итальянские критики, которые, вслепую расхваливая немецкую книгу вслед за другими, даже и не вспоминали о его ранее напечатанных двух томах и ни словом не обмолвились по поводу недостойного обращения немецкого писателя с их

соотечественником. Более двух месяцев он ждал, не встанет ли кто на его защиту, хотя бы из его бывших учеников; потом, несмотря на то что по своим убеждениям он считал это недостойным, он стал защищать себя сам, вскрыв в длинном и кропотливом обзоре, приправленном тонкой иронией, все более или менее грубые ошибки, в которые впал фон Гроблер, все те места из его собственной работы, которые тот присвоил себе без всяких ссылок, и наконец при помощи новых и неоспоримых доводов еще сильнее подкрепил свою точку зрения, опровергая утверждения немецкого историка.

Однако эта полемическая статья, то ли из-за своей обширности, то ли из-за того, что у большинства читателей она не вызвала бы никакого интереса, была отвергнута двумя журналами; третий держал ее уже больше месяца и бог весть сколько продержит еще, судя по отнюдь не любезному письму, которое Ламис получил от редактора в ответ на свое очередное напоминание. Так что Бернардино Ламис, выходя в этот день из университета, имел все основания жаловаться своим верным ученикам, по обыкновению провожавшим его домой. Он говорил им о бесстыдном шарлатанстве, которое из области политики перекинулось сначала в литературу, а теперь, к сожалению, стало бесчинствовать даже в священных и неприкосновенных владениях науки; говорил о подлом низкопоклонстве, глубоко коренящемся в натуре итальянского народа, которому все, что приходит из-за Альп или из-за океана, кажется бесценным, а то, что создается нами самими, — грубой подделкой; наконец, он намекал на то, что располагает еще более сильными аргументами, которые собирался обрушить на своего противника в следующей лекции. А Чотта, заранее предвкушая удовольствие от вдохновенного и едкого остроумия профессора, снова потирал руки, тогда как Ванниколи огорченно вздыхал.

Но наступил момент, когда профессор Ламис умолк, и лицо его приняло отсутствующее выражение; для обоих учеников это послужило знаком, что профессор хочет остаться один.

Каждый раз после лекции он совершал прогулку для разминки, начиная с площади Пантеона, потом через площадь Минервы, пересекал Виа деи Честари и выходил на Корсо Витторио Эмануэле. Когда он приближался к площади Сан-Панталео, у него появлялся

этот рассеянный взгляд, ибо, прежде чем ступить на Виа дель Говерно Веккио, где он жил, он имел обыкновение зайти в кондитерскую (явно стараясь быть незамеченным), откуда вскоре появлялся с кульком в руках.

Оба студента знали, что профессору Ламису некого баловать, и поэтому ломали себе голову, что это за таинственные кульки, за которыми он ходит три раза в неделю.

Наконец Чотта, раздираемый любопытством, вошел в кондитерскую и спросил, что покупает профессор.

— Миндальное печенье, меренги и нугу.

Для кого?

Ванниколи говорил — для внуков. Но Чотта готов был дать голову на отсечение, что они предназначаются для самого профессора; потому что однажды он встретил его на улице в тот момент, когда тот вытаскивал из кармана одну из таких меренг, а другая, по-видимому, уже была у него во рту и помешала ему ответить на его, Чотты, приветствие.

— Ну, а если и так, что в этом дурного? Маленькая слабость! — нетерпеливо отвечал ему Ванниколи, издали провожая томным взглядом старого профессора, который удалялся тихими, вялыми шажками, шаркая башмаками по тротуару.

Не только это пустячное чревоугодие, но и многое, многое другое можно было простить этому человеку, который, служа науке, до того весь иссох и съезжился, что казалось, его ссутулившиеся плечи вот-вот упадут, отделившись от него, если бы их не удерживала длинная шея, вытянутая, как будто под ярмом. Сзади, под шляпой, открывалась в виде полумесяца лысина профессора Ламиса; на затылке у него дрожали редкие и длинные серебристые пряди, которые кое-где прикрывали ему уши, а спереди, на щеках и под подбородком, переходили в бороду, обрамлявшую его лицо.

Ни Чотте, ни Ванниколи и не снилось, что в этом кулке Бернардино Ламис носит домой все свое дневное пропитание. Два года тому назад на его голову свалилась семья его брата из Неаполя, скоростижно скончавшегося там: невестка, настоящая ведьма, с семью детьми, из которых старшему едва исполнилось одиннадцать лет. Заметим, что сам профессор Ламис не женился, чтобы ничто не отвлекало его от научных занятий, так что когда он, никак не предупрежденный,

оказался вдруг перед орущим полчищем, которое расположилось у его дверей на лестничной площадке верхом на бесчисленных узлах и узелках, он побледнел как мертвец. Поскольку путь на лестницу был отрезан, он чуть не поддался искушению сбежать, выпрыгнув из окна. Четыре комнатки его скромного жилища были тут же оккупированы; когда семеро безутешных сироток, как их называла толстая неаполитанская невестка, обнаружили садик, единственную отраду дяди, поднялось неистовое ликование. Спустя месяц в этом садике уже не было ни травинки. Профессор Ламис превратился в собственную тень: он блуждал по кабинету, как человек, лишившийся рассудка, сжимая голову руками, словно опасаясь, что ее буквально оторвут эти крики, эти вопли, этот ад крошечный, который неистовствовал с утра до вечера. И эта пытка длилась для него целый год, и бог весть сколько времени она бы еще продолжалась, если бы он однажды не увидел, как невестка, не довольствуясь его месячным окладом, который он регулярно двадцать седьмого числа полностью вручал ей, помогала старшему сыну карабкаться из садика в окно кабинета, из предосторожности запертого на ключ, и учила его воровать книги:

— Которые потолще, Дженнаро, потолще и поновее!

Половина его библиотеки перекочевала за жалкие гроши на прилавки уличных букинистов. Возмущенный, вне себя от ярости, Бернардино Ламис, забрав шесть корзин с уцелевшими книгами и три простые книжные полки, большое распытие из папье-маше, баул с бельем, три стула, глубокое кожаное кресло, высокую конторку и умывальник, в тот же день переехал в две комнатки на Виа дель Говерно Веккио, запретив невестке когда-либо показываться ему на глаза.

Теперь он через университетского служителя каждый месяц передавал ей свой оклад, оставляя себе только самое необходимое.

Он не захотел нанимать приходящую прислугу, опасаясь, что она станет общаться с его невесткой. Впрочем, в прислуге он и не нуждался. Он даже кровати с собой не взял: спал в кресле, накрыв плечи шарфом и закутавшись в шерстяное одеяло. Ничего не готовил. По-своему следуя теории Флетчера, ел мало, зато долго жевал. Высыпал содержимое пресловутого свертка в карманы брюк, половину в один, половину в другой, и пока читал или писал, как всегда стоя, жевал или печенье, или ме-

ренгу, или нугу. Если хотелось пить, он пил воду. После того ада, в котором он прожил целый год, он чувствовал себя, как в раю.

Но появился фон Гроблер с этим своим опусом и все испортил.

В этот день, едва вернувшись домой, Бернардино Ламис лихорадочно принялся за работу.

В его распоряжении было два дня, чтобы закончить лекцию, которой он придавал такое значение. Он хотел, чтобы она была потрясающей. Каждое слово должно было разить как стрела этого немчуру фон Гроблера.

Свои лекции он привык записывать от первого слова до последнего на линованной бумаге очень мелким почерком. Потом он читал их в университете, медленно и степенно, откинув голову назад, нахмутив лоб и прищутив веки, чтобы разглядеть текст сквозь очки, сидевшие на кончике носа; из ноздрей торчали два пучка свободно растущих колючих серых волосков. Оба верных ученика успевали записывать, как под диктовку. Ламис никогда не поднимался на кафедру; он скромно сидел за столиком, который стоял перед ней. Скамейки в аудитории располагались амфитеатром в четыре ряда. В аудитории было темно, и Чотта и Ванниколи садились в последний ряд, на противоположные концы его, чтобы на них падал свет из двух круглых решетчатых окошек под потолком. Профессор их не видел во время лекции; он только слышал поскрипывание их торопливых перьев.

Там, там, в этой аудитории — поскольку никто не поднялся на его защиту, а свободная пресса отказывалась предоставить ему хотя бы маленькое местечко, чтобы самому постоять за себя, и это после тридцати лет преподавания в университете и бесчисленных строго научных публикаций, — там, в этой аудитории, он оплатит этому немчуру за его наглость, прочитав знаменательную лекцию.

Прежде всего он в сжатой и ясной форме сообщит о возникновении, причинах, сущности, историческом значении и последствиях катарской ереси, резюмируя свои два тома; потом перейдет к полемической части, используя сделанный им раньше критический обзор книги фон Гроблера. Материал был ему досконально знаком, рабо-

та уже готова, под рукой, так что ему предстояла только одна трудность: держать свое перо в узде. В пылу желчного вдохновения он сочинил бы за эти два дня еще два тома, внушительнее первых. А ему между тем надо рассчитывать на час с небольшим медленного чтения, то есть можно заполнить своим мелким почерком не больше пяти-шести страниц линованной бумаги. Две он уже исписал. Оставшиеся три-четыре страницы предназначались для полемической части.

Прежде чем приступить к работе, он решил перечитать черновики своего критического обзора книги фон Гроблера. Он вынул их из ящика конторки, сдул с них пыль и, оседлав кончик носа очками, расположился в кресле, вытянув ноги.

Но мало-помалу чтение его так захватило, что он перестал замечать, как кладет себе в рот одно печенье за другим, забыв про медленное прожевывание, рекомендуемое Флетчером. Его запаса должно было хватить на два дня, а он уничтожил половину меньше чем за час. Раздосадованный, он вывернул пустой карман, чтобы вытряхнуть из него крошки. Потом сразу же принялся писать, чтобы сделать резюме своего критического обзора по основным пунктам. Но по мере того как он писал, он постепенно поддавался искушению включить в лекцию все подряд, целиком, так как ему казалось, что там нет ничего лишнего, каждая точка, каждая запятая на месте. В самом деле, как отказаться от некоторых выражений, полных такого живого и меткого юмора, от некоторых аргументов, столь неоспоримых и решающих? И все новые и новые приходили ему в голову, пока он писал, еще ярче, еще убедительнее, и от них тоже невозможно было отказаться.

Когда настало утро третьего дня, в который ему предстояло читать лекцию, перед Бернардо Ламисом, на конторке, вместо шести лежало целых пятнадцать страниц, исписанных мельчайшим почерком.

Он растерялся.

Педантичный до крайности в своей работе, он в начале учебного года составлял план изложения материала, который ему предстояло осветить в процессе занятий, и строго этого плана придерживался. Из-за злополучной книги фон Гроблера он уже пошел на уступку своему уязвленному самолюбию, решив в этом году читать о катарской ереси без всякого видимого повода. Поэтому на нее нельзя было тратить больше одной лекции. Он

ни за что не хотел вызывать нарекания по поводу того, что он, профессор Ламис, поддавшись раздражению, ни с того ни с сего, да еще с излишними подробностями, прочитал лекцию на тему, не имеющую даже самого отдаленного отношения к годовому учебному плану.

Поэтому совершенно необходимо было за несколько остающихся часов сократить написанные им пятнадцать страниц до восьми, максимум до девяти.

Это сокращение стоило ему такого напряженного умственного усилия, что он даже не обратил внимания на град, молнии, раскаты грома, вызванные сильнейшей грозой, внезапно обрушившейся на Рим. Когда он спустился к выходу из дома, с длинным бумажным свертком под мышкой, дождь лил как из ведра. Как быть? До начала лекции оставалось не больше десяти минут. Он снова поднялся по лестнице, вооружился зонтом и тронулся под дождем, кое-как прикрывая сверток со своей «потрясающей» лекцией.

Он пришел в университет в плачевном состоянии, промокший с головы до пят. Оставил зонтик в швейцарской, потопал ногами, чтобы отряхнуть воду, обтер лицо и поднялся на крытую галерею.

Аудитория, темная даже в ясные дни, была похожа на катакомбу, в ней почти ничего не было видно. И тем не менее профессору Ламису, который никогда не поднимал головы, удалось мимоходом заметить непривычное скопление слушателей, что доставило ему немалую радость, и он в душе похвалил двух своих верных учеников, которые, очевидно, распространили среди товарищей слух о том, что старый профессор прочтет совершенно особенную, тщательно подготовленную лекцию, которая стоила ему много труда и забот и в которую ценой огромных усилий он вложил бесценные сокровища знаний и так много скрытого, едкого остроумия.

Он положил шляпу и, сильно волнуясь, против обыкновения поднялся на кафедру. Его тонкие руки так дрожали, что он с большим трудом нацепил очки на кончик носа. В аудитории царил полное молчание. И профессор Ламис, развернув сверток, принялся читать высоким дрожащим голосом, который удивил его самого. До каких же нот может подняться его голос, когда, закончив вступительную часть, для которой этот тон совсем не подходит, он ринется в полемику? Но профессор Ламис

уже не владел собой. В него как будто впивались острые жала его собственного красноречия, он чувствовал, как сильная дрожь волнами пробегает у него по спине, и все повышал и повышал голос, энергично жестикулируя. Профессор Ламис, всегда такой сухой, такой сдержанный, в тот день размахивал руками! Слишком много желчи скопилось за шесть месяцев, слишком большое возмущение вызывали в нем подхалимство и молчание итальянской критики, и вот наконец настал час расплаты! Все эти славные юноши, которые благоговейно слушают его, долго будут говорить о его лекции, они расскажут всем, что в этот день он поднялся на кафедру, для того чтобы из римского Атенея торжественно прозвучала его презрительная отповедь не одному только фон Гроблеру, но и всей Германии в целом. Так говорил он уже почти три четверти часа, горячась и волнуясь все сильнее и сильнее, когда студент Чотта, который по пути в университет попал под сильнейший ливень и укрылся в подворотне, с некоторой опаской появился у входа в аудиторию. Он знал, что опаздывает, но надеялся, что профессор Ламис не придет читать лекцию в такую отвратительную погоду. В швейцарской его ждала записка от Ванниколи с просьбой извиниться за него перед горячо любимым профессором, потому что накануне, выходя из дома, он оступился, упал с лестницы и вывихнул руку и поэтому, к величайшему своему огорчению, не сможет присутствовать на лекции.

К кому же с таким жаром обращался профессор Бернардино Ламис?

Тихонько, на цыпочках Чотта переступил порог аудитории и огляделся. Скучный наружный свет слегка слепил ему глаза; он тоже смутно различал в аудитории многочисленных студентов и был потрясен. Возможно ли? Он присмотрелся внимательнее.

Штук двадцать непромокаемых плащей, разложенных здесь и там для просушки в темной пустынной аудитории, были в тот день единственными слушателями профессора Бернардино Ламиса.

Ошеломленный Чотта посмотрел на них и, почувствовав, как в нем холодеет кровь при виде профессора, с таким рвением читающего лекцию этим плащам, удалился почти со страхом.

Но наступил перерыв, и из соседней аудитории с шумом хлынула гурьба студентов-юристов, которым, очевидно, и принадлежали эти плащи.

И тут Чотта, который еще не успел оправиться от потрясения, широко разведя руки в стороны, загородил вход в аудиторию.

— Ради бога не входите! Там профессор Ламис.

— А что он там делает? — спросили те, с удивлением вглядываясь в его искаженное лицо.

Он приложил палец к губам, потом прошептал, вытирашив глаза:

— Разговаривает сам с собой!

Раздался оглушительный, неудержимый хохот.

Чотта поспешно прикрыл дверь в аудиторию и стал снова умолять:

— Тише, ради бога, тише! Не надо обижать бедного старика! Он говорит о катарской ереси!

Но студенты, обещая не шуметь, заставили его тихонько приоткрыть дверь, чтобы с порога насладиться зрелищем этих несчастных мокрых плащей, которые чернели в полумраке, неподвижно слушая потрясающую лекцию профессора Бернардино Ламиса.

— ...но манихейство, господа, манихейство, в сущности, что это такое? Подумайте-ка! Ведь если первые альбигойцы, по словам нашего знаменитого немецкого историка, господина Ганса фон Гроблера...

1905 (1923)

НУ ХОРОШО

1. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

(по 5 марта 1904 года включительно)

В Сорренто от Корвара Франческо Аурелио и Флориды Амидеи рождается в ночь с 12 на 13 февраля 1861 года Козмо Антонио Корвара Амидеи, и принимают его, уже сразу, как только он появляется на свет, крайне недружелюбно: шлепком по попе; подхваченный повивальной бабкой за ножки, он несколько минут висит вниз головой, поскольку, чуть не задохнувшись еще в утробе матери из-за слабо протекавших у нее схваток, он вступил в жизнь, не издав ни звука.

Вот и получай, пока не закричишь.

Появляясь на свет, следует кричать.

С 13 февраля 1861 года по 15 марта 1862 года при нем успевают смениться пять кормилиц. Первую кормилицу, а также и вторую, прогоняют потому, что как у одной, так и у другой почти совсем нет молока. Третью потому, что как-то раз утром, собравшись его купать, она забывает разбавить воду и опускает его в почти что крутой кипяток. Ожог второй степени. Он готов отдать богу душу; но Бог всемилостивый не желает; вместо него Он призывает к себе мамашу. Четвертая кормилица трижды — ни разом больше, ни разом меньше — роняет его с кровати; а со временем, но, правда, только раз, он кубарем слетает у нее с лестницы, с нею же заодно. Увечья незначительные: из самых серьезных — перебитый нос.

В девять лет, переболев всеми болезнями, по которым, как по ступенькам, начиная с нежных младенческих лет, ребенок — с помощью врача, с одной стороны, и аптекаря — с другой, — добирается до возраста резвого, непоседливого, — в девять лет Козмо Антонио Корвара Амидеи, преисполненный пылом религиозного рвения, поступает в духовную семинарию.

Накануне поступления он, следуя букве одной из семи основных заповедей милосердия, снял с себя чудный новый костюмчик, который папа привез ему из Неаполя, и надел его на нищего мальчика с пляжа, отродясь не ходившего в одежде, сам же вернулся домой в одной бескозырке. В награду за это папа назвал его такими чудными словами — дураком, ослом, слабоумным, и с таким жаром обласкал его уши, что просто чудо, как они только остались целы.

В семинарии Козмо Антонио Корвара Амидеи с величайшим усердием овладевает науками и с особой ревностью занимается «уставом», то есть тем, как надо править церковные службы; рвение его столь велико, что — и это в шестнадцать-то лет! — у него грозит открыться чахотка. Но тут вдруг, уже после того, однако, как он принял первоначальное посвящение, случается ему натолкнуться на следующую мысль в трактате «De Gratia»¹.

*«Si quis dixerit gratiam perseverantiae non esse gratis datam, anathema sit»*².

¹ О Милости Господней (лат.).

² Если кто скажет, что терпение — не милость, дарованная богом, тот анафема проклят (лат.).

Понеже, согласно христианской католической теологии, терпение — на случай, если кто захочет узнать, что сие значит, — есть милость, которую Господь дарует тому, кого хочет спасти, невзирая, заслуживает того или нет его избранник.

«*Deus libere movet*»¹, — говорит Святой Фома.

Козмо Антонио Корвара Амидеи обстоятельно, в течение нескольких недель, размышляет над этим, и в результате как-то раз ночью его накрывают на том, что он, в одной рубашке, со свечой в руке, с пылающим лицом, вытаращив сверкающие лихорадочным блеском глаза, бродит по спальне и ищет ключ.

Какой ключ?

Ключ к терпению.

Ум у него зашел за разум. К счастью, он тогда же болеет менингитом. Выходит из семинарии. Месяц находится между жизнью и смертью.

Когда же наконец дела его идут на поправку, то, как выясняется, — он утратил веру; похоже, кстати, что вместе с ней он утратил и много чего другого: волосы, например, дар речи, зрение — правда, не до конца; он решительно ничего не помнит и почти год «щит как пришибленный, словно его обухом хватили по голове. Выводят его из этого состояния струи ледяной воды, почище трубного гласа затарабанившие по его спине; и вот, в двадцать два года с небольшим, он уже в состоянии держать экзамен за лицейский курс и получить диплом, а затем, облысевший, полуслепой, с приплюснутым от падения в детстве носом, он уезжает в Неаполь, в университет, с намерением закончить курс наук и получить диплом и звание доктора философии и филологии.

В октябре 1887 года, выдержав конкурс, он занимает место штатного смотрителя начальной гимназии города Сассари. Мальчишки, как известно, народ бедовый. Профессор же уродлив и к тому же подслеповат; и тут начинается веселая жизнь; в результате — бесконечные нарекания от директора гимназии нижестоящему по должности за то, что тот не умеет поддерживать дисциплину. Но и на улицах Сассари учителю Козмо Антонио Корвара Амидеи нет прохода от ребятни до тех пор, правда, пока за него наконец не вступается один его коллега, Дольфо Дольфи, преподаватель естествознания; он

¹ Господь волен поступать по своему усмотрению (*лат.*)

берется покровительствовать ему и в школе, и на улице; он даже на большее идет: предлагает своему подопечно-му поселиться вместе (ноябрь 1888 г.).

Учительствовать Дольфо Дольфи начал поздно, не имея при этом ученых званий, не участвуя даже в конкурсе, а благодаря лишь протекции одного весьма влиятельного депутата; до этого он был исследователем Африки, потом долгое время был журналистом в Генуе: раз десять дрался на дуэлях, был бит и сам бил, больше бил, нежели был бит; он человек свободных взглядов, и при нем живет его внебрачная дочь, для которой он придумал роскошное имя: Сатанина.

Имея такого покровителя, Козмо Антонио Корвара Амидеи, казалось бы, может наконец свободно вздохнуть, но как бы не так: покровитель не дает ему ни минуты передышки — он все рассказывает о своих путешествиях, о своих журналистских кампаниях, о своих поединках; не переставая делиться своими нескончаемыми, невероятными подвигами и похождениями да еще ко всему прочему требует обсуждать с ним разные философские и религиозные вопросы и т. д., и т. д. Словом, непролазное, надутое спесью невежество, скотство, выпятившее колесом грудь. (NB: лицо Дольфо Дольфи от рождения сплошь усыпано пупырышками, и в разговоре он, не переставая, ковыряет их; ноги его при этом широко расставлены.) Козмо Антонио Корвара Амидеи становится как-то все меньше и меньше, чем больше тот врет, и соглашается с ним, соглашается, ни слова не говоря против. Еще бы ему противоречить! Ведь как-никак, а он теперь под надежной защитой, верно? Гимназисты и уличные мальчишки, зная, что будут иметь дело с Дольфи, боятся теперь его задевать; но столь же верно и то, что он больше не хозяин ни самому себе, ни своему времени, ни своему жалкому учительскому жалованию, которое он зарабатывает в начальной гимназии. Когда ему позарез бывает нужна мелочишка, он должен идти и выпрашивать у Сатанины, и девочка, которой уже пятнадцать и которая, ну прямо настоящая маменька, выдает ему деньги, заклиная его, под стать настоящей маменьке, чтобы только, ради всего святого, он не проговорился папеньке, иначе и папеньке захочется получить свою долю на мелкие, минутные развлечения, так до чего же они дойдут после этого, спрашивается? К чему это их приведет?

Славная она девчужка, Сатанина, такая добрая, что

Козмо Антонио Корвара Амидеи не прочь даже называть ее покороче и поизящнее: Нина, или, еще лучше, Нинетта, но Дольфо Дольфи не разрешает.

— Какая она Нина! Придумал тоже — Нинетта! Сатана она, Сатаной и называется:

Приветствую тебя, о Сатана,
О искуситель,
О гений мщенья
Непокоренного ума.

Так проходят три года.

Все спрашивают профессора Корвара Амидеи, как только он уживается с этим гремучим, как буря, человеком, учителем Дольфо Дольфи; он съезживается, разводит руками, прикрывает глаза, и на губах его обозначается едва уловимая жалобная улыбка, ибо этим вопросом — это же любому дураку понятно — люди хотят помочь ему проникнуться сознанием собственной его глупости.

Да... Козмо Антонио Корвара Амидеи и сам, в общем, готов признать, что он дурак, хотя он еще не вполне убежден в этом, потому что ведь если хорошенько вдуматься, то лично ему кажется, что, возможно, глупее его просто жизнь вообще. Вот. А раз так, то стоит ли после этого осторожничать или хотя бы даже просто делать вид, что ты всегда настороже, когда она чуть ли не на каждом шагу с такой настырностью показывает тебе, что терпение ее неистощимо, коль скоро она замыслила тяпнуть беднягу, и как ты ни изворачивайся, а она все равно рано или поздно, так или иначе, но тяпнет. Уж лучше пустить ее, жизнь то есть, на самотек, потому как она, может, преследует какую-то свою, неведомую нам цель; а если цели нет, то уж конец всяко будет, уж в этом будьте уверены.

Конец-таки пришел, однажды и внезапно. Но не ему, к сожалению! А учителю Дольфо Дольфи. Апоплексический удар, словно молния, сразил его во время урока (16 марта 1891 г.).

Козмо Антонио Корвара Амидеи потрясен. Уж этого он не ожидал! Ему кажется, что дом вдруг опустел, как-то загадочно опустел; это, верно, потому, что ни в одном из находящихся в нем предметов нет даже проблеска души, ни с одним из них не связаны у него дорогие, близкие ему воспоминания — напротив, кажется, каждый предмет стоит особняком, сиротливо притаив-

шись, словно ожидая того, кто уже никогда не придет.

Сатанина плачет, не переставая. На первых порах он даже и не пытается ее утешать, понимая, что все, что бы он ни сказал, все равно ничего не даст. Но тут директор гимназии, коллеги-учителя спрашивают его, как он намерен поступить с несчастной сироткой, ведь она осталась ни с чем, выброшена на улицу: без прав на пенсию, без единого родственника, близкого или дальнего. Профессор Корвара Амидеи живо отвечает, что она, конечно же, останется с ним, стоит ли даже говорить об этом? Он, черт побери, он заменит ей отца! Но как директор, так и коллеги-учителя при этих словах пожимают плечами, опускают глаза, вздыхают. Как?! Их это не устраивает? Они недовольны? Они считают, что это неправильное решение? Профессор Корвара Амидеи ретируется в полной растерянности. Он говорит о том же с Сатаниной и — к величайшему своему изумлению — слышит и от нее, что это невозможно, что она не может более оставаться с ним, что лучше уж ей уйти совсем и как можно скорее, нет, лучше прямо сейчас — собраться и уйти.

— Но куда?

— Куда глаза глядят.

— Но почему?

Почему — ему разъясняют позже его собратья-учителя. Профессору Корвара Амидеи немногим более тридцати лет, верно? А Сатанине как-никак уже восемнадцать. Выходит, не такой он еще и старый, чтобы быть ей отцом, а она не такая уж и маленькая, чтобы годиться ему в дочери. Ну как, ясно теперь? Но профессор Корвара Амидеи разглядывает сперва носки своих ботинок, потом смотрит на кончики пальцев, пытается сглотнуть. Не намекают ли коллеги на то, что он должен... жениться на Сатанине? Стоило этой мысли блеснуть в его сознании, как он едва не лишается чувств, потом с горечью улыбается. Ну, полноте, они ведь просто шутят. Он чувствует, что придется ему, видимо, еще раз говорить с Сатаниной: надо постараться внушить ей, что она совершит безумие, воистину великое безумие, если, как она говорит, уйдет куда глаза глядят — так; тогда и она, Сатанина, дает ему понять, что она, конечно, может остаться с ним, но при одном условии, именно так, милостивые государи, при условии, что она станет его женой.

Козмо Антонио Корвара Амидеи боится, не сходит ли он с ума, или же все просто сговорились, чтобы над ним зло подшутить. До него никак не доходит, как может такая молоденькая девушка всерьез чувствовать, что ей необходимо стать его женой, как будто иначе жизнь с ним вдвоем в одном доме, под одной крышей и впрямь может стать поводом для городских пересудов. Да и возможно ли, чтобы сама эта необходимость не казалась ей смешной и, что греха таить, омерзительной? Он подходит к зеркалу взглянуть на себя, и кажется себе еще уродливее, чем есть на самом деле: пожелтевший от бед и лишений, бледный, тощий, лысый, почти слепой. Он думает о ней, о Сатанине, такой юной, свежей, цветущей, и у него голова идет кругом. Она — его жена? Да может ли это быть? Снова идет он к ней, переспрашивает, чуть внятно бормоча, верно ли он ее понял? И Сатанина — да, судари вы мои, — Сатанина, ничуть не краснея, отвечает ему, что да, и говорит, что если он все-таки согласен жениться, то она будет благодарна ему по гроб жизни.

И тут Козмо Антонио Корвара Амидеи, как малый ребенок, начинает плакать, жестом показывая ей, что, ради всего святого, ни слова больше! Она — и благодарна? Да что она такое говорит? А он тогда что же? Так вот, значит, какое счастье приберегала для него судьба? Как только в него поверить? В течение всех последующих дней профессор Корвара Амидеи не в силах вымолвить слова.

Со свадьбой приходится поспешить, учитывая, с одной стороны, тот существенный факт, что жениху с невестой приходится жить под одной крышей, с другой же — потому, что директор гимназии очень надеется, что женитьба выведет учителя Корвара Амидеи из состояния блаженной одури, в которой тот изволил пребывать все последнее время. Но надеждам директора не суждено сбыться. После свадьбы — был заключен лишь гражданский брак (14 марта 1892 г.), поскольку профессор Корвара Амидеи не смеет, ввиду его прошлых дел с церковью, вступать в брачный союз перед Богом, — после свадьбы одурь его растет соразмерно вкушаемому блаженству.

То, чего не смогли сделать долгие годы страданий, то под силу в два счета сделать радости. На радостях Козмо Антонио Корвара Амидеи забрасывает латинскую грамматику, забывает все, становится решительно ко

всему бесчувственным. Он видит только одну Сатанину; думает только об одной Сатанине; грезит лишь о ней, о Сатанине; он забывал бы даже о пище, если бы все та же Сатанина самолично не заставляла его есть; с него достаточно уже одного того, что он видит ее напротив себя, как она, заливаясь смехом, с ненасытной жадностью поглощает кусок за куском; он готов был бы даже собственные худущие тела отдать ей на съедение, если бы считал, что они достойны ее зубов.

А между тем Дольфо Дольфи нет, и некому больше держать в узде школяров и уличную ребятню, и они как будто взбесились: такая катавасия началась и в школе, и на улице, что хоть караул кричи. Директор гимназии мечет громы и молнии; он делает нижестоящему по должности самые строгие выговоры; но что толку от них? Учитель Корвара Амидеи смотрит на него, улыбаясь, так, как будто все это вовсе не к нему относится. Приходится тогда Сатанине засесть за письмо к депутату — большому другу и покровителю ее блаженной памяти горячо любимого папочки, заклиная его употребить весь его возросший авторитет, дабы просто немедленно освободить профессора Корвара Амидеи от преподавательской работы и приискать ему местечко поспокойнее — где-нибудь в библиотеке или в министерстве народного просвещения.

Таким образом, по истечении двух месяцев Козмо Антонио Корвара Амидеи, к величайшему огорчению своих учеников, которые, в сущности, очень его любят, но к величайшему облегчению директора гимназии и коллег, отъезжает в Рим, чтобы, согласно предписанию, явиться в министерство. Сатанина беременна, и переезд по морю доставляет ей великие мучения; но стоит ей сойти на землю в Чивитавеккья, как все страдания словно рукой снимает — столь велика ее радость вновь ступить на континент, столь веселит ее мысль о Риме, до которого осталось совсем ничего.

Ах, как неожиданно, как бурно разыграла в ее жилах кровь ее папочки, великого любителя приключений.

В министерстве профессор Корвара Амидеи помещен в дальнюю комнату к письмоводителям на место корректора. Но он ничего не корректирует. Эти жалкие чинуши,

вертопрахи, которым бы только баклуши бить, сразу учуяли, с кем имеют дело. Был бы он, предположим, матерым вором с безупречной репутацией, тогда, конечно, с ним бы и расшаркивались, и шляпы бы в воздух взлетали; ну а какой же прок оказывать знаки уважения обыкновенному порядочному человеку, к тому же такому недотепе, как он? Впрочем, довольно уже того, что они его не трогают. Время от времени от нечего делать, то есть когда нету *дел* и переписывать нечего, сыграют с ним какую-нибудь невинную шутку, чтобы как-то скоротать время. Ну а в ошибках, которые они допускают при переписке бумаг, естественно, всегда виноват учитель Корвара Амидеи.

— Умоляю вас, господа, давайте мне просматривать ваши бумаги. Будьте внимательны! Вас я просто умоляю, сделайте милость, слово «рассудок» пишите с двумя «с».

— О, профессор, насчет рассудка вы, по-моему, хва-тили лишку.

— Ну хорошо! — вздыхает профессор Корвара Амидеи, приподнимая плечи, вытягивая шею и опуская веки за двойными линзами очков для близоруких, напоминающих два бутылочных донышка.

Переписчики, услышав всякий раз, как он произносит, вздыхая, свое «Ну хорошо!», дружно начинают хохотать. С чего бы это? Профессор Корвара Амидеи не обращал внимания на этот смех; он все, знай себе, повторяет (когда у него совсем что-нибудь не клеится) свое извечное «Ну хорошо!» И вот уже все переписчики называют его между собой не иначе, как *Профессор Нухорошо*.

Когда же он узнает, какое ему дали прозвище, он съезживается, приподнимает плечи и, улыбаясь, вытягивает шею, опускает веки и вот-вот, гляди, уже вымолвит... Ах да... стало быть, верно, ну конечно: он незаметно при-страстился к этому словечку по давнишней своей привычке безропотно смиряться под ударами злой судьбы, но теперь-то он вознагражден за все то, что пережил, за все то, что, возможно, в будущем ему еще предстоит пережить, так что теперь ему абсолютно все равно. Хотя — пусть насмеются над ним все переписчики в мире, пусть называют его *Нухорошо*, *Нуплохо*, *Нуподижты*, как только их душе угодно, — у него теперь есть Сатанина, и на все остальное ему начихать. К ней одной тянутся из министерства его мысли, и он, кажется, воочию ви-

дит ее в комнатных неказистого домика на улице Сан-Никколо да Толентино, в котором они сняли квартиру.

15 августа 1893 года Сатанина счастливо разрешается мальчиком, который был назван именем Дольфино. Среди умопомрачительных восторгов, которыми отмечены те дни, возникает одна маленькая неприятность: Сатанина не желает сама вскармливать ребенка. Приходится отдать Дольфино кормилице, в далекое местечко Сабини. Ну да ничего! Впредь он всего лишь откажется от сигары, кофе и кой-каких других привычных пусячков, чтобы было чем заплатить кормилице.

Когда циркач, окруженный собравшейся отовсюду толпой, наблюдающей за ним с замиранием сердца, со сдавленным криком восторга, заставляет *работать* своего хрупкого, бледного паяца, как он кричит? «А сейчас, господа, вы увидите еще более сложный номер! Смотрите все — начинается номер с риском для жизни!»

Какие только номера, начиная с самого рождения, циркачка-судьба не заставляла выделывать Козмо Антонио Корвара Амидеи, своего маленького, печального паяца! Но самый трудный она пока еще приберегает, дожидаясь 20 марта 1894 года.

С пакетиком меренг под мышкой (Сатанина просто обожает меренги!) профессор Корвара Амидеи возвращается в тот день, как обычно, ровно в 18.30 домой, поднимается по нескончаемо длинной лестнице, вынимает ключ, ищет на ощупь, наконец находит замочную скважину, открывает, входит. Сатанины нет. А где она? Обычно она никогда не выходит из дома в этом часу. Видимо, что-то случилось; вот и стол в столовой не накрыт, и на кухне ничего не готово к обеду: плита холодная; в доме, как все было прибрано к двенадцати часам, времени, когда уходит служанка — они держат приходящую с утра на полдня служанку, которая занимается уборкой квартиры и ходит за покупками, — так все и осталось. Да что же наконец могло произойти с Сатаниной? Может, ее неожиданно вызвала нянька Дольфино? И она опометью, бросив все, сорвалась и уехала; до того ли ей было, чтобы еще забегать в министерство и предупреждать его. Спускается он, спускается, как ни длинна эта лестница, к привратнику спросить, может быть он что-нибудь знает? Потом заходит в лавочки,

расположенные поблизости от дома, расспрашивает их владельцев, горничную из меблированных комнат, оказавшуюся рядом — никто ничего не знает. Дома же оставаться, когда на душе полная неразбериха, а тут, в трех комнатных, такой порядок и такая тишина, что кажется, будто они, все эти комнаты вместе со всей наполняющей их мебелью, затаились и ждут, когда же опять потечет в них заведенная, привычная жизнь, — он долго не в силах. Выходит на улицу, идет на поиски, в первое время не представляя себе ни куда идти, ни где искать; потом заходит на телеграф и отправляет телеграмму-молнию с оплаченным ответом кормилице Дольфино; снова куда-то идет, куда — сам не знает, идет, куда ноги несут; а в голове кружится, как в мельнице; он даже не замечает, как стемнело. Когда же ему кажется, что до ответной телеграммы осталось уже недолго, он поворачивает к дому, надеясь втайне, что сейчас подымется, а наверху его уже ждет Сатанина; но привратник одним словом убивает всю его надежду; и тогда он такую вдруг чувствует усталость, такую, что просто уже и не знает, как ему еще раз одолеть эту лестницу. Но, слава богу, поднимается. Входит в потемках, в потемках добирается до спальни и там, не зажигая света, погружается в кресло и принимается ждать.

В какой-то момент ему вдруг кажется, что он слышит внутри себя какой-то странный звук, как будто там что-то бешено закрутилось, зажужжало и жужжит, просверливая его всего насквозь, жужжит в голове, в животе, даже в подошвах ног жужжит и в коленках, втягивая его в это яростное жужжание и путая все его мысли и чувства; когда же он, совсем ошалевший, подбирается к окну и смотрит вниз, желая удостовериться, не стоит ли у дверей посыльный с телеграфа, он замечает, что это жужжит электрическая лампочка, которая висит над улицей и — тьфу ты, проклятая! — жужжит, как сумасшедшая.

На рассвете приходит наконец телеграмма от няньки — ответ отрицательный. Таким образом, порвалась и эта, последняя, нить надежды.

Потом, через несколько часов, приходит служанка, чтобы, как обычно, сходить за продуктами и прибрать в комнатах. Родом она из Тосканы: маленькая, толстенная, но работа у нее горит в руках; лицо суровое, а на язык бойкая.

— С добрым утром!

— Сатанины нету... — сообщает ей хозяин, бледный как покойник, с блуждающим взором. — Со вчерашнего дня нету.

— Батюшки светы! Да что вы говорите?

Учитель Корвара Амидеи разводит руками. Потом медленно приседает, приседает и садится на стул и, как пришибленный, застывает в таком положении. Молчит, а через минуту добавляет:

— Всю ночь не было.

— Да куда ж она могла деться?

Профессор Корвара Амидеи снова разводит руками.

— А знаете что, хозяин, попробуйте-ка вы сходить, — подает ему мысль служанка, — попробуйте-ка вы сходить туда, где живут эти... ну, как их... приезжие они со всего света, ну, картины еще рисуют. Там один, я знаю, этот, как его... портрет, кажись... да, портрет ее рисовал.

Учитель Корвара Амидеи очнулся, смотрит на нее:

— Портрет? Ее портрет? Это когда же?

— И, а я-то думала, вы знаете. Неужто нет? Хозяйка каждое утро к нему бегала. И после обеда бегала.

Он сидит, раскрыв рот, потом молча начинает потирать узловатыми пальцами колени.

— Может, лучше мне туда сбегать, хозяин?. Хотите, я сбегаяю? Я туда и назад, мигом обернусь... Я его, голубчика, знаю, он французский художник.

Но он, кажется, и не слышит, что ему говорят, и тогда служанка решается: миг, и она выбегает. Не прошло и нескольких минут, как вот она, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, уже тут как тут. Переведя дух, выпаливает:

— Ну, мое сердце как чуяло! Уехал, так что его тоже нет. Вчерась уехал. Вот вам и все... все совпадает.

Профессор Корвара Амидеи по-прежнему сидит молча, с застывшим, как у умственно больного, лицом, лишь руки машинально продолжают поглаживать колени.

Служанка уставилась на него, ее разбирает жалость, и, минуто спустя, она не выдерживает и, хмыкнув, говорит самой себе, намекая на хозяйку:

— Подумать только, ну не дура ли, а? Могла бы жить припеваючи при таком-то муженьке, уж как он ее обхаживал, бедолага, страдалец, такой чудесный мужчина, смиренный такой, глянь только — настоящая черепаха.

Да будет вам, хозяин, убиваться-то! Плюньте вы, не сидите вы так, вам надо дать себе выход. Ни черта она не смыслит после этого, скажу я вам. Любовь... Как же! Да вы знаете, какая она, любовь-то? Да она как молоко, когда его поставишь кипятить: сперва оно поднимается, потом закипает, а там, глядишь, и убежало... Будет вам, будет, не убивайтесь. Вам теперь в самый раз сердце облегчить, вот вы попробуйте, сами увидите... а так не сидите, хозяин, не сидите.

Но в ответ на эти бесхитростные сердечные понукания профессор Корвара Амидеи лишь слегка покачивает головой; и ни слова не говорит. Не плачет, потому что ему не для чего показывать, как он страдает; ему не нужно ничьей жалости, ничьей поддержки или сострадания. Он ошеломлен тем, что не чувствует в себе того горя, которое, как порою, видно, думалось ему, он должен будет испытать, если когда-нибудь по какой-нибудь ужасной, непредвиденной случайности у него не станет вдруг Сатанины или же он лишится ее любви. А теперь что же? Ничего, решительно ничего такого он не испытывает. Что же он думал, что, может, если это случится, мир рухнет или по крайней мере замертво рухнет он сам? Так ведь вот, пожалуйста, — ничего не произошло, решительно ничего не произошло. Он даже, к примеру, может сейчас поблагодарить служанку, сказать ей, что ее помощь больше не понадобится, заплатить ей за дни, остающиеся до конца месяца, и когда она, уходя, снова принимается его подбадривать, ответить ей своим обычным:

— Ну хорошо... хорошо...

Оставшись же один и снова усевшись на стул, он неожиданно для себя понимает, что даже желания пальцем пошевелить у него и того нет и что, стало быть, мир для него все-таки рухнул, но как-то так незаметно, даже не верится. Стулья, вон, как стояли, так и стоят, шкаф стоит, их кровать — стоит... Только вот что делать теперь со всем этим?

Вот он уже потирает колени чуть-чуть посильнее, и делает это непрозвольно, потому что чувствует, что по телу пробегает холодок, какой-то потешный такой холодок, в костях, и пронизывает его всего насквозь. Но он не двигается с места. Повторяет про себя те две-три скупые фразы из новостей, которые сообщила ему служанка: *«Портрет... Французский художник... Бегала к нему каждое утро...»* А теперь у него начина-

ют стучать зубы, и он еще сильнее потирает ноги, которые уже отплясывают настоящую чечетку. Три мысли — мысль о ее портрете, о художнике-французе и о том, что она бегала к нему каждое утро, — накрепко западают к нему в голову и, наподобие трех маленьких бумажных ветрячков, которые под напором ветра начинают вертеться, — вертятся, вертятся... В глазах у него темнеет, его трясет, он валится со стула и лежит, словно мертвый.

И вот март 1904 года. Прошло девять лет и десять месяцев. Профессор Корвара Амидеи почти уже и не помнит, как он чуть было не отдал тогда богу душу, после того как исполнил свой «номер с риском для жизни». Спасла его мысль о том, что где-то там, в далеком местечке Сабины, находится его сынишка. Теперь он неразлучен со своим Дольфино. Мальчику уже десять, но, похоже, никогда бы ему не дотянуть до этих лет, не будь рядом папы, который своими неустанными кропотливыми заботами мало-помалу вытянул, дорастил его до этого возраста; но тем не менее, увы, опасность, что несчастное дитя повторит судьбу своего отца, как была, так и осталась, хотя, впрочем, будем надеяться, что все еще как-нибудь обойдется; дело в том, что мальчик — такой хрупкий, такой щупленький — предрасположен к той же болезни, которая угрожала его отцу, когда тот учился в семинарии.

До восьми лет Дольфино считал, что его мама умерла, когда он появился на свет; а тут, два года назад, в один прекрасный день, когда папа был на службе, к ним в дом вошла какая-то синьора, одетая очень странно, накрашенная, напудренная, и, обливаясь слезами, с радостью сообщила ему, что его мама жива и что это она — его мама, что только она одна его любит — о! как она его любит! — и хочет все время быть с ним, и заботиться о нем, и ласкать его днем и ночью так, как она ласкает его сейчас, вот так, вот так, славенького своего, родного своего сыночка.

Но тут кормилица, которая его вырастила, а потом, овдовев и будучи женщиной одинокой, приехала как-то навестить его, да так и осталась у них, взяв на себя одновременно обязанности экономки и служанки, — тут кормилица, вернувшись домой с набитыми провизией сумками, накинулась на эту дамочку и вырвала у нее из рук

мальчика; и бедный, насмерть перепуганный Дольфино слышал, как нянька обзывала ту, которая говорила ему, что она его мама, всякими скверными словами, а потом они начали драться; это была жуткая сцена, такая жуткая, что после нее он слег, потому что у него началась жесточайшая лихорадка.

Козмо Антонио Корвара Амидеи тогда же пошел в полицейскую часть заявить на эту бесчестную женщину, которой недостаточно было горя, которое она принесла ему, так она теперь решила добавить еще — и кому? — ни в чем не повинному ребенку.

Сатанина, которая еще в восемнадцать лет, после смерти отца, собиралась, как известно, уйти куда глаза глядят, сбежав с художником-французом, писавшим ее портрет, четыре года провела в Париже, потом побывала в Ницце, затем в Турине, после — в Милане, и с каждым годом падала все ниже и ниже. Он увидел ее через несколько дней после того, как она объявилась в Риме, и хотя он уже представлял себе, во что она могла превратиться, но когда увидел ее воочию, ему стало дурно прямо посреди улицы, и люди отвели его под руки в ближайшую аптеку.

Еще до этого он попал в руки некоего священника из Сардинии, знакомого еще по Сассари, по имени дон Мелькиорре Спану, который вбил себе в голову, что должен вернуть в овчарню сию заблудшую, давно отбившуюся от стада овечку; он приносил ему для чтения богословские книги — множество книг, — чтобы тот читал их в нескончаемые часы урочных занятий; он доказывал ему на наглядных примерах, что единственная причина всех выпавших на его долю бед была в том, что он недостойно обошелся в молодости со Святой нашей Матерью Церковью и что, уж конечно, Господь неспроста надумал забрать в сонм своих ангелов и праведников непорочных дорогого его сынишку, кроткого мальчика Дольфино; словом, это ему, профессору Корвара Амидеи, богоотступнику, предостережение свыше, чтобы он, когда останется один, долго не раздумывал и шел в монастырь, ну хоть в монастырь «Три Фонтана», что в Траппе. Святое место, святое место, как раз то, что нужно для покаяния.

Слушая его, профессор Корвара Амидеи съеживался, приподнимая плечи, вытягивая шею и, прищулив глаза, всякий раз говорил:

— Ну хорошо!

В иные дни, когда он после урочных часов выходил из министерства, его встречали с одной стороны дон Мелькиорре Спану, стоя на ступеньках церкви Санта-Мария делла Минерва, с другой — жена, величественно облокотясь на ограду Пантеона. Стоя друг против друга, они обменивались молниеносными испепеляющими взглядами: священник — потирая при этом пальцами подбородок и щеки, на которых жесткая щетина выростала, кажется, прямо из-под бритвы; женщина — кривя в лукавой ухмылке ярко накрашенные губы.

Каждый вечер, ступив на площадь, профессор Корвара Амидеи искал, украдкой поглядывая на решетку, возле которой облюбовала себе место жена, но поворачивал в сторону священника, так как знал, что на улице Пье ди Мармо она все равно его догонит и выпросит денег, отказать в которых он был не в силах, раз уж он ей и так столько раз с негодованием отказывал в прощении... После каждой очередной такой ее выходки, когда она кидалась к нему, он, желая предупредить очередной нагоняй от священника, приближался к нему со вздохами, с привычной своей ужимкой, потирая чаще обычного руки:

— Ну хорошо! Хорошо!

Между тем близилась весна — время, самое неблагоприятное для страдающих грудью; врач порекомендовал профессору Корвара Амидеи свозить Дольфино на море, хотя бы на первый месяц, когда римский воздух будет для него особенно губителен.

И вот профессор Корвара Амидеи подал прошение о месячном отпуске и 5 марта 1904 года отправился в Неттуно с намерением снять там квартиру с видом на море.

2. СОСНОВАЯ ШИШКА

Месяц отдыха и передышки и не мог обещать лучшего. Вплоть до последнего дня дожди лили, не переставая, — нынче же прозрачным светом первого чистого мартовского солнца Весна словно бы говорила:

— Я тут.

И в самом деле, профессору Корвара Амидеи, уткнувшись в окошко вагона третьего класса, показалось, что он даже увидел ее, Весну, едва только поезд отошел

от вокзала: Весну у Римских ворот, в чем-то неуловимо розовом, трепетном, мелькавшем среди нежной зелени лугов. Что это было?.. Наверное, несколько цветущих персиковых деревьев. Ну конечно, конечно, так и есть: вон еще такие же, и вон, и вон. Весна! Ах, как давно он не видел такой Весны, Весны в самом-самом ее начале, шаловливо улыбавшейся розовыми устами персиковых деревьев!

Он глубоко, прерывисто вздохнул и почувствовал, что его пьянит этот непривычно новый воздух, пьянит так легко и светло, что ему даже захотелось заплакать. Милостью, дарованною ему враждебной судьбой, показалось ему это восхитительное зрелище, от которого в нем поднималась радость такая сокровенная, что непонятно было, почему, если он сейчас, сию минуту испытывает ее, она ему кажется тою, давешней, давно позабытой радостью, которой были исполнены светлые, воздушные годы его в родном, волшебном городе детства.

И он позабыл на минуту обо всех своих бедах, прошлых и нынешних, о тяжело больном своем сыне; о той, погрязшей в разврате, позорившей его женщине; о священнике, тиранившем его; о предстоящих тратах, превышавших его скудные возможности, тратах, на которые все же приходилось идти в надежде, быть может, увы, и несбыточной, что хоть это пойдет на пользу Дольфино; забыл о тоске своей, мрачной, горькой; о непосильной Тяжести своей нестерпимой жизни. Со всей накопившейся у него в душе чернотой спорила сейчас зелень лугов, голубизна небес и эта восхитительная, разлитая в воздухе свежесть, это живое дыхание Весны. И он сидел, зачарованный, и улыбался.

Да, жизнь могла, могла быть прекрасной; но только здесь, среди этой зелени, на этих просторах; здесь безжалостная судьба не осмелится гоняться за ним, преследуя его так жестоко, как в городе. То, как она преследовала его по мрачным, гнетущим городским улицам, представало ему в образе до осязаемости реальном: он слышал, как за его спиной, крадучись, словно какая-то жуткая тень, заставляющая его идти пригнувшись, сжавшись в комок, боясь оглянуться назад, следует она: его жена.

Он тотчас же отогнал от себя этот образ, внезапно всплывший перед глазами и затуманивший такую пленительную картину, и снова, уже не отвлекаясь, принялся

любоваться. Вон Албанские горы: как высоко взметнулись они в небо и, чудится, как будто дышат, такие легкие, невесомые, словно бы и не из камня. А вон и Каве, вершину которого, как короной, венчают клены и буки, и старый монастырь, и белесый лес, опоясывающий гору как раз посередине склона. Чуть дальше — городок Фраскати, сплошь залитый солнцем. От грохота поезда взлетела стайка воробьев, а в вышине, покачиваясь на переливающихся крылышках, повис жаворонок и выводит свои трели. Профессор Корвара Амидеи тотчас же вспомнил первую фразу из латинской грамматики, которую уже сколько лет как не преподавал: «Alauda est laeta»¹, и покачал головой. Сейчас даже первые годы преподавания казались ему чуть ли не прекрасными, до тех пор, правда, пока он не стал жить одним домом с этим...

— Ну хорошо! — вздохнул он, опять разволновавшись.

Но ненадолго. Проехали станцию Крочетто, и он почувствовал, что уже близко море, и душа его раздалась, повеселела, затрепетала в предвкушении этой голубой, подернутой рябью бескрайности, которая с минуты на минуту могла распахнуться перед глазами. Ах, море! Как давно он его не видел, и как хочется, как сильно, страстно, неудержимо хочется вновь повидаться с ним! Но ведь вот же оно! Уже? Вот оно! Море! Море! Профессор Корвара Амидеи вскочил на ноги, дрожа от восторга, высунулся из окошка и с таким нетерпением, с таким сладострастьем вдохнул в себя морской бриз, что у него закружилась голова; он упал на вагонную скамью и уткнулся лицом в ладони.

Поезд остановился в Анцио всего на несколько минут, и профессор Корвара Амидеи, никогда не бывавший в этом прелестном городке, с жадностью стал пожирать глазами все, что отсюда, с вокзала, можно было увидеть. Вскоре и он сошел, на станции Неттуно, все еще как во хмелю, с шумом в голове после встречи с морем, когда, увидев его, он сгоряча вздохнул сразу так глубоко, полной грудью, как уже давненько с ним не случалось.

Переписчики из министерства кое-что рассказали ему об этом городке. Он направился к главной площади

¹ Жаворонок весел (*лат.*).

и спросил, где бы здесь, за небольшую плату, можно было снять простенькую квартирку с видом на море. Его направили вниз от площади и направо, к домику, стоявшему на самом берегу. Квартирка, по правде сказать, была дороговата для его кармана — ну да что ж делать! Окно комнатки, расположенной по фасаду дома, смотрело в сторону небольшой площади перед казармой солдат-артиллеристов, которые отрядами направлялись на учебные стрельбы, и было едва ли на высоте мезонина; окно другой комнатки, обращенной в сторону моря, — на высоте второго этажа; море словно стремилось влиться через это окно прямо сюда, в комнатку, — одно море, кроме него отсюда ничего больше не видно было. Профессор Корвара Амидеи уплатил хозяину задаток, сказал, что переедет завтра же утром, и спустился к пляжу.

Напротив домика с западной стороны поднимался, возвышаясь на гряде скал, и уходил в самое море величественный, потемневший от времени замок Сансовино. Профессор Корвара Амидеи вскарабкался на скалы под замком и, потрясенный открывшейся его взору картиной, просидел здесь в созерцании больше часа. Он увидел, как поднимается над морем, словно невесомый остров, голубая, почти тающая в воздухе гора Чирчелло, а чуть ближе, на берегу, — замок Стура; увидел, совсем рядышком, справа от себя, порт Анцио с вошедшими в него кораблями — порт был весь черный от угля, которым здесь бойко торговали; а дальше, дальше была вода, необъятный простор воды, сверкавшей на солнце яркими бликами и такой спокойной, что волны у пляжа набегали на песок почти неслышно. Оторвавшись наконец от этого завораживающего зрелища, он решил перекусить и спустился вниз; потом, зная, что раньше пяти часов не будет ни одного поезда на Рим, решил употребить оставшиеся у него три часа на осмотр великолепного парка Боргезе, расположенного на полпути между Анцио и Неттуно.

Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни ему выпадало провести день более восхитительный; он блаженствовал посреди этого раннего, сладостного весеннего тепла; с одной стороны у него было море, плескавшееся внизу под отвесной стеною плато, с другой — зелень лесов и полей. Ворота парка были открыты, и профессор Корвара Амидеи, залюбовавшись, уже двинулся было по одной из спускавшихся по склону аллей, как

его окликнули; обернувшись, он увидел карлицу, которая, переваливаясь, словно утка, бежала за ним и кричала:

— Эй! Эй! Вы! У нас вход платный! Сперва купите билет!

Пять сольди. Уплатил, хотя и дал себе слово, что будет ограничивать себя в расходах. И продолжил свой путь, блуждая по тянувшимся вглубь пустынным, тенистым аллеям, какие бывают только во сне. И действительно, в сон, казалось, погружены были величественные деревья, стоявшие в тишине, которую пение птиц не нарушало, а, напротив, лишь придавало ей еще больше таинственности. Ему рассказывали, что в этом почти заброшенном парке полно соловьев. Прислушался, и ему показалось, что где-то в глубине чащи он услышал, как запел один, и он устремился в ту сторону. Он долго шел, пока не очутился в дивном сосновом бору. Стройные высокие стволы походили на колонны в каком-то гигантском храме, их сомкнувшиеся в вышине кроны скрывали от глаз небо. В этом бору, казалось, был какой-то особый, отдающий медью, воздух, насыщенный прохладой, которая бывает лишь под сводами церковей.

Идти куда-то еще профессор Корвара Амидеи уже не мог. Инстинктивным движением он снял с себя шляпу, сел; потом лег.

За долгие годы, прожитые в бедах, следовавших одна за другой, мозг его как будто зачерствел; мелкие, тягостные хлопоты не давали возможности возвысить дух до тех вопросов, которые мучили его в молодости и довели до того, что он даже на какое-то время лишился рассудка, а затем и веры. Нынче же, в этот день кратковременной передышки, когда ему наконец удалось взглянуть своими близорукими глазами, как можно было бы жить, по-настоящему испытывая радость от жизни, у него возникло искушение вновь углубиться в дебри былых своих рассуждений. И он спросил себя, почему он, ни разу умышленно не сделавший никому, ни одному человеку зла, почему именно он оказался мишенью, по которой палила судьба; да, именно он, который всегда желал творить одно лишь добро — и тогда, когда отказался от рясы священника, убедившись, что логика его мыслей разошлась с логикой отцов-учителей церкви, логикой, которая должна была быть для него непреложным законом; и тогда, когда женился, дабы не оставить без куска

хлеба сироту, настоявшую на том, что лишь при этом условии, при условии женитьбы, она сможет есть его хлеб, в то время как он-то безо всякой задней мысли, от чистого сердца готов был дать ей тот же кусок и просто так. А теперь еще, не говоря уже о подлой измене и бегстве этой бессовестной женщины, разбившей всю его жизнь, теперь ему почти наверняка придется еще столько выстрадать, видя, как медленно погибает его сынишка, единственное, каким бы горьким оно ни было, единственное оставшееся у него добро. Почему все это так? Бог? Богу так было угодно? Нет, Бог не мог этого желать. Ведь если Бог есть, то с добрыми Он должен быть добрым. Он оскорбил бы Бога, думая про Него так. Так кто же наконец, кто управляет миром, этой нашей несчастнейшей жизнью?

Сосновая шишка. Что, что? Ну да, сосновая шишка, оторвавшись в ту минуту от одной из верхних веток, спикировала в качестве молниеносного ответа на голову профессора Корвара Амидеи.

Бедняга как лежал, так и продолжал себе лежать, вытянувшись, тихо-мирно, без сознания, словно насмерть сраженный молнией. Придя же в себя, он обнаружил, что лежит в луже крови. И добро бы только это, так ведь кровь все не переставала идти: вытекая из глубокой раны на макушке, она тоненькой струйкой пробегала за ухом и убегала за шиворот. Еще мало что соображая, он кое-как поднялся на ноги и с трудом поплелся к выходу из парка. Карлица-сторожиха, увидев его и его лицо, перепачканное кровью, в ужасе завизжала:

— Господи Иисусе! Что вы натворили?

Он поднял вверх дрожащую руку и сморщился от боли и смеха.

— Шишка... сосновая, — пробормотал он, — сосновая шишка правит миром... Увы!

— Сумасшедший, — мелькнуло у карлицы, и, струсив, она поскорее заковыляла за пастухом с молочной фермы, примыкавшей к парку, чтобы тот с помощью одного из железнодорожных рабочих, ремонтировавших полотно у самых ворот, отвел этого несчастного в находившийся неподалеку туберкулезный санаторий «Творите, Братья, Добро».

Здесь профессора Корвара Амидеи первым делом наголо обрили, затем наложили шесть основательных швов, наконец перебинтовали. Он торопился, он боялся

пропустить поезд. Врач, услышав, что он собирается еще куда-то ехать, решил усилить меры предосторожности и соорудил у него на голове из бинтов нечто вроде тюрбана, на который шляпа уже не налезала. Когда все было готово, профессор Корвара Амидеи приподнял плечи, осторожно попробовал вытянуть шею и, прикрыв глаза, в очередной раз вздохнул:

— Ну хорошо!

3. ВЕТЕР

«Не понимаю, любезная Весна, зачем тебе понадобилось в этом году приходиться раньше того дня, который люди в своих календарях назначили для твоего прихода. И Зима нынче была довольно мягкой и вялой, и, конечно, под конец, до того как исчезнуть, ей хотелось бы хоть немного побуяннить — это ее право; она бы просила тебя, к примеру, чтобы ты дала ей время разродиться парочкой бурь, которые давно тяжелят ее чрево; но, если это тебя не устраивает, если ты боишься при своем триумфальном возвращении испачкать свои розовые ножки, застав города и деревни тонущими в грязи, так Зима велит передать тебе, что на этот счет ты можешь не волноваться: ее, бедную старуху, еще всюю распирает от ветра, и она просто умоляет тебя, сделай удовольствие, разреши ей, раз уж другого ничего нельзя, хоть его-то выпустить, и тебе же самой от этого только польза будет: ветер развеет перед тобою туманы, очистит землю от мусора, которым завалила ее Зима. Ты ей доставишь великое удовольствие, а мне и того подавно, ведь я — знала бы ты! — себя не щадя, покровительствую одному стоящему человеку с момента его рождения и по сию пору. Ну вот, представь себе, расскажу тебе для примера такой случай: вчера, пока он, развалясь, выставив брюхо, блаженствовал, наслаждаясь тобою в сосновом бору, — есть тут такой неподалеку, в одном дивном парке, — я решила повеселиться и подшутила над ним, уронив ему на голову чудную шишку, крупную, крепкую; она могла бы, конечно, уложить его прямо на месте, еще как бы могла, но я не захотела. Ты ведь знаешь, мой герб украшает кошка, гоняющаяся за мышкой: она с ней лишь забавляется, но не убивает ее».

Словно вычитав когда-то в какой-то старинной книге и теперь, словно для того чтобы жестокость прочитанного казалась еще более изощренной, он без умолку повторял про себя в течение вот уже двух недель это искуснейше составленное прошение, с которым добрейшая его судьба, несомненно, должна была обратиться к Весне и которое последняя — разумеется! — тотчас же удовлетворила. На голове у него по-прежнему красовался тюрбан, и он сидел, примостившись на краешке постели Дольфино, который с той самой минуты, как сошел с поезда в Неттуно, таял у него на глазах от медленно сжигавшего его лихорадочного жара, не снижавшегося даже днем. Раньше хоть, в Риме, жар у него поднимался только лишь по ночам.

И ветер, ветер, ветер! Две недели он не утихал ни на минуту, ни ночью, ни днем. Свистел, скулил, завывал на все лады, а иные порывы бывали особенно страшные, когда он, налетев, приступом шел на дома и таранил их с таким ожесточением и таким упорством, что, казалось, готов был снести их с лица земли и унести с собою. Но это всего лишь казалось, потому что на самом-то деле он сносил лишь какую-нибудь черепицу, валил дерево или телеграфный столб и разбивал чье-нибудь окно. Потом он еще забавлялся тем, что дразнил море, чтобы оно, выйдя из себя, затопило пляж и, разбежавшись и не в силах остановиться, натолкнулось на стены прибрежных домов и, ударившись, со страшным грохотом разбилось.

Профессору Корвара Амидеи казалось, что он попал на застигнутый штормом корабль, который швыряло из одной стороны в другую. Несчастный Дольфино вообще был напуган до полусмерти, а он, он не имел даже возможности подбодрить его словом-другим, потому что от этого завывания ветра, больше еще, чем от грохота моря, у него не то что голос пропал — дух перехватывало, переворачивалось все нутро, и он впадал в такую дикую, немую тоску, которая лишь изредка и то по чистой случайности находила себе выход в лечении глотки несчастной кормилицы, которая, дабы уж картина совсем была полной, заболела ангиной и была вынуждена тоже оставаться в постели.

— Только, ради бога, барин, не сильно! — умоляла она, едва он, словно призрак, возникал перед ней с пузырьком карболовой кислоты в одной руке и кисточкой

для смазывания горла — в другой. — Полегоньку, умоляю вас!

Она привставала на кровати и открывала рот, из которого несло жаром, как из раскаленной печи.

Профессор Корвара Амидеи не хотел мазать сильно; но каждый раз, словно ветер, с силой ударившись в ту минуту в окно, толкал его под руку, он устраивал ей такую смазку, что просто чудо еще, как у бедняги глаза не вылезали на лоб.

— Сплюньте! Сплюньте!

И со свирепостью, еще не остывшей во взоре, развернувшись, он отступал назад, пытался к Дольфино, лишь бутылочка с карболовой кислотой подрагивала у него в руке. Карболка... отравы... но очень мало, очень мало, и, потом, разбавленная... наверняка не хватит... Да и как оставить Дольфино в этом его состоянии? Нет, нет. Искушение, однако же, было велико. Этот ветер сводил его с ума.

— Отдых! — ворчал он про себя.

Полмесяца уже пролетело. Плата за жилье, большая, чем он рассчитывал, отсутствие в доме удобств, болезнь служанки — вот и все, чего он здесь добился. И потом — не спешите, это еще далеко не все, — потом все приходилось делать ему самому: самому топить, самому ходить за покупками, самому накрывать на стол... И ни одного дня, когда бы можно было хоть на минутку вывести ребенка на пляж. Сиди себе в этих трех комнатных, как в тюрьме, осажденный с двух сторон ветром и морем.

Многовато, правда?

Тинь-тинь-тинь — тихонько-тихонько — в дверь.

«Кто там?»

Кто ж еще? Сатанина, известно! Она, прилетевшая верхом на ветре; Сатанина, маменька родимая; маменька, безумно любящая сына, которая ни перед чем не остановится, лишь бы повидать свое заболевшее чадо.

Входит, стремительно бросается вперед, падает на колени перед учителем, который от неожиданности отшатывается назад, ловит его за полы пиджака и, вся растрепанная, кричит:

— Козмо! Козмо, ради всего святого! Дай мне взглянуть на Дольфино, на мою кровинку! Прости меня! Спаси меня! Смилуйся надо мной!

При этом она пускается в слезы, плачет навзрыд и,

надо сказать, плачет по-настоящему, настоящими слезами, плачет, не утихая, захлебываясь рыданиями, тоже настоящими, от которых сотрясается все ее тело; она не встает, уткнула в ладони лицо и, не переставая, умоляет:

— Я буду целовать, я землю буду целовать там, где ты ступишь, Козмо, если ты только простишь меня, если ты меня спасешь! Я больше не могу! Я хочу быть матерью своему сыну, хочу принадлежать только ему одному! Ну позволь мне находиться при нем, дай я буду ухаживать за ним, умоляю тебя!

Козмо Антонио Корвара Амидеи падает на стул и сидит, тоже уткнувшись лицом в ладони, хотя, если разобраться, и так уже ничего не видно, потому что уже стемнело и в комнатку напозднили вечерние сумерки. Звонят к вечерне, колокола поют «Азе Мария».

— Ave Maria... — нарочито громко, дабы уберечь хозяина от искушения, начинает с постели свою вечернюю молитву кормилица.

И Дольфино, не понимая, что происходит, тревожно кричит из дальней комнаты, зовет его:

— Папа... папа...

И тогда, словно ее подхлестнули плетью, Сатанина вскакивает и мчится к сыну.

Профессор Корвара Амидеи сидит, как пригвожденный к стулу. Из комнаты Дольфино до него доносятся нежные, полные любви слова, с которыми она обращается к сыну; он отчетливо слышит звук поцелуев, которыми она его осыпает. Ему кажется, что внезапно все стихло, стихло на улице, повсюду, на всем белом свете. Он отрывает от лица руки и с изумлением прислушивается. Еле-еле позвякивает стекло в оконной раме. Ах, вот оно что, ветер, это же ветер утих. Неужто? Быть не может... Он подходит к окну взглянуть на освещенную улицу, которая проходит по ту сторону близлежащего сада, принадлежащего офицерскому дому. Да, ветер действительно стих, как-то вдруг, сразу. Слышны веселые голоса выходящих из столовой офицеров. А у Дольфино еще не зажжен свет, и он один, в потемках, в комнате с этой... И учитель Корвара Амидеи направляется, чтобы зажечь у него свечу.

— Оставь, я сама! — живо подхватывается Сатанина. — Где тут у вас свечи? Там?

И она с заботливой предупредительностью выбегает за свечой.

— Папа, — говорит тогда ему потихоньку Дольфино, — папа, зачем она нам нужна... От нее так сильно пахнет духами...

— Тихе, сынок, тихе...

— Папа, а ты где будешь спать? У нас ведь больше нет кроватей, для нее... ты ложись здесь, слышишь, папа? Вместе со мной...

— Да, мой хороший, да... Тихонько только, тихонько...

Тишина. А что так долго нет Сатанины? Свечку она, что ли, не может найти? Чем она занята? Профессор Корвара Амидеи вдруг чувствует, что по ногам тянет каким-то странным, необычным холодком, как если бы в той комнате открыли окно. Неужели?

Он подымается с постели и в темноте на цыпочках подходит к двери в ту комнату, где низко расположенное над полом окно выходит на площадь перед казармой, и, остановившись, прислушивается. Сатанина высунулась из окна и шепотом разговаривает с кем-то внизу. Как! С кем? Ах, бесстыжая! Опять за старое? Козмо Антонио Корвара Амидеи сжимается весь и, как кошка, неслышно, потихоньку, без единого шороха подбегает к ней, и — услышав, как она говорит стоящему под окном офицеру: *«Нет, Джиджино, нет, сегодня не получится: не вырваться мне. Завтра, слышишь... завтра непременно...»* — наклоняется, обхватывает ее за ноги и — туда ее! — выкидывает из окна, крича вниз:

— Ловите, господин поручик!

Снизу ответили в два голоса, — крикнул офицер, вскрикнула, упав, она, — профессор Корвара Амидеи с содроганием отшатывается назад и, конвульсивно передернувшись, всем телом начинает дрожать, пытается закрыть створки окна, но не может, потому что все новые голоса поднимаются с площади, кричат солдаты, офицеры, люди, сбежавшиеся отовсюду. Пошатываясь, еле передвигая словно спутанными ногами, он кое-как добирается до комнаты Дольфино, злобно огрызнувшись по дороге на кормилицу, которая, услышав крик, вскочила с постели в одной сорочке и хотела было остановить его, узнать, что там случилось, что он натворил.

— Ничего... Ничего... — отвечает он ей, задыхаясь от

злости, уткнувшись в лежащего на кровати Дольфино и обнимая его. — Ничего... не пугайся... Это черепица... просто черепица упала на голову какому-то поручику.

В дверь бешено колотят. Кормилица, кое-как натянув на себя юбку, бежит открывать — море людей, солдат, офицеров, предводительствуемых двумя карабинарами и уполномоченным местной полицейской управы, наполняют шумным, нестройным ропотом квартиру, в которой по-прежнему все еще темно.

— Повремените, сейчас я зажгу... — бормочет в испуге служанка.

Козмо Антонио Корвара Амидеи крепко, обеими руками прижимает к себе Дольфино, вставшего на колени в кроватке.

— Собирайтесь! Пойдете со мной! — кричит, обращаясь к нему, уполномоченный.

Козмо Антонио Корвара Амидеи, резко повернув голову, всматривается в него. Бледное, как у трупа, лицо его под тюрбаном из бинтов, с очками на носу приводит в замешательство, вселяет ужас в толпу, заполнившую комнату.

— Куда? — спрашивает он.

— Со мной! И довольно валять дурака! — кладя на плечо ему руку, отрывисто бросает уполномоченный.

— Ну хорошо. А как же ребенок? — снова спрашивает Корвара Амидеи. — Он болен. На кого я его брошу? Видите ли, господин уполномоченный...

— Пошли, пошли, пошли! — резко обрывает его тот, не давая ему досказать. — Ваш сын будет помещен в санаторий. Вы же отправитесь со мной.

Профессор Корвара Амидеи укладывает Дольфино обратно в постель; испуганный, мальчик дрожит; он тихонько уговаривает его, подбадривает, что, дескать, все это ничего, он скоро вернется, и, сдерживая слезы, при каждом слове целует его. Один из карабинеров, потеряв терпение, хватает его за руку.

— Даже наручники? — удивлен профессор Корвара Амидеи.

В наручниках он снова наклоняется над сыном и говорит:

— Сынок, мои очки...

— Что тебе надо?.. — дрожа всем телом, до смерти перепуганный, спрашивает его Дольфино.

— Сними с меня очки, сынок... Вот так... Умница! Теперь я тебя больше не вижу...

Он поворачивается к толпе, сильно прищуривается, лицо его сжимается и открывает в улыбке желтые зубы; он съеживается, вытягивает шею, но тоска так сильно сдавливает ему горло, что на сей раз он даже не может сказать:

— Ну хорошо!

1905 (1923)

ПОКОЙНЫЙ МАТТИА ПАСКАЛЬ

РОМАН



1. ПЕРВАЯ ПОСЫЛКА СИЛЛОГИЗМА

Я знал очень мало, а достоверно мне было известно, пожалуй, только одно: меня зовут Маттиа Паскаль. И я этим пользовался. Если кто-нибудь из друзей или знакомых до такой степени терял рассудок, что приходил просить у меня совета или указания, я пожимал плечами, прищуривался и отвечал:

— Меня зовут Маттиа Паскаль.

— Спасибо, дорогой. Я это знаю.

— И тебе этого мало?

По правде сказать, этого было мало даже мне самому. Но тогда я еще не понимал, каково человеку, который не знает даже этой малости и лишен возможности ответить при случае:

— Меня зовут Маттиа Паскаль.

Иные, пожалуй, посочувствуют мне (это ведь так легко!), представив себе горе несчастного, который внезапно узнает, что... ну, словом, что у него никого нет — ни отца, ни матери, и что ему самому неизвестно, жил он или не жил. Конечно, такие люди начнут возмущаться (это ведь еще легче!) испорченностью нравов и пороками нашего жалкого века, обрекающего ни в чем не повинного бедняка на безмерные страдания.

Ну что ж, слушайте! Я мог бы представить генеалогическое древо, изображающее происхождение моей семьи, и документально доказать, что я знал не только своих родителей, но и своих предков, равно как их не всегда похвальные дела в давно прошедшие времена.

А что дальше?

А вот что: все, происшедшее со мной, очень странно и совершенно исключительно, да, да, настолько исключительно и странно, что я решил рассказать об этом.

Почти два года подряд я был хранителем книг, вернее — охотником за крысами в библиотеке, которую завещал нашему городу некий монсеньор Боккамацца, скончавшийся в 1803 году. Нет сомнения, что этот пре-

лат плохо знал привычки и характер своих сограждан, если питал надежду, что дар его постепенно пробудит в их душах любовь к знанию. Могу засвидетельствовать, что такая любовь не пробудилась до сих пор, и говорю это в похвалу моим землякам. Городок был так мало признателен Боккамацце за его дар, что не подумал даже воздвигнуть ему статую — хотя бы бюст, а книги много лет валялись кучей в большом сыром складе. Потом их вытащили оттуда — можете себе представить, в каком виде! — и перевезли в отдаленную часовенку Санта-Мария Либерале, где, не знаю уж почему, запрещено было отправлять богослужение. Здесь их без всяких инструкций вверили, как бенефиций или синекуру, некоему бездельнику с хорошей протекцией, чтобы тот за две лиры в сутки проводил в библиотеке несколько часов в день, глядя или даже не глядя на книги и дыша запахом тлена и плесени.

Такой жребий выпал и мне. С первого же дня я проникся настолько глубоким презрением к книгам, печатным и рукописным (например, к некоторым старинным фолиантам нашей библиотеки), что ни тогда, ни теперь ни за что бы не взялся за перо. Однако я уже сказал выше, что считаю свою историю действительно странной и даже поучительной для любопытного читателя, если он, осуществив давнюю надежду покойного монсиньора Боккамаццы, забредет в библиотеку, где будет храниться моя рукопись. Впрочем, рукопись эта может быть выдана ему для прочтения не раньше чем через пятьдесят лет после моей третьей, последней и окончательной смерти.

Ведь в данный момент (видит бог, мне бесконечно горько это сознавать!) я мертв. Да, да, я умер уже дважды — в первый раз по ошибке, а во второй... Впрочем, слушайте все по порядку.

2. ВТОРАЯ ПОСЫЛКА СИЛЛОГИЗМА (ФИЛОСОФСКАЯ). ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЯ

Мысль или, вернее, совет писать мне подал мой уважаемый друг дон Элиджо Пеллегринотто, нынешний хранитель книг Боккамаццы, которому я поручу свою рукопись, как только ее закончу, если это вообще когда-нибудь произойдет.

Я пишу эти записки в заброшенной часовенке при све-

те свисающего с купола фонаря, в апсиде, отведенной для библиотекаря и отделенной от зала низкой деревянной решеткой с маленькими пилястрами. Дон Элиджо тем временем пыхтит, выполняя добровольно взятую на себя обязанность и пытаюсь навести хотя бы приблизительный порядок в этом книжном вавилонском столпотворении. Боюсь, однако, что ему не удастся довести дело до конца. Никто из прежних библиотекарей не пытался выяснить, хотя бы даже по корешкам, какого рода книги подарил городу прелат. Считалось, что все они — душеспасительного свойства. Теперь Пеллегринотто, к великой своей радости, обнаружил в библиотеке книги на самые разные темы; а так как их перевозили и сваливали как попало, путаница получилась невообразимая. Книги, оказавшиеся по соседству, склеились, рассказав самые немислимые комбинации. Дон Элиджо рассказывал мне, например, что ему стоило большого труда отделить «Жизнь и смерть Фаустино Матеруччи, бенедиктинца из Полироне, которого кое-кто именует блаженным», биографию, изданную в Мантуе в 1625 году, от весьма непристойного трактата в трех книгах «Искусство любить женщин», написанного Антониом Муццием Порро в 1571 году. Из-за сырости переплеты этих двух книг по-братски соединились. Кстати, во второй книге этого непристойного трактата подробно говорится о жизни и любовных приключениях монахов.

Много занятых и приятнейших сочинений извлек дон Элиджо Пеллегринотто из шкафов библиотеки, целый день просиживая на лесенке, взятой им у фонарщика. Иногда, найдя какую-нибудь интересную книгу, он ловко бросал ее сверху на громадный стол, стоявший посредине часовенки; эхо гулко вторило удару, поднималась туча пыли, из которой испуганно выскакивало несколько пауков; я прибежал из апсиды, перепрыгивая через загородку, и сначала той же книгой прогонял пауков с пыльного стола, а потом открывал ее и начинал просматривать.

Так постепенно я приохотился к подобного рода чтению. Дон Элиджо говорил мне, что моя книга должна быть написана по образцу тех, которые он находит в библиотеке, то есть должна иметь свой особый аромат. Я пожимал плечами и отвечал, что эта задача не для меня. Кроме того, меня удерживало еще кое-что.

Вспотевший и запыленный, дон Элиджо спускался с лестницы и шел подышать воздухом в обнесенный за-

борчиком из прутьев и колышков огородик, который ему удалось развести позади апсиды.

— Знаете, мой уважаемый друг, — сказал я ему однажды, сидя на низенькой садовой стене и опираясь подбородком о набалдашник трости, в то время как дон Элиджо окапывал латук, — по-моему, теперь не время писать книги даже для забавы. В отношении литературы, как и в отношении всего остального, я должен повторить свое любимое изречение: «Будь проклят Коперник!».

— Ой-ой-ой, при чем тут Коперник? — воскликнул дон Элиджо, выпрямляясь и поднимая раскрасневшееся от работы лицо, затененное соломенной шляпой.

— При том, дон Элиджо, что когда земля не вертелась...

— Ну вот еще! Она всегда вертелась!

— Неправда! Человек этого не знал, а значит, для него она не вертелась. Для многих она и теперь не вертится. На днях я сказал это одному старику крестьянину, и знаете, что он мне ответил? Что это удобное оправдание для пьяниц. Простите, но и вы сами не имеете, в конце концов, права сомневаться в том, что Иисус Навин остановил солнце. Впрочем, довольно об этом. Я хочу лишь сказать, что когда земля не вертелась, человек, одетый греком или римлянином, выглядел весьма величественно, чувствовал себя на высоте положения и наслаждался собственным достоинством; по этой причине ему и удавались обстоятельные рассказы, полные ненужных подробностей. Как вы сами учили меня, у Квинтилиана сказано, что история существует для того, чтобы писать ее, а не для того, чтобы переживать. Так или нет?

— Так, — согласился дон Элиджо, — но верно и другое: никогда не писали более обстоятельных книг, никогда не входили в более ничтожные подробности, как с тех пор, когда, по вашим словам, земля начала вертеться.

— Ну хорошо! «Господин граф поднимался рано, точно в половине девятого... Госпожа графиня надела сиреневое платье с роскошной кружевной отделкой у шеи... Терезина умирала с голоду, Лукреция изнемогала от любви...» О, господи, да какое мне до этого дело! Разве не находимся все мы на невидимом волчке, опаленном лучами солнца, на безумной песчинке, которая вертится и вертится, сама не зная почему, без всякой цели, словно ей просто нравится вертеться, чтобы нам было то чуточку теплее, то чуточку холоднее? А после шестидесяти — семидесяти ее оборотов мы умираем, причем нередко

с сознанием того, что жизнь наша — вереница мелких и глупых поступков. Милый мой дон Элиджо, Коперник, Коперник — вот кто безвозвратно погубил человечество. Теперь мы все постепенно приспособились к концепции нашей бесконечной ничтожности, к мысли, что мы, со всеми нашими замечательными изобретениями и открытиями, значим во вселенной меньше, чем ничто. Какую же ценность могут иметь рассказы не говорю уж о наших личных страданиях, но даже о всеобщих бедствиях? Теперь это только история ничтожных червей. Вы читали о небольшой катастрофе на Антильских островах? Нет? Бедняжка земля, устав бесцельно вертеться по желанию польского каноника, слегка всплыла и изрыгнула чуточку огня через один из своих бесчисленных ртов. Кто знает, чем вызвано это разлитие желчи? Может быть, глупостью людей, которые никогда не были так надоедливы, как ныне. Ладно. Несколько тысяч червяков поджарилось. Будем жить дальше. Кто вспомнит о них?

Дон Элиджо Пеллегринотто все же заметил мне, что с какой бы жестокостью мы ни старались сокрушить, уничтожить иллюзии, созданные для нашего блага заботливой природой, нам это не удастся: человек, к счастью, забывчив.

Это правда. В иные ночи, отмеченные на календаре, наш муниципалитет не зажигает фонарей и часто — в пасмурную погоду — оставляет нас в темноте.

А это доказывает следующее: в глубине души мы и теперь верим, что луна горит в небе только для того, чтобы освещать нас ночью, как солнце освещает днем, а звезды — чтобы радовать нас великолепным зрелищем. Именно так. Нам часто хочется забыть, что мы лишь ничтожные атомы и что у нас нет оснований уважать и ценить друг друга, ибо мы способны драться из-за кусочка земли и грустить о таких вещах, которые показались бы нам бесконечно мелкими, если бы мы по-настоящему прониклись сознанием того, что мы собой представляем.

Несмотря на это предупреждение, я, ввиду необычности моей истории, все-таки расскажу о себе, но расскажу насколько возможно короче, сообщая лишь те сведения, которые сочту необходимыми.

Некоторые из них, конечно, представят меня не в очень-то выгодном свете; но я сейчас нахожусь в таких исключительных условиях, что могу считать себя как бы

стоящим за пределами жизни, а следовательно, свободным от каких-либо обязательств и какой-либо щепетильности.

Итак, начнем.

3. ДОМ И КРОТ

Вначале я чересчур поторопился, сказав, что знал своего отца. Я его не знал. Мне было четыре с половиной года, когда он умер. Тридцати восьми лет от роду он поехал по торговым делам на одном из своих кораблей на Корсику и не вернулся: он умер там в три дня от злокачественной лихорадки, оставив порядочное состояние жене и двум детям — Маттиа (которым я был и когда-нибудь снова стану) и Роберто, родившемуся на два года раньше меня.

Кое-кто из местных старожилов любит порой намекнуть, что богатство моего отца (которое теперь не должно бросать на него тень, потому что оно целиком перешло уже в другие руки) было, скажем мягко, таинственного происхождения.

Говорят, что он добыл его в Марселе, обставив в карты капитана английского торгового судна, который, спустив все деньги, какие у него были с собой (вероятно, порядочную сумму), проиграл также большое количество серы, погруженной в далекой Сицилии для одного ливерпульского негоцианта, зафрахтовавшего пароход, — знают даже это! А имя? Это никого не интересует; после проигрыша капитан в отчаянии снялся с якоря, вышел в море и утопился, так что по прибытии в Ливерпуль тоннаж парохода уменьшился на вес капитана. Итак, балластом удачи моего отца служила зависть его сограждан.

Мы владели землей и домами. Мой отец был предприимчив и хитер и потому не занимался коммерцией в каком-нибудь одном определенном месте, а путешествовал на своем двухмачтовом суденышке, покупая, где ему было удобнее и выгоднее, и сейчас же перепродавая самые разнообразные товары; однако он не увлекался слишком большими и рискованными операциями и постепенно обращал свою прибыль в земли и дома здесь, в своем родном местечке, где, вероятно, рассчитывал вскоре отдохнуть в мире и довольстве с женой и детьми, наслаждаясь достатком, добытым с таким трудом. Так, он купил сначала участок Дуэ-Ривьере, богатый оливами

и шелковицей, потом Стиа, щедро орошаемое красивым ручьем, на котором он выстроил мельницу; потом всю возвышенность Спероне — лучшие виноградники в нашей округе — и, наконец, Сан-Роккино, где возвел прелестную виллу. В городке, кроме дома, в котором мы жили, отец приобрел еще два других, а также большое здание, приспособленное ныне под верфь.

Его почти скоропостижная смерть принесла нам разочарование. Моя мать, не способная сама управлять наследством, вынуждена была довериться человеку, которому отец оказал столько благодеяний, что его общественное положение совершенно изменилось. Этому человеку перепало от нас так много, что он должен был бы питать к нам хоть чуточку признательности, которая не потребовала бы от него никаких жертв, разве что немного рвения и честности.

Святая женщина — моя мать! От природы тихая и застенчивая, она не знала жизни и людей и рассуждала со всем как ребенок. Она говорила в нос и так же смеялась, хотя, словно стыдясь своего смеха, неизменно сжимала при этом губы. Очень хрупкая, она после смерти отца стала прихварывать, но никогда не жаловалась на свои страдания; думаю, что она никогда даже мысленно не досадовала на них, покорно принимая все как естественное следствие своего несчастья. Может быть, она просто думала, что ей следовало бы умереть с горя, и благодарила бога за то, что он, ради ее детей, оставляет жизнь такому измученному и жалкому существу, как она.

К нам она питала почти болезненную нежность, трепетную и боязливую. Она хотела, чтобы мы постоянно были около нее, словно боялась потерять нас, и стоило кому-либо из нас на минуту отлучиться, как прислугу немедленно отряжали разыскивать пропавшего по всему нашему большому дому.

Она слепо подчинялась мужу и, лишившись его, почувствовала себя потерянной в этом мире. Теперь она выходила из дому только рано утром по воскресеньям, когда отправлялась к мессе в ближайшую церковь в сопровождении двух старых служанок, с которыми она обращалась как с родственницами. Занимали мы в большом доме всего три комнаты; в остальных, за которыми кое-как присматривала прислуга, мы шалили. Обветшалая мебель и выцветшие занавеси в этих комнатах источали затхлый запах, свойственный старинным вещам и кажущийся дыханием другой эпохи; я вспоминаю, что

нередко подолгу осматривался там вокруг, изумленный и подавленный молчаливой неподвижностью этих предметов, столько лет стоявших без движения, без жизни.

Одной из самых частых посетительниц мамы была сестра отца, старая дева с глазами как у хорька, ворчливая, смуглая, гордая. Звали ее Сколастика. Но она никогда не оставалась у нас подолгу, потому что во время разговора внезапно приходила в ярость и убегала, ни с кем не попрощавшись. Ребенком я ее очень боялся. Я глядел на нее во все глаза, в особенности когда она в бешенстве вскакивала и начинала кричать моей матери, гневно топая ногой:

— Слышишь? Под полом яма. Это крот! Крот!

Она намекала на нашего управляющего Маланью, который исподтишка рыл яму у нас под ногами. Тетя Сколастика (это я узнал позже) хотела, чтобы мать во что бы то ни стало вторично вышла замуж. Обычно золовкам такие мысли не приходят в голову и таких советов они не дают. Но у Сколастики было острое и гордое чувство справедливости; оно-то, в еще большей мере, чем любовь к нам, не позволяло ей спокойно смотреть, как этот человек безнаказанно обкрадывает нас. Вот почему, сознавая, как непрактична и слепо доверчива моя мать, Сколастика видела лишь один выход из положения — второй брак. И она прочила маме в мужья одного беднягу, по имени Джероламо Помино. Он был вдовец и жил с сыном, который здравствует поныне; зовут его, как и отца, Джероламо; он мой большой друг и даже больше чем друг, как будет ясно из дальнейшего. Еще мальчиком он приходил к нам вместе с отцом и приводил в отчаяние меня и моего брата Берто. Отец его в юности долго добивался руки тети Сколастики, но она и слышать не хотела о нем, как, впрочем, не хотела и никого другого, и не потому, что от природы была не способна любить, но потому, что, как она сама признавалась, даже отдаленное предположение об измене, хотя бы мысленной, любимого человека могло довести ее до преступления. Все мужчины, по ее мнению, были притворщики, мошенники и обманщики. И Помино тоже? Нет. Помино — нет. Но она убедилась в этом слишком поздно. За каждым мужчиной, который к ней сватался, а потом женился на другой, ей удавалось узнать какой-нибудь изменнический поступок, чему она свирепо радовалась. За Помино же таких грехов не водилось: несчастный был жертвой своей жены.

Почему же она не хотела выйти за него теперь? Вот еще! Ведь он уже вдовец! Он принадлежал другой женщине, о которой он, может быть, станет по временам вспоминать. И потом... Ну конечно, это же видно за милую, несмотря на всю его робость! Бедный синьор Помино влюблен, да, влюблен, и понятно в кого!

Да разве моя мать могла согласиться на такой брак? Он казался ей самым настоящим кощунством. К тому же бедняжка и не верила, что тетя Сколастика говорит серьезно; она смеялась своим неповторимым смехом над гневными вспышками зловки и протестами бедного Помино, который обычно присутствовал при этих спорах и которого старая дева осыпала самыми преувеличенными похвалами. Сколько раз он восклицал, ерзая на стуле, как на ложе пытки:

— Боже все милостивый!

У этого чистенького, аккуратенького человечка с добрыми голубыми глазками была одна слабость — он пудрился и, как мне кажется, даже слегка поддрумянивал щеки; он явно гордился тем, что у него до преклонных лет сохранились волосы, которые он заботливо взбивал и постоянно охорашивал.

Не знаю, как пошли бы наши дела, если бы моя мать, не ради себя, а лишь заботясь о будущем своих детей, последовала совету тети Сколастики и вышла замуж за Помино. Несомненно одно: они, во всяком случае, шли бы не хуже, чем при этом кроте, синьоре Маланье.

Когда мы с Берто подросли, большая часть состояния уже исчезла. Спаси мы из когтей вора хотя бы остаток, это позволило бы нам жить если уж не в полном довольстве, то по крайней мере не нуждаясь. Но мы были лентяи и ни о чем не желали думать, продолжая и взрослыми жить так, как мать приучила нас с детства.

Мы у нее не ходили даже в школу. Нашим воспитателем был некто Циркуль. По-настоящему его звали не то Франческо, не то Джованни дель Чинкуе, но всем он был известен как Циркуль и так к этому привык, что сам стал именовать себя этим прозвищем.

Это был омерзительно худой и невероятно высокий человек. Боже мой, он казался бы еще выше, если бы его спина не изгибалась под самым затылком внезапным небольшим горбиком, словно ей наскучило тонким ростком тянуться вверх. Шея у него была как у ощипанного петуха, а громадный кадык непрерывно двигался то вверх, то вниз. Циркуль вечно старался закусить губы,

словно для того, чтобы удержать и поглубже запрятать постоянно пробивавшийся сквозь них резкий смешок. Но все его усилия оказывались тщетными: если этому смешку не удавалось сорваться со сжатых губ, он издевательски и зло светился в глазках Циркуля.

Этими маленькими глазками он видел у нас в доме многое, чего не замечали ни мы, ни мама. Но он молчал, может быть считая, что вмешиваться — не его дело, втайне злобно наслаждаясь тем, что видел.

Мы делали с ним все, что хотели, и он позволял нам все, а затем, словно желая успокоить свою совесть, выдавал нас, когда мы меньше всего этого ожидали.

Однажды, например, мама велела ему повести нас в церковь; наступала пасха, и мы готовились исповедоваться. После исповеди мы должны были на минутку взглянуть к больной жене Маланьи, затем вернуться прямо домой. Но, едва очутившись на улице, мы предложили Циркулю сделку: мы ставим ему литр хорошего вина, а он разрешает нам вместо церкви и посещения Маланьи пойти в Стиа за птичьими гнездами. Циркуль согласился. Он был очень доволен, потирал руки, глаза его сверкали. Затем он выпил вино, и мы направились в имение. Он бегал с нами три часа как сумасшедший, помогал нам, лазил с нами по деревьям. Но вечером, когда мы вернулись домой и мама спросила, исповедовались ли мы и были ли у Маланьи, он с самым невинным видом ответил:

— А вот сейчас расскажу...

И подробно рассказал обо всем, что мы делали.

И хотя мы каждый раз мстили за предательство, ничто не помогало. А ведь месть наша часто бывала отнюдь не шуточной. Например, однажды вечером, зная, что Циркуль в ожидании ужина дремлет на сундуке в передней, мы с Берто тихонько соскочили с постелей, куда нас в наказание уложили раньше обычного, раздобыли оловянную клистирную трубку в две пяди длиной и наполнили ее мыльной водою из таза с бельем; вооруженные таким образом, мы тихонько подошли к учителю, приставили трубочку к ноздре и — пффф!.. Циркуль подскочил чуть ли не до потолка.

Нетрудно представить себе, как мы преуспевали в науках под руководством подобного наставника. Конечно, виноват был не один Циркуль; он все же старался чему-то нас выучить и, не имея представления о том, что такое метод и дисциплина, изобретал всевозможные уловки

чтобы заставить нас хоть как-то сосредоточиться. Со мной ему это удавалось сравнительно часто, потому что я по натуре гораздо впечатлительней брата. Но эрудиция у Циркуля была очень своеобразная, забавная и странная. Он, например, был весьма сведущ по части игры слов, знал фиденцианскую и макароническую, бурлескную и ученую поэзию¹, мог без конца декламировать стихи — тавтограммы и липограммы, крипты, центоны и палиндромы² — словом, произведения всех жанров, в которых подвизались поэты-праздноречивые, и немало таких шуточных стихотворений сочинял сам.

Помню, что однажды в Сан-Роккино он привел нас к холму, отличавшемуся особыми акустическими свойствами, и начал вместе с нами повторять свое «Эхо»:

¹ Фиденцианская поэзия — в сущности, разновидность макаронической. Получила наименование от литературного псевдонима своего основоположника, графа Камилло Скроффа Фиденцио Глоттокризю Лудима-Гистро (1527—1565). В основе фиденцианской поэзии лежит сатирическое пародирование стиля и языка псевдоученых педантов. Макароническая поэзия возникла в Италии в конце XV века в среде гуманистов, развивалась в XVI и XVII веках. Отличительные ее черты: пародийность, острая сатиричность, зачастую весьма непристойный словарь (и соответственная тематика), смешение (в плане пародии и сатиры) итальянского и латинского языков. Бурлескная поэзия — от итал. *burlesca* (шутка). Одно из общих наименований всякой шуточной, комической поэзии, основанной на пародийном снижении всех высоких литературных жанров. Возникла еще в античную эпоху, в новое же время получила особенное развитие в XVII и XVIII веках. Ученая поэзия — общее наименование поэтических упражнений ученых гуманистов Ренессанса и литераторов XVII—XVIII веков, где не было подлинного творческого вдохновения, но зато выставлялось на первый план знакомство авторов с латинской и греческой филологией, мифологией, философией, где подражали античной метрике и т. п. К ученой поэзии относятся также произведения дидактического характера (типа ломоносовского послания Шувалову «О пользе стекла»).

² — Тавтограммы — стихи, сплошь построенные на одной аллитерации (каждое слово стихотворения любой длины начинается с одной и той же буквы). Липограммы — стихи, построенные на словах, в которых отсутствует одна какая-либо буква. Крипты, или «кусочные» стихи, — стихи, в которых каждая строка распадается на две половины. Если эти половинки строк читать одну за другой, получается самостоятельное стихотворение. Таким образом, каждое стихотворение представляет собой три отдельных стихотворения: одно, состоящее из левых половинок, другое из правых половинок и, наконец, «полное» стихотворение, в котором обе половинки читаются как одна строка. Центоны — стихи, имеющие определенный смысл, но составленные из различных стихотворных строк разных поэтов. Палиндромы — стихи, состоящие из строчек, которые могут читаться одинаково справа налево и слева направо.

Ужель она меня навек забудет?
(Будет!)
А может, не любила никогда?
(Да!)
Насмешник, кто ты? Мне ведь не до смеха!
(Эхо!)

Он заставлял нас разгадывать «Загадки-октавы» Джулио Чезаре Кроче¹, а также «Загадки-сонеты» Монети² и другого бездельника, который нашел в себе мужество скрыться под псевдонимом Катона Утического. Он переписал их чернилами табачного цвета в старую тетрадку с пожелтевшими листами.

— Послушайте-ка вот это стихотворение Стильяни³. Как красиво! Ну, кто догадается? Слушайте:

Я и одна, и две. Но в должный час
Что было два — единым вдруг бывает.
Нет тем числа на голове у нас,
В кого пятью меня одна вонзает.
Я также в рот огромный разрослась,
Что без зубов еще больней кусает.
И два пупка даны судьбою мне,
И пальцы на очах, и очи на ступне.

Мне кажется, я и сейчас вижу, как он декламирует, полузакрыв глаза, сияя от восторга и прищелкивая пальцами.

Моя мать полагала, что нам вполне достаточно того, чему учит нас Циркуль; может быть, слушая, как мы декламируем загадки Кроче или Стильяни, она считала даже, что мы знаем слишком много. Однако тетя Сколастика, которой не удалось выдать маму замуж за своего любимчика Помино, взялась за Берто и меня. Мы же под защитой мамы не поддавались ей, и это приводило ее в такую ярость, что если бы ей удалось остаться с нами наедине, без свидетелей, она наверняка содрала бы с нас кожу. Помню, однажды, выбегая, как обычно, в бешенстве из нашего дома, она столкнулась со мною в одной из нежилых комнат; схватив меня за подборо-

¹ Кроче Джулио Чезаре (1550—1609) — итальянский поэт, сатирик и юморист, писавший преимущественно на болонском диалекте.

² Монети Франческо (1635—1712) — итальянский монах и сатирический поэт, славившийся как ловкий версификатор.

³ Стильяни Томмазо (1573—1651) — итальянский поэт, декларативно выступавший против крайнего формализма «барочных» поэтов и их усложненной изысканной образности, но на практике проводивший в своем творчестве ту же линию.

док, она из всех сил сжала его пальцами и, все ближе наклоняясь к моему лицу и сверля взглядом мои глаза, несколько раз повторила: «Красавчик! Красавчик! Красавчик!» — а затем, странно хрюкнув, отпустила меня и прорычала сквозь зубы: «Собачье отродье!».

Меня она почему-то преследовала больше, чем Берто, хотя я несравненно внимательнее брата относился к сумасбродным поучениям Циркуля. Ее, вероятно, особенно раздражали безмятежное выражение моего лица и большие очки, которые меня заставляли носить, чтобы исправить один глаз, неизвестно почему смотревший куда-то в сторону.

Для меня эти очки были настоящей пыткой. В один прекрасный день я выбросил их и позволил своему глазу смотреть туда, куда ему больше нравится. Но если бы даже мой глаз не был косым, это не прибавило бы мне красоты. Я был совершенно здоров, и этого мне было достаточно.

В восемнадцать лет мое лицо заросло рыжеватой кудрявой бородицей в ущерб носу, который у меня был маловат и почти терялся между бородой и большим строгим лбом.

Если бы человеку было дано самому выбирать себе нос, соответствующий лицу, или если бы мы при виде какого-нибудь бедняги, подавленного слишком большим носом на тощем личике, могли сказать ему: «Этот нос мне подходит, я его беру», — я, пожалуй, переменял бы его, а заодно и глаза и другие части моей особы. Но, отлично зная, что это невозможно, я примирился со своими прелестями и больше о них не думал.

Напротив, Берто, который был красив и телом, и лицом (по крайней мере в сравнении со мной), не отходил от зеркала, всячески охорашивал себя и без конца тратил деньги на новые галстуки, на все более тонкие духи, на белье и одежду. Чтобы поддразнить его, я однажды взял из его гардероба новенький, с иголочки, фрак, элегантнейший черный бархатный жилет и цилиндр и в таком виде отправился на охоту.

Батта Маланья между тем плакался матери на плохие урожаи, вынуждавшие его делать большие долги, чтобы оплачивать наши чрезмерные траты, и на большие расходы, которые неизбежны, если хочешь содержать имение в порядке.

— Мы получили еще один серьезный удар! — объявлял он всякий раз, когда входил.

Туман погубил на корню все оливки в Дуэ-Ривьере, а филлоксеру — виноград в Спероне. Нужно посадить американскую лозу, которая может противостоять этой болезни. Значит — снова долги. Потом совет — продать Спероне, чтобы освободиться от осаждающих его, Маланью, ростовщиков. И так были проданы сначала Спероне, затем Дуэ-Ривьере, потом Сан-Роккино. Оставались еще дома и имение Стиа с мельницей, но моя мать со дня на день ждала сообщения, что ручей высох.

Конечно, мы были бездельниками и тратили, не считая. Но правда и то, что такого вора, как Батта Маланья, свет не видывал. Это самое мягкое, что можно сказать, принимая во внимание родственные отношения, в которые я вынужден был с ним вступить.

Пока моя мать была жива, он ловко доставлял нам все, чего мы желали. Но за всем этим довольством и возможностью легко удовлетворять любой каприз скрывалась пропасть, которая после смерти матери поглотила меня одного; мой брат, к счастью, вовремя выгодно женился. А мой брак, напротив...

— Как вы полагаете, дон Элиджо, надо мне рассказать о моем браке?

— А как же? Конечно!.. По-хорошему... — отозвался дон Элиджо с высоты своей фонарной лесенки.

— Как это по-хорошему?! Вы же отлично знаете, что...

Дон Элиджо смеется, и бывшая часовенка вторит ему. Потом он замечает:

— Будь я на вашем месте, синьор Паскаль, я прочел бы сначала какую-нибудь новеллу Боккаччо или Банделло. Для стиля, для тона...

Бог с ним, с вашим тоном, дон Элиджо. Уф! Я пишу, как взбредет в голову.

Ну что же, смелее вперед!

4. БЫЛО ТАК

Однажды на охоте я в странном волнении остановился перед низеньким толстеньким стогом, из которого торчал шест, увенчанный горшком.

— Я тебя знаю! — сказал я. — Я тебя знаю... — Потом внезапно воскликнул: — Ты же Батта Маланья!

Схватив лежавшие на земле вилы, я с такой страстью воткнул их стогу в брюхо, что горшок чуть не свалился с шеста. Ну вылитый Батта Маланья, когда он, потев и отдуваясь, надевает шляпу набекрень!

Он как-то весь скользил: скользили вверх и вниз по длинному лицу брови и глаза; скользил нос над нелепыми усами и подбородком, скользили плечи, скользил дряблый живот, свисавший почти до земли, потому что портной, видя, как висит брюшко над толстенькими ножками, вынужден был скроить их владельцу самые необъятные брюки, и издали казалось, будто вместо штанов на Батте Маланье надет длинный сюртук.

Не могу понять, как при подобном лице и телосложении Маланья мог быть таким вором. По-моему, даже воры должны иметь какой-то вид, а у него и вида-то никакого не было. Он ходил тихо, покачивая животом, заложив руки за спину и с большим трудом выдавливая из себя мягкие, мяукающие звуки. Хотелось бы мне знать, как примирял он со своею совестью все те кражи, которые совершал в ущерб нам. Как я уже говорил, оправдываться перед нами у него не было надобности, но должен же он был хотя бы для самого себя придумать какую-нибудь причину, какое-нибудь извинение. Может быть, бедняга крал просто для того, чтобы развлечься.

Его действительно страшно подавляла жена, одна из тех женщин, которые требуют уважения к себе.

Он сделал ошибку, выбрав жену из более высокого круга, чем его собственный, очень низкий. Выйди эта женщина за ровню, она не была бы такой тщеславной; Маланья же она, естественно, при малейшей возможности стремилась напомнить, что она из хорошей семьи и что у них дома поступали так-то и так-то. И Маланья, чтобы походить на синьора, послушно поступал так, как требовала жена. Но это стоило ему дорого и всегда вгоняло его в пот.

К тому же вскоре после свадьбы синьора Гуенальдина заболела неизлечимым недугом, исцелиться от которого она могла лишь ценой непосильной для нее жертвы — не более не менее, как отказа от дорогих ее сердцу пирожков с трюфелями и тому подобных лакомств, а в особенности от вина. Разумеется, она пила не много — она же была из хорошей семьи, но вина ей не следовало даже в рот брать.

Когда мы с Берто были мальчиками, нас иногда при-

глашали к Маланье обедать. Было очень занятно слушать, как он с соответственными подходами читал жене проповедь о воздержании, в то время как сам не то что ел, а сладострастно пожирал самые сочные блюда.

— Не понимаю, — говорил он, — как это ради мгновенного наслаждения, которое испытываешь, проглатывая кусочек вроде этого (и он глотал кусок), человек идет на то, чтобы потом целый день болеть. Ну что тут особенно вкусного, а? Уверен, что, поддавшись такому соблазну, я чувствовал бы себя после этого глубоко униженным. Розина! (Он подзывал служанку.) Дай-ка мне еще немножко. И вкусный же, однако, этот майонез!

— Майонез? — яростно взрывалась жена. — Довольно! Смотри, бог даст, ты еще поймешь, что такое большой желудок. Вот тогда ты научишься быть внимательным к жене.

— Как, Гуенальдина! Разве я не внимателен к тебе? — восклицал Маланья, подливая себе вина.

Вместо ответа жена поднималась, вырывала у него из рук стакан и выплескивала его за окно.

— Ну зачем же так? — стонал бедняга, не вставая с места.

— Затем, что для меня это яд! Ты же видишь, что я налила и себе глоточек. Так вот, возьми и вылей его за окно, как сделала я, понятно?

Маланья, обиженно улыбаясь, поочередно смотрел на Берто, на меня, на окно, на стакан, а потом говорил:

— Боже мой, но разве ты ребенок? Чтобы я?.. Насильно?.. Нет, дорогая, ты сама должна надеть на себя узду рассудка...

— Но как? — кричала жена. — У меня же вечно соблазн перед глазами. Я вижу, как ты нарочно пьешь, смакуешь, рассматриваешь вино на свет, чтобы раздражать меня. Убирайся, я тебе говорю. Другой бы муж, чтобы не мучить меня...

Маланья пошел и на это: он отказался от вина, чтобы подать жене пример воздержанности и не мучить ее. Зато он крал. Ну и что? Нужно же было и ему что-нибудь делать.

Однако несколько позже он узнал, что синьора Гуенальдина пьет потихоньку от него. Получалось так, что вино не причиняет ей вреда, лишь бы муж не знал об этом. Тогда и он, Маланья, начал пить, но вне дома, чтобы не раздражать жену.

Правда, красть он все же продолжал. Я знаю, что Маланья всем сердцем желал, чтобы жена вознаградила его за те бесконечные огорчения, которые она ему доставляла, и наконец произвела на свет ребенка. Тогда его воровство имело бы цель, оправдание — чего не сделаешь для блага детей!

Между тем жене день ото дня становилось хуже, и Маланья не смел даже высказать ей свое пламенное желание. А вдруг она бесплодна от рождения? Больную надо беречь: не дай бог, она еще умрет от родов... Кроме того, всегда есть и другой риск: что, если она не доносит ребенка?

Поэтому Маланья примирился со своей бездетностью.

Искренне ли? Достаточно ли он доказал это после смерти синьоры Гуенальдины? Он оплакивал ее, о, горько оплакивал и всегда вспоминал с такой почтительной преданностью, что даже не пожелал взять на ее место другую синьору — да, да, не пожелал, хотя преспокойно мог бы это сделать, так как стал теперь не только толст, но и очень богат, — а женился на здоровой, цветущей, крепкой и веселой дочери одного деревенского арендатора, и то лишь для того, чтобы никто не усомнился в его способности иметь желанное потомство. Правда, он немного поторопился, но ведь надо принять во внимание, что он был уже не юноша и не мог терять время.

Оливу, дочь Пьетро Сальвони, нашего арендатора из Дуэ-Ривьере, я знал еще девочкой.

Благодаря ей моя мать уже начала надеяться, что я образумился и приобрел вкус к деревенской жизни. Бедняжка была вне себя от радости! Но однажды злобная тетя Сколастика открыла ей глаза:

— И ты не видишь, дурочка, что он постоянно ходит в Дуэ-Ривьере?

— Да, ходит — на сбор оливок.

— Одной оливки, одной, одной-единственной, идиотка!

Тогда мама задала мне славный нагоняй: я, мол, собираюсь совершить смертный грех — ввести во искушение и навсегда погубить бедную девушку, и т. д., и т. д.

Но это мне не грозило. Олива была добродетельна, несокрушимо добродетельна, потому что отлично сознавала, какой вред причинит себе, уступив мужчине. Это

избавляло ее от глупой робости и притворной стыдливости, делало смелой и развязной.

Как она смеялась! Губы — две вишни! И какие зубки!

Однако с этих губ не удавалось сорвать ни одного поцелуя. Если я брал Оливу за руку и не соглашался отпустить, пока не поцелую хотя бы ее волосы, она, чтобы наказать меня, пускала в ход зубы.

Вот все, что я от нее видел.

А теперь эта девушка, такая красивая и свежая, стала женой Батты Маланья... Ну что ж! У кого хватит мужества отказаться от богатства? Олива отлично знала, каким толстосумом стал Маланья. Как-то раз она наговорила мне о нем бог знает сколько плохого, а затем, только ради денег, взяла и вышла за него замуж.

Прошел год после свадьбы, прошло два, а детей все не было.

Маланья, еще много лет назад уверовавший в то, что у него не было детей от первой жены только из-за ее бесплодия и непрерывных болезней, даже отдаленно не подозревал, что причиной этого мог быть он сам. И он начал злиться на Оливу:

— Ничего?

— Ничего...

Он выждал еще один год — третий. Напрасно! Тогда он принялся открыто бранить вторую жену и в конце концов, потеряв всякую надежду и совершенно отчаявшись, стал беззастенчиво притеснять ее. Он кричал, что она обманула его, да, обманула своим цветущим видом, хотя только ради того, чтобы иметь ребенка, он и возвысил ее до положения своей супруги, до места, которое раньше занимала настоящая синьора, чьей памяти он никогда не нанес бы такого оскорбления, если бы не эта надежда.

Бедная Олива не находила слов для ответа. Она часто приходила к нам, ища сочувствия у моей матери, и та утешала ее добрым словом, уверяя, что Олива еще может надеяться, так как она молода, очень молода.

— Вам двадцать?

— Двадцать два.

Ну, значит, все в порядке! Бывают случаи, когда дети рождаются через десять, даже через пятнадцать лет после свадьбы.

Через пятнадцать? Но ведь Маланья уже стар, и если...

Еще на первом году супружества Олива заподозрила, что — как бы это сказать? — виновата не она, а муж, хотя он упорно это отрицал. Не попробовать ли?.. Но нет! Выходя замуж, Олива поклялась самой себе быть честной и не хотела нарушать клятву даже для того, чтобы обрести покой.

Как я узнал об этом? Да очень просто — я ведь уже сказал, что она приходила искать утешения в наш дом; сказал я также, что знал ее еще девочкой; теперь, видя, как она плачет от дурного обращения, от глупых и беззастенчивых придилок мерзкого старикашки, я... Но неужели я должен договаривать? Словом, я получил отказ, вот и все.

Я быстро утешился. В голове у меня бродило много разных мыслей, или (это одно и то же) казалось, что бродит. Водились у меня и деньги, а они, не говоря уже обо всем прочем, наталкивают на такое, до чего без них и не додумаешься. Просаживать их мне помогал Помино Джероламо Второй, который, ввиду мудрой отцовской скупости, вечно сидел на мели.

Мино был нашей тенью — то моей, то Берто, попеременно. Он менялся с удивительной обезьяньей ловкостью в зависимости от того, с кем водился — с Берто или со мной. Стоило ему прицепиться к Берто, как он тотчас же становился франтом, и тогда его отец, сам не чуждый притязаний на элегантность, чуточку отпускал шнурки кошелька. Но с Берто нельзя было дружить подолгу. Когда мой брат видел, что ему подражают даже в походке, он, вероятно из боязни показаться смешным, терял терпение, начинал третировать Помино и даже прогонял его. Тогда Мино возвращался ко мне, а его отец затягивал шнурки кошелька. У меня терпения было больше, потому что Мино развлекал меня. Потом я часто раскаивался в этом, сознавая самому себе, что из-за него я сильно перебарщивал в разных своих затеях, поступал наперекор своей натуре или слишком бурно выражал свои чувства — и все это с единственной целью: удивить приятеля или поставить его в затруднительное положение, следствием чего, естественно, были неприятности также и для меня.

Так, однажды на охоте Мино, которому я рассказал о супружеских подвигах Маланьи, признался мне, что он тоже приглядел себе девушку — дочку кузины нашего управляющего, ради которой готов наделать глупостей. Он был на это вполне способен, тем более что девушка

не казалось недоступной. Однако до сих пор ему не удавалось даже поговорить с ней.

— Сознайся, что у тебя просто не хватает смелости, — рассмеялся я.

Мино запротестовал, но что-то уж слишком сильно покраснел.

— Со служанкой я все-таки поговорил, — торопливо добавил он. — И знаешь, я узнал от нее занятные вещи! Она говорит, что ваш Маланья торчит у них в доме и, судя по его виду, замышляет что-то скверное, а эта старая ведьма кузина поддакивает ему.

— Что же он замышляет?

— Он плачется на свою беду: у него, мол, нет детей. А злобная старуха ворчит, что это ему поделом. Похоже, что она после смерти первой жены Маланьи задумала женить его на своей дочери и пускалась ради этого на все. А когда ничего не добились, стала болтать всякие пакости насчет этой скотины Маланьи, врага своей семьи, предавшего своих кровных, и так далее. Заодно бранила она и дочку за то, что та не сумела завлечь дядю. А теперь, когда старикан так кается, что не осчастливил племянницу, кто знает, какую еще предательскую штуку придумала эта ведьма.

Я заткнул уши руками и крикнул Мино:

— Замолчи!

В ту пору я был, в сущности, очень наивен, хотя и не казался таким. Тем не менее, узнав о сценах, которые происходили и происходят в доме Маланьи, я подумал, что подозрения служанки могут быть в известной мере оправданы, и мне захотелось для блага Оливы попробовать хоть немного улучшить их положение. Я попросил Мино дать мне адрес этой ведьмы. Мино забеспокоился насчет девушки.

— Не бойся, — ответил я, — ее я оставлю тебе.

На следующий день, под тем предлогом, что сегодня истекает срок одного из векселей, о чем мне якобы случайно сказала мама, я отправился искать Маланью в дом вдовы Пескаторе.

Я нарочно бежал бегом и ворвался в дом, разгоряченный и весь в поту:

— Маланья, вексель!

Если бы даже я раньше не знал, что совесть у него нечиста, я понял бы это в тот день, увидев, как он, бледный, с искаженным лицом, вскочил и забормотал:

— Ка... какой вексель?

— Тот, срок которого истекает сегодня. Меня Послала за вами мама — она очень встревожена.

Батта Маланья упал на стул и в долгом «А-а!» излил страх, который на мгновение охватил его.

— Но это же улажено!.. Все улажено!.. Черт возьми, как ты меня перепугал! Я его переписал, понятно? На три месяца, включая проценты, разумеется. И ты в самом деле бежал из-за такого пустяка? — И он закатился смехом, от которого у него долго содрогался живот; затем он указал мне на стул и представил меня дамам: — Маттиа Паскаль. Марианна Донди, вдова Пескаторе, моя кузина. Ромильда, моя племянница.

Тут же он предложил мне чего-нибудь выпить — после такого бега меня, наверно, мучит жажда.

— Ромильда, не затруднись...

Он распорядился здесь, как в собственном доме.

Ромильда встала, переглянулась с матерью и, несмотря на мои протесты, вскоре возвратилась с небольшим подносом, на котором стояли стакан и бутылка вермута. Увидев это, мать ее с недовольным видом поднялась и бросила;

— Да нет, не этот! Дай-ка сюда!

Она выхватила у дочери подносик и немного спустя вернулась с другим подносом, лакированным и сверкавшим новизной, на котором стоял великолепный ликерный прибор — посеребренный слон со стеклянной бочкой на спине, увешанный множеством слегка позванивавших рюмок.

Я предпочел бы вермут, но пить мне пришлось ликер. Маланья и его кузина выпили вместе со мной. Ромильда отказалась.

На этот раз я задержался недолго; мне нужен был предлог, чтобы прийти сюда снова. Я объявил, что тороплюсь успокоить маму насчет векселя и что на днях надеюсь подольше насладиться обществом милых хозяек.

Судя по виду, с которым попрощалась со мной Марианна Донди, вдова Пескаторе, ее не слишком обрадовало сообщение о моем вторичном визите: она опустила глаза, поджала губы и нехотя протянула мне руку, ледяную, сухую, жилистую и желтую. Зато дочь одарила меня ласковой улыбкой, обещавшей радушный прием, и нежным взглядом грустных глаз, которые с самого начала произвели на меня большое впечатление. У этих глаз, затененных длинными ресницами, был какой-то странный зеленый цвет, да и смотрели они как-то слишком мрачно

и пристально. Темные, как ночь, глаза девушки и волосы цвета воронова крыла, двумя волнами спускавшиеся на лоб и виски, особенно разительно подчеркивали ослепительную белизну кожи.

Дом был очень скромен, но среди старой мебели уже виднелись новые приобретения, претенциозные и смешные в своей вызывающей новизне, например: две большие майоликовые, еще ни разу не зажигавшиеся лампы с матовыми стеклянными колпаками вычурной формы, стоявшие на непритязательном столике с доской из пожелтевшего мрамора, на которой было укреплено потускневшее зеркало в круглой, кое-где облупившейся раме, напоминавшей разинутый рот голодного. Перед расшатанным диванчиком стоял столик на четырех позолоченных ножках с фарфоровой доской, расписанной ярчайшими цветами, чуть поодаль — стенной шкафчик японского лака и прочие сокровища. Глаза Маланья с явным удовольствием останавливались на всех этих новых вещах, равно как на ликерном приборе, триумфально внесенном в комнату его кузиной, вдовой Пескаторе.

Стены почти сплошь были увешаны старыми, хотя отнюдь не безобразными гравюрами; некоторыми из них Маланья предложил мне полюбоваться, утверждая, что это произведения Франческо Антонио Пескаторе, его кузена, замечательного гравера (скончавшегося в Турине, в сумасшедшем доме, добавил он тихо); он пожелал также показать мне его автопортрет:

— Написан собственноручно, перед зеркалом.

Только что, глядя на Ромильду, а затем на ее мать, я решил: «Наверно, она походит на отца». Теперь, глядя на портрет, я не знал, что и думать.

Я не осмеливался делать оскорбительные предположения. Я считал Марианну Донди, вдову Пескаторе, способной на все, но как представить себе мужчину, да к тому же еще красивого, который мог бы в нее влюбиться, если, конечно, он не умалишенный, еще более умалишенный, чем ее покойный муж?

Я сообщил Мино впечатление от своего первого визита. Я говорил ему о Ромильде с таким пылким восхищением, что он сейчас же зажегся, радуясь, что мне она тоже очень понравилась и что я одобряю его выбор.

Тогда я спросил, какие у него намерения. Мать, конечно, совершенная ведьма, но дочка, я готов в этом поклясться, честная девушка. И я не сомневаюсь, что

Маланья задался какой-то низкой целью; следовательно, нужно любой ценой и как можно скорее спасти бедняжку.

— Но как? — спросил меня Помино, ловивший каждое мое слово как зачарованный.

— Как? Подумаем. Нужно прежде всего все проверить, проникнуть в суть всех отношений, хорошо все изучить. Понимаешь, решение нельзя принимать вот так, на ходу. Предоставь действовать мне, я тебе помогу. Это приключение мне нравится.

— Да... но... — робко возразил Помино, который, увидя мое воодушевление, начал уже чувствовать себя не в своей тарелке. — Может быть, считаешь — жениться на ней?

— Пока я ничего не считаю. А ты, чего доброго, не боишься?

— Нет. С чего ты взял?

— С того, что ты чересчур уж торопишься. Не спеши, обдумай все хорошенько. Если мы убедимся, что она такая, какой кажется, — добрая, умная, порядочная (в том, что она красива и нравится тебе, нет сомнения, верно?), и если она из-за низости матери и этого негодяя подвергается серьезной опасности, обречена на позор, на омерзительную самопродажу, неужели ты остановишься перед таким достойным и святым поступком, как спасение ближнего?

— Я-то нет... Нет! — пробормотал Помино. — Но мой отец?..

— Он будет возражать? Из-за чего? Из-за приданого, не правда ли? Да, только из-за этого. Знаешь, она ведь — дочь художника, выдающегося художника, умершего... ну, в общем, честно умершего в Турине. Но ведь твой отец богат, и ты у него один; значит, тебе хватит на жизнь и без приданого! А если уж его не удастся убедить, тоже не бойся: улетишь из гнезда, и все устроится. Помино, неужели у тебя сердце из пакли?

Помино засмеялся, и я как дважды два — четыре доказал ему, что он прирожденный муж, как иные бывают прирожденными поэтами. Я описал ему самыми живыми и соблазнительными красками его семейное счастье с Ромильдой, привязанность, заботы, благодарность, которыми она окружит своего спасителя. И в заключение объявил:

— Теперь ты должен найти способ и возможность привлечь ее внимание, поговорить с ней или написать ей.

Видишь ли, для нее, опутанной этим пауком, твое письмо может стать якорем спасения. А я покамест буду почаще бывать у них в доме, чтобы следить за происходящим, улучу момент и представлю тебя. Понятно?

— Понятно.

Почему мне так захотелось выдать Ромильду замуж? Да просто так; я любил удивлять Помино. Я говорил и говорил, и все трудности словно исчезали. Я был пылок и ко всему относился легкомысленно. Может быть, именно поэтому женщины и любили меня в те дни, несмотря на мое легкое косоглазие и нескладную фигуру. На этот раз, признаюсь, я воспламенился еще больше из-за желания разорвать мерзкую паутину, сплетенную грязным стариком, оставить его с носом и помочь бедной Оливе, а также — почему бы и нет? — сделать добро девушке, которая действительно произвела на меня большое впечатление.

Разве я виноват, что Помино слишком робко выполнял мои предписания? Разве я виноват, что Ромильда влюбилась в меня вместо Помино, хотя я постоянно твердил ей о нем? Виноват ли я в конце концов, что хитрая Марианна Донди, вдова Пескаторе, убедила меня, будто я в самое короткое время сумел преодолеть ее недоверчивость и даже сотворить чудо — несколько раз рассмешить ее своими странными выходками? Постепенно она начала складывать оружие; меня стали принимать хорошо. Я думал, что, видя у себя в доме богатого юношу (я тогда еще считал себя богатым), который по всем признакам явно влюблен в ее дочь, вдова Пескаторе в конце концов отказалась от своего низкого замысла, если, конечно, он когда-нибудь вообще приходил ей в голову. Признаюсь, в конце концов я сам стал сомневаться в этом.

Конечно, я должен был бы обратить внимание на то, что мне больше не приходилось встречаться с Маланьей у нее в доме и что не без причины же она принимала меня только по утрам. Но разве стоило придавать этому значение? Казалось, так естественно, что, желая чувствовать себя посвободней, я каждый раз предлагал прогуляться по окрестностям именно утром — это всегда приятней. К тому же я и сам влюбился в Ромильду, хотя продолжал постоянно рассказывать ей о любви Помино; да, влюбился как сумасшедший в эти прекрасные глаза, в носик, в рот, во все, даже в маленькую бородавку на затылке, в почти незаметный шрам на

руке, который я так самозабвенно целовал... от имени Помино.

И все же ничего серьезного, вероятно, не произошло бы, если бы однажды утром Ромильда (мы были в Стиа и оставили мать любоваться в одиночестве мельницей) внезапно не прервала мои затянувшиеся шутки о далеком робком поклоннике, не разразилась судорожными рыданиями и не бросилась мне на шею, дрожа и заклинающая меня пожалеть ее и увезти, но только подальше, подальше от дома, подальше от ненавистной матери, от всех, сейчас же, сейчас же.

Подальше? Но как я мог сделать это сейчас же?

Несколько дней спустя, еще опьяненный ею и решившись на все, я принялся искать способ уладить все почестному. И я уже начал подготавливать свою мать к мысли о моей скорой и по долгу совести неизбежной женитьбе, когда неожиданно получил от Ромильды крайне сухое письмо, в котором она, не входя ни в какие объяснения, просила меня ни в коем случае не заботиться о ней, не появляться больше у них в доме и считать наши отношения навсегда разорванными. Ах так? Но почему? Что случилось?

В тот же самый день к нам вся в слезах прибежала Олива и сообщила маме, что она самая несчастная женщина на свете, что спокойствие ее дома навеки нарушено. Ее муж получил доказательства, что детей у них нет не по его вине, и торжествующе заявил ей об этом.

Я присутствовал при этой сцене. Не знаю, что дало мне сил сдержаться. Вероятно, уважение к матери. Задышавшись от гнева и отвращения, я убежал, заперся и, схватившись за волосы, долго спрашивал себя, как Ромильда могла опуститься до такой мерзости после всего, что было между нами. А-а! Дстойная дочь своей матери! Они вдвоем гнусно обманули не только старика, но и меня, меня... Значит, и мать, и она бесчестно воспользовались мной для своих низких целей, для своих злодейских замыслов. А бедная Олива обездолена и погублена.

Вечер еще не наступил, а я уже, весь дрожа, бежал к дому Оливы. В кармане у меня лежало письмо Ромильды.

Заплаканная Олива собирала вещи: она решила вернуться к отцу, которому до сих пор из осторожности даже намеком не дала понять, сколько ей пришлось выстрадать.

— Что мне теперь остается? — сказала она. — Все конечно! Может быть, сойдись он с какой-нибудь другой...

— Ах, значит, ты знаешь, с кем он сошелся? — спросил я.

Она несколько раз кивнула, разрыдалась и закрыла лицо руками.

— Девушка! — воскликнула она, всплеснув руками, — А мать-то, мать! Она обо всем знала, понимаешь? Родная мать!

— И ты говоришь это мне? На, читай! — ответил я и протянул ей письмо.

Ошеломленная Олива посмотрела на листок, потом взяла его и осведомилась:

— Что это значит?

Она читала только по печатному, поэтому взгляд ее как бы спрашивал, стоит ли ей тратить столько усилий в такой момент.

— Читай, — настаивала я.

Тогда она вытерла глаза, развернула листок и медленно-медленно, по складам начала разбирать письмо. После первых же слов она взглянула на подпись, потом, широко раскрыв глаза, перевела их на меня:

— Так это ты?

— Дай сюда, — сказал я. — Я тебе прочту все целиком.

Но Олива прижала листок к груди.

— Нет, — закричала она, — я тебе его не отдам! Оно мне еще пригодится.

— Как оно может пригодиться? — спросил я, горько улыбаясь. — Покажешь мужу? Но в письме нет ни одного слова, которое разуверило бы Маланью в том, чему он так хочет верить. Как видишь, тебя ловко околпачили!

— Ах, верно! Верно! — простонала Олива. — Он явился ко мне, размахивая руками и крича, чтобы я остерегалась сомневаться в честности его племянницы!

— А что из этого следует? — сказал я с язвительным смехом. — Понимаешь, ты ничего не добьешься, если будешь отрицать. Напротив, будь осторожна и соглашайся со всем, подтверждай, что это правда, чистейшая правда, что он может иметь детей... Ясно?

Вот почему примерно месяц спустя Маланья в ярости побил жену, а потом с пеной у рта ворвался к нам в дом, крича, что он требует немедленного удовлетворения, что я обесчестил и погубил его племянницу, бедную сиротку. Он добавил, что, не желая скандала, он согласился молчать. Из жалости к бедняжке он хотел взять ребенка,

когда он родится, и усыновить его, поскольку у него, Маланья, нет своих детей. Но теперь, когда господь послал ему в утешение законное дитя от собственной жены, он уже не может, по совести не может назвать себя отцом другого ребенка, который родится у его племянницы.

— Это сделал Маттиа. Пусть Маттиа и поправляет, — закончил он, дрожа от ярости. — И немедленно! Пусть немедленно сделает все, что я сказал. Не ждите, пока я наговорю лишнего или натворю безумств.

Раз уж мы дошли до этого момента, давайте поразмыслим. В жизни я видел еще и не такое. В конце концов, выглядеть болваном... или даже чем-нибудь похуже — беда не слишком большая. И если, дойдя до этого момента, я все-таки хочу поразмыслить, то делаю это только ради логики.

Мне кажется совершенно бесспорным, что Ромильда не сделала ничего плохого, по крайней мере не старалась ввести дядю в заблуждение. Вот почему Маланья избил жену за измену и обвинил меня перед моей матерью в том, что я обесчестил его племянницу.

Ромильда действительно утверждала, что через некоторое время после нашей прогулки в Стиа мать вырвала у нее признание в любви, которая теперь неразрывно нас связывала; старая ведьма, невероятно разъярясь, кричала ей в лицо, что никогда не позволит дочери выйти замуж за бездельника, находящегося почти на краю пропасти. А поскольку Ромильда навлекла на себя самую худшую беду, какая только может произойти с девушкой, ее заботливой матери остается одно — извлечь из случившегося возможно больше пользы. Какая польза имелась в виду — догадаться нетрудно. Когда Маланья в обычный час явился к ним, мать под каким-то предлогом ушла и оставила Ромильду наедине с дядей. Тогда девушка, как она сама рассказывала, вся в слезах бросилась к его ногам, поведала о своем горе и о том, чего требовала от нее мать; она просила его вмешаться и принудить мать к более честному поведению, потому что она, Ромильда, принадлежит другому и хочет остаться ему верной.

Маланья растрогался, разумеется до известного предела. Он сказал Ромильде, что она еще несовершеннолетняя, а потому покамест находится под властью матери, которая при желании может начать против меня судебное дело, что он сам, по совести говоря, не может одобрить брачный союз племянницы с шалопаем и без-

мозглым расточителем вроде меня и поэтому не вправе дать подобный совет ее матери; он добавил, что она должна кое-чем пожертвовать, дабы успокоить справедливый и естественный материнский гнев, и что эта жертва впоследствии принесет ей счастье; закончил он заявлением, что в конце концов в его силах сделать лишь одно — позаботиться (при условии, конечно, строжайшего соблюдения тайны) о новорожденном, даже заменить ему отца, так как у него самого нет детей, а он давно хочет иметь ребенка. «Можно ли, — спросил я себя, — поступить честнее?»

В самом деле, он намерен возратить ребенку то, что украл у его отца.

Разве он после этого виноват, что я по неблагодарности и легкомыслию сам все расстроил?

Двое? Нет! Двоих он не хочет, черт возьми!

Ему казалось, что двое — это слишком много, и казалось, вероятно, потому, что Роберто, как я уже говорил, выгодно женился. Видимо, Маланья решил, что не так уж сильно навредил моему брату, чтобы платить за двоих.

В конце концов, имея дело с такими хорошими людьми, я не мог не понять, что причина всех зол — я один. Следовательно, мне за все и расплачиваться.

Сначала я презрительно отказался. Потом, уступая мольбам матери, которая видела, что наш дом рушится, и надеялась, что я спасу себя браком с племянницей своего врага, я уступил и женился.

Над моей головой висел грозный гнев Марианны Донди, вдовы Пескаторе.

5. ЗРЕЛОСТЬ

Ведьма не успокаивалась.

— Что ты еще задумал? — спрашивала она меня. — Мало тебе того, что ты воровски втерся ко мне в дом, обольстил мою дочку и погубил ее? Этого тебе мало?

— Ну нет, дорогая теща, — отвечал я. — Остановись я на этом, я доставил бы вам удовольствие, оказал бы услугу...

— Слышишь? — кричала она дочери. — Он еще хвастается, он смеет хвастаться подвигом, который совершил с той... — Следовал поток мерзкой брани в адрес Оливы. Потом теща подбоченивалась, выставляла локти

вперед и продолжала: — Так что же ты задумал? Разве ты уже не разорил заодно и своего ребенка? Но это для него, видите ли, неважно! Ведь тот ребенок тоже от него...

Она никогда не пропускала случая излить весь свой яд, зная, как это действует на Ромильду, ревновавшую к Оливе, ребенку которой суждено родиться в роскоши и жить в радости, тогда как удел ее собственного младенца — печаль, неуверенность в будущем и бесконечные скандалы; ревность поднималась в ней и тогда, когда какая-нибудь кумушка, притворяясь, будто ничего не знает, сообщала ей, что побывала у тетушки Маланьи, которая так довольна, так счастлива милостью, ниспосланной ей господом богом; ах, она стала прямо как розочка; никогда еще она не была такой красивой и цветущей!

А она, Ромильда, лежит в кресле, измученная непрерывными приступами тошноты, бледная, изнеможенная, подурневшая, не зная ни одной радостной минуты, не в силах даже говорить или открыть глаза.

И в этом виноват тоже я? Похоже было, что так. Ромильда не желала больше ни видеть меня, ни слышать. И стало еще хуже, когда для спасения имения Стиа и мельницы мы вынуждены были продать наш дом и бедной маме пришлось поселиться в моем семейном аду.

Кстати, эта продажа ничему не помогла. Маланья, ожидавший наследника, мысль о котором побуждала его поступать без удержу и совести, нанес нам последний удар: он сговорился с ростовщиками и сам, хотя и не от своего имени, скупил все наши дома за ничтожную сумму. Долги, висевшие над Стиа, остались большей частью неуплаченными, имение вместе с мельницей было отдано кредиторам под опеку, а затем продано с молотка.

Что было делать? Я начал, правда почти без всяких надежд на успех, приискивать себе какое-нибудь занятие, которое могло обеспечить хотя бы самые насущные нужды семьи. Я был ни на что не годен, а слава, которую я стяжал себе в юности бездельем и озорством, не вызывала у людей желания дать мне работу. Кроме того, сцены, ежедневно происходившие у меня дома, в моем присутствии и при моем участии, лишали меня покоя, необходимого для того, чтобы сосредоточиться и поразмыслить над тем, что же я умею и могу делать.

Для меня было подлинной и мучительной пыткой видеть мою мать в обществе вдовы Пескаторе. Святая моя

старушка теперь уже знала все, но, с моей точки зрения, она не была ответственна за ошибки, совершенные ею из-за того, что до самой последней минуты она не могла поверить в человеческую низость. Теперь, сложив руки на груди, опустив глаза, она замкнулась в себе и притаилась в уголке, словно не уверенная в том, что ей позволят тут остаться, словно ожидая своего часа, чтобы уйти и, если захочет бог, уйти как можно скорее! Она боялась лишний раз вздохнуть. Время от времени она жалостливо улыбалась Ромильде, но подойти к ней не решалась; однажды, через несколько дней после ее переселения к нам, она подбежала, чтобы помочь Ромильде, но моя ведьма теща грубо отстранила ее:

— Я сама все сделаю; я лучше знаю, что нужно.

Тогда, видя, что Ромильда действительно нуждается в помощи, я из осторожности смолчал, но в дальнейшем внимательно следил, чтобы никто не проявлял к маме неуважения. Однако я замечал, что мое бережное отношение к матери глухо раздражает и ведьму, и мою жену, и вечно боялся, что в мое отсутствие они обидят ее, чтобы сорвать на ней свое раздражение и освободиться от накопившейся желчи. Я был уверен, что мама мне, конечно, ничего не скажет, и эта мысль терзала меня. Сколько раз я заглядывал ей в глаза, подозревая, что она плакала. Она улыбалась мне, ласково смотрела на меня и спрашивала:

— Что это ты на меня так уставился?

— Ты здорова, мама?

Она делала чуть заметное движение рукой и отвечала:

— Конечно, здорова. Разве ты сам не видишь? Иди-ка лучше к жене, иди. Бедняжка так страдает.

Я решил написать Роберто в Онелью и попросить его взять к себе маму — не для того, чтобы снять с меня тяжесть, которую я охотно продолжал бы нести даже в тех трудных условиях, в каких находился, но единственно ради ее блага.

Берто ответил, что не может этого сделать, потому что после нашего разорения его положение в семье жены стало очень тяжелым. Он жил теперь на приданое и был не вправе навязывать жене еще одну обузу — содержание свекрови.

В конце концов, писал он, маме будет не лучше и у него в доме, так как ему приходится жить с матерью жены, которая, несомненно, очень хорошая женщина, но

может перемениться в худшую сторону под влиянием ревности и всяких трений, неизбежно возникающих между тещей и свекровью. Поэтому маме лучше остаться у меня, хотя бы уже для того, чтобы на склоне лет не покидать родных мест и не менять образа жизни и привычек. Далее Берто выражал искреннее сожаление по поводу того, что, ввиду изложенных соображений, он не в силах оказать мне денежную помощь, хотя всем сердцем желал бы этого.

Я скрыл это письмо от мамы. Если бы душевное отчаяние не ослепляло мой разум, я, вероятно, был бы не так возмущен ответом брата; например, в соответствии с обычным направлением моих мыслей, я мог бы сказать себе: «Соловей, лишившись хвоста, утешается тем, что у него остался талант; ну, а что остается у павлина, если он теряет свой хвост?». Даже легкое нарушение того равновесия, которое наверняка стоило Берто немалых трудов, но зато позволяло ему жить, не испытывая унижений, а может быть, и сохранять некоторое достоинство в отношениях с женой, было бы для него огромной жертвой, невосполнимой потерей. Ему ведь нечего было дать жене, кроме красоты, хороших манер и облика элегантного синьора; ни одной искоркой сердечности он не мог вознаградить ее за те беспокойства, которые доставила бы ей моя бедная мама. Но что поделаешь? Таким уж сотворил его бог, который дал ему лишь самую чуточку сердечной теплоты. Чем же был виноват бедный Берто?

Между тем неприятностей у нас становилось все больше, и я был бессилен этому воспрепятствовать. Мы продали мамины сережки, драгоценную память лучших дней. Вдова Пескаторе, опасаясь, как бы мне с матерью не пришлось вскоре жить на ренту с ее приданого, жалкие сорок две лиры в месяц, день ото дня делалась все мрачней и грубее. С минуты на минуту я ждал с ее стороны взрыва бешенства, которое она так долго сдерживала, вероятно лишь благодаря присутствию моей мамы и ее выдержке. Видя, как я слоняюсь по дому, словно муха с оторванной головой, эта женщина, похожая на грозную тучу, бросала на меня взгляды-молнии, предвещавшие бурю. Я уходил, чтобы разрядить атмосферу и предупредить вспышку, но боязнь за маму гнала меня назад.

Однажды я все-таки не поспел вовремя. Буря наконец разразилась, и по самому ничтожному поводу: мою мать навестили две ее старые служанки.

Одна из них, не сумев ничего скопить на черный день, так как ей приходилось содержать дочь-вдову с тремя детьми, сразу же после ухода от нас нашла себе новое место; другая, по имени Маргарита, женщина совершенно одинокая, оказалась счастливее: за долгую службу в нашем доме она кое-что отложила и теперь, на старости лет, могла отдыхать.

Оказавшись в обществе этих двух добрых женщин, преданных подруг многих лет ее жизни, мама тихонько пожаловалась на свою несчастную и горестную судьбу. Маргарита, добрая старушка, догадавшаяся обо всем, но не осмелившаяся заговорить первой, тотчас же предложила маме перебраться к ней, в домик из двух чистеньких комнаток и терраски, утопавшей в цветах и выходящей на море; там, сказала она, они мирно поселятся вдвоем; о, она будет счастлива еще немного поухаживать за мамой и доказать ей, какую любовь и преданность она к ней питает.

Но разве могла моя мать принять предложение бедной старушки? Тут-то и вспыхнул гнев вдовы Пескаторе.

Вернувшись домой, я застал такую сцену: ведьма, размахивая кулаками, насканивала на Маргариту, которая мужественно давала ей отпор, а испуганная, дрожащая мама, со слезами на глазах и словно ища защиты, обнимала обеими руками другую старушку.

Когда я увидел мою мать в таком отчаянии, у меня потемнело в глазах. Я схватил вдову Пескаторе за руку и отшвырнул ее. Она мгновенно поднялась и подбежала ко мне, намереваясь броситься на меня, но, очутившись лицом к лицу со мной, остановилась.

— Вон! — завопила она. — И ты, и твоя мать — вон! Вон из моего дома!

— Слушайте, — сказал я ей тогда голосом, дрожащим от подавленного желания дать выход своему бешенству, — слушайте, убирайтесь сейчас же и не раздражайте меня. Убирайтесь для собственного же блага! Убирайтесь!

Ромильда, плача и крича, поднялась с кресла и бросилась в объятия матери:

— Нет, ты со мной, мама! Не оставляй, не оставляй меня здесь одну!

Но достойная мамаша яростно отшвырнула ее:

— Ты его хотела? Вот и оставайся со своим прохвостом! Я уйду одна.

Разумеется, она никуда не ушла.

Через два дня, побывав — я так думаю — у Маргариты, к нам, как обычно вихрем, ворвалась тетя Сколастика с намерением увезти маму к себе.

Эта сцена заслуживает описания.

В то утро вдова Пескаторе, засучив рукава, подоткнув юбку и подвязав ее вокруг талии, чтобы не выпачкаться, собиралась печь хлеб. Увидев входящую тетю Сколастику, она едва повернула голову и как ни в чем не бывало продолжала просеивать муку.

Тетя не обратила на это никакого внимания, — да, кстати, она вошла, тоже ни с кем не поздоровавшись, — и тотчас же, как если бы в доме не было никого, кроме моей матери, обратилась к ней:

— Живее, одевайся! Пойдешь ко мне! До меня дошло черт знает что. Вот я и пришла. Скорее прочь отсюда! Где твои вещи?

Она говорила отрывисто. Ноздри ее гордого орлиного носа, который время от времени морщился, трепетали на смуглом желчном лице, глаза сверкали.

Вдова Пескаторе молчала.

Кончив просеивать муку, она смочила ее водой, сделала тесто и теперь месила его, высоко подбрасывая и шумно опрокидывая в квашню, — так она отвечала на слова тети Сколастики. Тогда тетя принялась поддавать жару. А вдова, все сильнее хлопая рукой по тесту, словно приговаривала: «Ну да! Ну конечно! А как же? Ну, само собой!» — а потом, словно этого было недостаточно, пошла за скалкой и положила ее рядом на квашню, точно желая сказать: «У меня еще и это припасено!»

Лучше бы она этого не делала! Тетя Сколастика вскопчила, яростно сорвала с плеч шаль и кинула ее матери:

— На, надень! Брось все, и сейчас же уйдем!

А сама вплотную подошла к вдове Пескаторе и уставилась на нее. Та, избегая слишком опасной близости, угрожающе отступила на шаг, словно намереваясь ударить ее скалкой; тогда тетя Сколастика, выхватив обеими руками из квашни большой ком теста, нахлобучила его на голову вдове, налепила на лицо и кулаком стала размазывать — хлоп! хлоп! хлоп! — по носу, по глазам, по губам, а тесто текло и текло. Потом схватила маму за руку и увела ее.

Все последствия обкрутились исключительно на меня. Вдова Пескаторе, рыча от бешенства, стала сдирать тесто с лица, со склеившихся волос и швырять в меня, а я хохотал до упаду; она дергала меня за бороду, царапа-

ла мне лицо; потом, словно сойдя с ума, грохнулась навзничь, начала срывать с себя платье и в дикой ярости кататься по полу; мою жену в это время (*sit venia verba*)¹ ввало, и она пронзительно вопила.

— Ноги! Ноги! — закричал я вдове Пескаторе, катавшейся по полу. — Ради бога, не показывайте мне ваши ноги!

Можно сказать, что с этого момента я стал смеяться над всеми своими несчастьями и печальями. Я смотрел на себя как на актера самой шутовской трагедии, какую только можно себе представить: моя мать убежала с сумасшедшей теткой; вон там моя жена, которая... ну ладно, бог с ней; вон здесь, на полу, Марианна Пескаторе; и, наконец, я сам, у которого на завтрашний день нет даже хлеба, даже того, что мы называем куском хлеба. Борода у меня в тесте, лицо расцарапано, и по нему от смеха текут не то слезы, не то кровь. Чтобы удостовериться, я подошел к зеркалу: это были слезы, но и расцарапан я был тоже изрядно. Ох, как мне нравился в эту минуту мой глаз! От отчаяния он еще больше, чем обычно, глядел в сторону, куда ему вздумалось. И я убежал, твердо решив не возвращаться домой, пока не найду средств, чтобы самому содержать, пусть нищенски, свою жену и себя.

Яростная злоба на самого себя за свою многолетнюю беззаботность, преисполнившая меня в эту минуту, помогла мне быстро уразуметь, что рассказ о моих бедах ни у кого не встретит не только сочувствия, но даже внимания: я вполне заслужил свою участь.

Пожалеть меня мог только тот, кто захватил все наше имущество, но я отнюдь не надеялся, что Маланья сочтет себя обязанным прийти мне на помощь после всего происшедшего между нами.

Помощь пришла ко мне оттуда, откуда я меньше всего ее ожидал.

Проведя целый день вне дома, я к вечеру случайно натолкнулся на Помино, который хотел пройти мимо, притворяясь, что не замечает меня.

— Помино!

Он обернулся с мрачным видом и остановился, потупив глаза.

¹ Да позволено будет так выразиться (*лат.*).

— Чего тебе?

— Помино! — повторил я громче, тряся его за плечо и смеясь над его мрачностью. — Да ты серьезно?

О, человеческая неблагодарность! В довершение всего на меня сердился даже Помино, сердился за то предательство, которое я, по его мнению, совершил. Мне не удалось убедить его, что на самом-то деле я предан ему и что он должен не просто благодарить меня, но, простершись на земле, целовать следы моих ног.

Я был как пьяный от приступа злобной веселости, охватившей меня в тот миг, когда я посмотрел на себя в зеркало.

— Видишь эти царапины? — спросил я его спустя несколько минут. — Это все она.

— Ро... то есть твоя жена?

— Нет, ее мать!

И я рассказал ему все. Он улыбнулся, но так, чуть-чуть. Может быть, он при этом подумал, что его-то вдова Пескаторе не стала бы царапать: у него все было совсем другое — и положение, и характер, и сердце.

Тут меня стало подмывать спросить его: почему он впрочем сам не женился на Ромильде, если уж так горюет о ней; он ведь мог убежать с нею, как я ему советовал, прежде чем я из-за его нелепой робости и нерешительности влюбился в нее на свою беду. Я был до того возбужден, что чуть не наговорил ему и многого другого, но все-таки сдержался, протянул ему руку и спросил, с кем он проводил все это время.

— Ни с кем! — вздохнул он. — Ни с кем! Я скучаю, смертельно скучаю!

То отчаяние, с которым он произнес эти слова, казалось, внезапно открыло мне истинную причину мрачности Помино. Так вот в чем дело: он, вероятно, оплакивает не столько потерю Ромильды, сколько утрату всех своих приятелей. Берто здесь уже нет, а со мной он не может общаться, потому что между нами стоит Ромильда, — что же оставалось делать бедному Помино?

— Женись, дорогой! — сказал я ему. — Увидишь, как тебе станет весело.

Но он покачал головой, закрыл глаза, поднял руку и с самым серьезным видом объявил:

— Никогда! Теперь уже никогда!

— Bravo, Помино! Будь постоянен! А если тебе нужно общество, я в твоём распоряжении, если угодно — хоть на всю ночь.

Я рассказал ему об обещании, которое я дал себе, уйдя из дому, и объяснил, в каком отчаянном положении нахожусь. Помино растрогался и, как истинный друг, предложил мне все деньги, какие у него были с собой. Я поблагодарил от всего сердца, но возразил, что такая помощь меня не спасет: на следующий же день я снова окажусь в затруднительном положении. Мне нужно твердое жалованье.

— Подожди-ка! — воскликнул Помино. — Ты знаешь, что мой отец стал членом муниципалитета?

— Нет, но вполне могу себе это представить.

— Он коммунальный советник по делам народного просвещения.

— Вот уж этого я себе не представлял.

— Вчера за ужином... Пстой! Ты знаешь Ромителли?

— Нет.

— Вот те на! Это же тот, кто работает в библиотеке Боккамаццы. Он глух, почти слеп, впал в детство и не держится на ногах. Вчера вечером за ужином отец говорил, что библиотека приведена в самое плачевное состояние и о ней нужно как следует позаботиться. Вот и место для тебя!

— Библиотекарем? — воскликнул я. — Да ведь я...

— Почему бы нет? — сказал Помино. — Если уж годился Ромителли...

Этот довод убедил меня.

Помино посоветовал мне позаботиться, чтобы с его отцом поговорила тетя Сколастика. Так оно будет лучше.

На следующий день я отправился навестить маму и поговорить с ней, потому что тетя Сколастика не желала выйти ко мне. Вот так через четыре дня я и сделался библиотекарем. Шестьдесят лир в месяц! Я стал богаче вдовы Пескаторе и мог торжествовать победу!

В первые месяцы служба меня забавляла, так как Ромителли никак не мог уразуметь, что муниципалитет перевел его на пенсию и он не обязан больше ходить в библиотеку. Каждое утро в один и тот же час, ни минутой раньше, ни минутой позже, он появлялся в ней на четырех ногах (считая палки, которые он держал в обеих руках и которые служили ему лучше, чем ноги). Сразу же по приходе он извлекал из жилетного кармана старые медные часы-луковицу на толстенной цепочке и вешал их на стену. Затем он садился, ставил палки между ног, вы-

таскивал из кармана круглую шапочку, табакерку, большой платок в красную и черную клетку, закладывал в нос большую понюшку, утирался, открывал ящик столика и вынимал оттуда принадлежащую библиотеке книгу — «Исторический словарь мертвых и живых музыкантов, артистов и любителей искусства, напечатанный в Венеции в 1758 году».

— Синьор Ромителли! — кричал я ему, пока он невозмутимо проделывал все эти операции, не подавая виду, что заметил меня.

Но кому я это говорил? Он не услышал бы даже пушечного выстрела. Я тряс его за руку, и тогда он оборачивался, таращил глаза, прищурился, совершенно перекашивая при этом лицо, и показывал желтые зубы, вероятно пытаясь улыбнуться мне. Затем он склонялся над книгой с таким видом, словно хотел лечь на нее, как на подушку; на самом деле он просто так читал — одним глазом на расстоянии двух сантиметров от книги, читал вслух:

— Бирнбаум, Иоганн Абрахам!.. Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал... Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал в Лейпциге в тысяча семьсот тридцать восьмом году брошюрку ин-октаво... ин-октаво. Беспристрастные замечания по поводу одного деликатного поступка музыканта-критика. Мицлер... Мицлер поместил этот эпизод в первом томе своей музыкальной библиотеки. В тысяча семьсот тридцать девятом году...

И он продолжал читать, повторяя по два, а то и по три раза каждое имя и дату, словно старался их запомнить. Не могу понять, почему он читал так громко. Повторяю, он не услышал бы и пушечного выстрела.

Я изумленно смотрел на него. Какое было дело такой развалине, стоявшей, можно сказать, одной ногой в гробу (он умер через четыре месяца после назначения меня библиотекарем), до того, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в 1738 году в Лейпциге брошюрку ин-октаво? И зачем он тратил столько сил на чтение? Может быть, он просто не в силах был жить без всех этих дат и сведений (он-то, совершенно глухой!) о музыкантах, артистах и любителях искусства, живших до 1758 года. Или, может быть, он полагал, что, поскольку библиотека создана для чтения, а в нее не заглядывает ни одна живая душа, библиотекарь обязан читать сам? Вот почему он взял эту книгу — впрочем, он мог бы взять любую другую. Он до такой степени отупел, что это предположение

вполне вероятно, пожалуй еще более вероятно, чем первое.

Большой стол посредине был покрыт слоем пыли в палец толщиной, и я, чтобы как-то загладить черную неблагодарность моих сограждан, начертал на нем большими буквами следующую надпись:

МОНСИНЬОРУ БОККАМАЦЦЕ,
ВЕЛИКОДУШНЕЙШЕМУ ДАРИТЕЛЮ,
В ЗНАК ВЕЧНОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
СОГРАЖДАНЕ
ВОЗЛОЖИЛИ ЭТУ ПЛИТУ

Время от времени с полок валялись книги, а вдогонку им несколько крыс размером с доброго кролика.

Это сыграло в моей жизни ту же роль, что яблоко в жизни Ньютона.

— Нашел! — с удовлетворением воскликнул я. — Вот и занятие для меня, пока Ромителли читает своего Бирнбаума.

И для начала я написал учтивейшее прошение по инстанции на имя многоуважаемого кавалера Джероламо Помино, коммунального советника по делам народного просвещения, о незамедлительном снабжении библиотеки Боккамаццы, иначе — библиотеки Санта-Мариа Либерале, по крайней мере двумя кошками, содержание которых почти ничего не будет стоить муниципалитету, принимая во внимание, что вышеуказанные животные могут и сами прокормиться за счет обильной охотничьей добычи. Я присовокупил также, что было бы неплохо снабдить библиотеку полдюжиной крысоловок с необходимым количеством приманки. Под этой последней подразумевался сыр, но, в качестве подчиненного, я не считал возможным употреблять столь грубое слово в прошении, которое будут читать глаза коммунального советника по делам народного просвещения.

Сначала мне прислали двух настолько заморенных кошчонок, что они сразу же испугались огромных крыс и, чтобы не сдохнуть с голоду, принялись лазить в крысоловки за сыром. Каждое утро я освобождал их из плена, отошавших, взьерошенных и до того напуганных, что У них не было ни сил, ни желания мяукать.

Я сочинил новое прошение, и тогда в библиотеке появились два красивых кота, ловких и деловитых, которые, не теряя времени, принялись выполнять свой

долг. Помогли мне и крысоловки, куда крысы попадались живьем. И вот однажды вечером, раздраженный тем, что Ромителли не обращает ни малейшего внимания на мои труды и победы, словно его обязанность — читать, а крыс — грызть библиотечные книги, я перед уходом посадил двух живых крыс в ящик столика. Я надеялся хоть на одно утро оторвать Ромителли от его обычного убийственно скучного чтения. Какое там! Открыв ящик и почувствовав, как эти два зверька пробежали у него под носом, он обернулся ко мне (я уже не мог сдерживаться и разразился хохотом) и спросил:

— Что это было?

— Две крысы, синьор Ромителли!

— А-а, крысы... — спокойно протянул он.

Они были для него вроде как домашними животными, он к ним привык, поэтому он как ни в чем не бывало принялся за чтение своего фолианта.

В одном из «Трактатов о деревьях» Джованни Витторио Содерини можно прочесть, что «фрукты зреют частично благодаря теплу, частично благодаря холоду, поскольку тепло, как это наблюдается повсеместно, обладает способностью ускорять вызревание и является его естественной причиной». Очевидно, Джованни Витторио Содерини не знал, что садоводы умеют ускорять созревание не только с помощью тепла, но и другим способом. Когда им надо отвезти ранние фрукты на рынок и продать их подороже, они срывают эти плоды — яблоки, персики, груши — раньше, чем они дойдут и станут приятны на вкус, и ударами приводят их в состояние зрелости.

Так дозрел и я, совсем еще зеленый юнец.

За короткое время я стал совсем иным, чем раньше. Когда Ромителли умер, я остался один в заброшенной часовенке среди всех этих книг, где меня пожирала скука; я был беспредельно одинок, но не искал общества. Я мог бы проводить на службе всего лишь несколько часов в день, но показаться на улицах городка мне, впадшему в нищету, было стыдно, из дома же я бежал, как из тюрьмы; поэтому я повторял себе: «Лучше уж торчать здесь. Чем заняться? Охотой на крыс, разумеется». Но разве мне этого было достаточно?

Когда я в первый раз заметил, что стою с книгой, которую бессознательно, наугад снял с одной из полок, меня охватила дрожь ужаса. Значит, и я, как Ромителли, опустил до того, что чувствую потребность читать за

всех, кто не приходит в библиотеку? Я швырнул книгу на пол, но потом поднял ее и — да, синьоры, — тоже начал читать и тоже одним глазом, потому что другой глядел у меня в сторону.

Читал я беспорядочно, всего понемногу, но главным образом книги по философии. Это очень тяжелая пища, но тот, кто ею питается и усваивает ее, витает в облаках. Она еще больше спутала мои мысли, и без того несвязные. Когда голова у меня начинала кружиться, я закрывал библиотеку и спускался по крутой тропинке на маленький пустынный пляж.

Вид моря порождал во мне ужасное смятение, которое постепенно стало просто невыносимым. Я сидел на пляже, опустив голову и запрещая себе смотреть на море, но слышал его шум по всему берегу, медленно пересыпал между пальцами тяжелый, плотный песок и бормотал:

— Вот так всегда, до самой смерти, без всяких перемен...

Неизменность условий моего существования возбуждала во мне внезапные странные мысли, почти вспышки безумия. Я вскакивал, словно желая стряхнуть их, и начинал расхаживать вдоль берега; я видел, как море без устали шлет на сушу ленивые, дремотные волны, видел вокруг пустынные пески и гневно кричал, размахивая кулаками:

— Почему? Почему?

И море омывало мне ноги.

Быть может, оно забрасывало волну чуть дальше обычного, чтобы предостеречь меня:

«Видишь, дорогой, чего ты добился своими «почему»? Только промочил ноги. Вернись-ка лучше в библиотеку. Соленая вода разъедает обувь, а у тебя нет лишних денег, чтобы бросать их на ветер. Вернись в библиотеку и не читай книг по философии. Иди и уж лучше тоже читай о том, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в тысяча семьсот тридцать восьмом году в Лейпциге брошюрку ин-октаво. Это, без сомнения, полезнее».

В один прекрасный день за мной наконец пришли: у моей жены начались роды, и мне надо было спешить домой. Я помчался, как безумный, но хотелось мне главным образом убежать от себя самого, ни секунды не оставаться наедине с самим собой, не думать, что у меня сейчас родится ребенок. У меня? В таких условиях? Ребенок?

Не успел я вбежать в двери дома, как теща схватила меня за плечи и повернула назад:

— Врача! Живей! Ромильда умирает!

Я должен бы остаться дома, не правда ли? Вместо этого внезапно, как снег на голову: «Беги!» Я не чуял под собой ног, не знал, в какую сторону направиться, и на бегу бессмысленно повторял: «Врача! Врача!» Встречные останавливались и требовали, чтобы я тоже остановился и объяснил им, что у меня случилось; я чувствовал, как меня тянут за рукав, видел бледные, расстроенные лица, но всех отстранял: «Врача! Врача!» А врач в это время уже был у меня дома. И когда я, запыхавшись, изнемогая, обегав все аптеки, в бешенстве и отчаянии вернулся к себе, первая девочка уже родилась, и Ромильда силилась произвести на свет второго ребенка.

— Двойня!

Мне кажется, я как сейчас вижу их рядом в колыбельке — они царапали друг друга тоненькими пальчиками, словно движимые каким-то диким инстинктом, который внушал и жалость, и отвращение. Жалкие, еще более жалкие, чем те две кошечки, которых я каждое утро вызволял из крысоловок и у которых не хватало сил даже мяукать, они тоже были не в состоянии даже пищать и все-таки царапались!

Я отодвинул их друг от друга, и при первом же прикосновении к их нежным холодным тельцам меня охватило незнакомое чувство — невыразимая трепетная нежность. Это были мои дочери!

Одна умерла через несколько дней, другая же дала мне время привязаться к ней со всей пылкостью отца, у которого нет ничего, кроме ребенка, и который видит в нем единственный смысл жизни. Как жестоко, что она умерла, когда ей был уже почти год и она стала такой хорошенькой, вся в золотых кудряшках, которые я навивал себе на пальцы и никогда не уставал целовать; она говорила мне: «Папа», а я ей тотчас в ответ: «Дочка», а она мне снова: «Папа»... Так, без всякой цели, как перекликаются между собой птицы.

Одновременно с ней, в тот же день и почти в тот же час, умерла моя мать. Я не знал, как поделить между ними мои заботы и мое горе. Я оставлял малютку спящей и бежал к маме, которая не думала о себе, о предстоящей смерти и все спрашивала о внучке, горюя, что не может ее увидеть и поцеловать в последний раз. Эта пы-

тка длилась девять дней! И после девяти суток напряженного бодрствования, не сомкнув глаз ни на минуту... Должен ли я признаться в этом? Многие, вероятно, постеснялись бы сказать правду, но ведь это же свойственно, свойственно человеку!.. Я в первый момент не почувствовал горя: на какое-то время я словно застыл, погрузился во мрак и заснул. Да, прежде всего мне надо было выспаться. Потом, когда я проснулся, меня охватила неистовая, гневная тоска по моей дочурке, по маме, которых больше не было... И я чуть не сошел с ума. Целую ночь я бродил по городку и по полям; не знаю, о чем я думал; знаю только, что в конце концов я оказался в имении Стиа, около мельничного пруда, и старый Филиппо, бывший мельник, а ныне сторож, увел меня подальше, под деревья, усадил на землю и долго-долго рассказывал мне о моей маме, об отце, о далеких, прекрасных днях; он убеждал меня не плакать и не отчаиваться, — ведь добрая бабушка поспешила на тот свет именно затем, чтобы ухаживать там за внучкой, постоянно говорить ей обо мне, держать ее на коленях и никогда не оставлять одну.

Три дня спустя Роберто, словно желая заплатить мне за мои слезы, прислал мне пятьсот лир. Он писал, что хочет пристойно похоронить маму. Но об этом уже позаботилась тетя Сколастика.

Пятьсот лир некоторое время лежали в одной из библиотечных книг.

Потом они сослужили мне службу, став — как бы это выразиться? — причиной моей *первой* смерти.

6. ТАК, ТАК, ТАК...

Казалось, играет только он, шарик из слоновой кости, который там, внутри рулетки, грациозно бежит против часовой стрелки.

Так, так, так...

Да, играет именно он один, а вовсе не те, кто смотрит на него, терзаясь мукой, на которую обрекают их его капризы. Это ему вон тут, внизу, на желтых квадратах игорного стола, приносят как жертвенную дань золото и снова золото столько рук, дрожащих от страстного ожидания и бессознательно нащупывающих золото для следующей ставки; это на него устремлены молящие глаза, которые как бы говорят: «Где же соизволишь остано-

виться ты, изящный шарик слоновой кости, наше жестокое божество?»

Сюда, в Монте-Карло, я попал случайно.

После одной из обычных сцен с тещей и женой, сцен, которые теперь внушали мне, подавленному и разбитому двойным горем, непреодолимое отвращение, я поддался тоске и почувствовал, что не в силах больше продолжать такое омерзительное существование. Беспросветно несчастный, лишенный возможности и надежды хоть что-нибудь изменить, утратив свое единственное утешение — мою милую дочурку, не зная, чем облегчить душевную горечь и тоску, я внезапно решил и пешком ушел из нашего городка, унося в кармане пятьсот лир, присланных Берто.

Сперва я намеревался отправиться в Марсель; в соседнем поселке, куда я шел, была маленькая железнодорожная станция; добравшись до Марселя, я мог бы сесть на пароход и отправиться в Америку.

В конце концов, чего мне бояться после того, что я выстрадал в собственном доме? Конечно, в будущем меня ожидают новые цепи, но оков тяжелее тех, которые я собирался сбросить с ног сейчас, я все равно не мог себе представить.

И потом, я увижу другие страны, других людей, другую жизнь и по крайней мере освобожусь от тяжести, которая душит меня и давит.

Однако подъезжая к Ницце, я почувствовал, что начинаю терять мужество. Мой юношеский пыл давно уже погас: тоска изгрызла меня, горе обессилило. Но больше всего меня угнетала ничтожность суммы, с которой я отважился пуститься в такое далекое путешествие, навстречу неведомой судьбе, и к тому же совершенно неподготовленный к ожидающей меня новой жизни.

Итак, сойдя с поезда в Ницце и не решив еще окончательно вернуться домой, я бродил по городу и на авеню де ла Гар случайно остановился перед большим магазином, вывеска которого большими позолоченными буквами возвещала:

DÉPÔT DE ROULETTES DE PRÉCISION¹

В витрине были выставлены рулетки разных размеров, другие игорные принадлежности, а также всевозможные брошюрки с изображением рулетки на обложках.

Известно, что люди несчастные, при всей их склонно-

¹ Продажа выверенных рулеток (франц.).

сти высмеивать доверчивые надежды ближних, сами часто бывают суеверны и оболещают себя беспочвенными надеждами, которые, разумеется, никогда не оправдываются.

Вспоминаю, что, прочитав название одной из этих брошюр «Méthode pour gagner à la roulette»¹, я отошел от магазина с высокомерно-снисходительной улыбкой. Но, сделав несколько шагов, я с той же самой высокомерно-снисходительной улыбкой на губах вернулся обратно, вошел в магазин и купил брошюру.

Я совершенно не знал, о чем идет речь, в чем состоит игра и как устроен игральный аппарат. Я начал читать, но понял очень мало.

«Может быть, это объясняется тем, что я плохо знаю французский?» — подумалось мне.

Французскому языку меня никто не учил; я овладел им сам, почитывая разные книжки в библиотеке. Я совершенно не был уверен в своем произношении и боялся заговорить по-французски, чтобы не навлечь на себя насмешки, но потом подумал, что уж раз я собираюсь в Америку без всяких средств и в глаза не выдав ни одной английской или испанской книги, то, зная немного по-французски и располагая путеводителем — только что купленной брошюрой, — я могу отважиться на поездку в Монте-Карло, тем более что до этого города рукой подать.

«Ни теща, ни жена, — повторял я себе в поезде, — ничего не знают об этих деньгах, лежащих у меня в бумажнике. Поеду и растрочу их, чтобы избавиться от искушения. Надеюсь, что сумею сохранить сколько надо на обратный проезд. А если нет...»

Я слышал, что в саду вокруг игорного дома растет довольно деревьев — и притом крепких. В конце концов я могу без лишних расходов повеситься на одном из них с помощью брючного ремня; я даже буду, пожалуй, выглядеть довольно импозантно. Люди, вероятно, скажут про меня:

— Бедняга, наверно, бог знает сколько проиграл!

Надо, однако, признаться, что я надеялся на лучшее. И то сказать, вход выглядел неплохо. Восемь его мраморных колонн сразу наводили на мысль о том, что здесь хотели воздвигнуть храм Фортуне. По обеим сторонам подъезда располагались две боковые двери. Сна-

¹ «Способ выигрывать в рулетку» (франц.).

чала я подошел к большой двери, на которой было написано «Tirez»¹, затем приблизился к подъезду с надписью «Poussez»², означавшей, очевидно, нечто противоположное; я толкнул дверь и вошел.

До чего же, к сожалению, было безвкусно внутри! Неужели нельзя было на радость людям, оставлявшим здесь такую уйму денег, устроить все так, чтобы их обирали в помещении менее пышном, но более красивом? Во всех больших городах устраиваются красивые бойни для бедного скота, но поскольку животные лишены всякого образования, они не умеют наслаждаться этой красотой. Правда, большая часть посетителей казино занята совсем иными мыслями и не обращает внимания на безвкусную отделку пяти его залов; точно так же те, кто рассаживаются вокруг игорного стола на диванах, чаще всего просто не замечают сомнительной роскоши, которая их окружает.

На этих диванах сидят обычно несчастные, чей рассудок бесповоротно помутила страсть к игре; они сидят там в надежде определить вероятность выигрыша, с невозмутимой серьезностью размышляют, какие комбинации им испробовать, изучают архитектонику игры, наблюдают за чередованием номеров — словом, пытаются открыть закономерность в случайности, что не легче, чем выдавить воду из камня, и пребывают в убеждении, что не сегодня-завтра им это удастся.

Впрочем, ничему не следует удивляться.

— Ах, двенадцать, двенадцать! — говорил мне один синьор из Лугано, мужчина, размеры которого наводили на самые утешительные размышления о способности рода человеческого сопротивляться ударам судьбы. — Двенадцать — это король чисел, это мой номер. И он никогда не изменяет мне. Правда, он часто подводит меня, но в конце концов все-таки вознаграждает за верность.

Этот мужчина крупных размеров, влюбленный в число двенадцать, не мог говорить ни о чем другом. Он рассказал мне, что накануне это число ни разу не пожелало выйти, но он все-таки не сдался, упорно ставил на двенадцать и проигрывал до последней минуты, когда крупье объявил:

— Messieurs, aux trois derniers!³

¹ К себе (франц.).

² От себя (франц.).

³ Господа, три последние ставки! (франц.).

И вот, на первом круге — ничего, на втором — ничего, и лишь в третьем и последнем внезапно: бах — двенадцать.

— Оно ответило мне! — уверял он со сверкающими от радости глазами. — Оно мне ответило!

Правда, для последней ставки у него оставалось очень мало, так как он весь день проигрывал; таким образом, выигрыш ничего не поправил. Но какое это имеет значение, если число двенадцать ему все-таки ответило! Слушая такие рассуждения, я вспомнил одно четверостишие бедного Циркуля. После того как из нашего дома было вынесено все имущество, тетрадь с его виршами и калламбурами попала в библиотеку, и мне захотелось прочитать этому господину следующее четверостишие:

К Фортуне быстрокрылой я, убогий,
Взывал и долго ждал своей поры.
Но вот она и на моем пороге
Стоит, — увьи! — скупая на дары.

А он охватил голову руками, и лицо его долго искажала страдальческая гримаса. Я посмотрел на него сначала с удивлением, потом с тревогой:

— Что с вами?

— Ничего. Просто смеюсь, — ответил он мне.

Вот как он смеялся! У него так сильно болела голова, что и легкая дрожь смеха казалась ему слишком мучительной.

Попробуйте-ка влюбиться в число двенадцать!

Хотя у меня не было никаких иллюзий, я, прежде чем испытать судьбу, решил немного понаблюдать за игрой. Она показалась мне совсем не такой сложной, как я воображал себе, прочитав брошюрку.

Посреди стола, на зеленом перенумерованном поле, была укреплена рулетка. Игроки, мужчины и женщины, старые и молодые, сидели или стояли вокруг и нервно готовились ставить кучи и кучки луидоров, скуди, банковых билетов на желтые номера квадратов; те, кто не сумел или не захотел пробиться к столу, называли крупье номера и цвета, на которые они собирались ставить, и крупье в соответствии с их указаниями с изумительным проворством лопаточкой располагал ставки; затем наступала тишина, странная, томительная, словно трепещущая от сдержанной страсти и по временам

прерываемая монотонными и ленивыми возгласами крупье:

— Messieurs, faites vos jeux!¹

А у других столов другие, такие же монотонные голоса повторяли:

— Le jeu est fait. Rien ne va plus².

В конце концов крупье бросал шарик на рулетку. Так, так, так...

Все взоры устремлялись к шарикю. В глазах читались самые разные чувства — тревожное ожидание, вызов, мука, ужас. Игроки, стоявшие позади тех, кому посчастливилось занять место за столом, перегибались через стулья, чтобы еще раз проверить свою ставку, прежде чем крупье лопаточкой снимет ее.

В конце концов шарик падал на какую-нибудь цифру, и крупье тем же тоном произносил обычную формулу, объявляя выигравший номер и цвет.

Первую маленькую ставку я поставил за столом слева в первом зале, наобум назвав цифру двадцать пять; я тоже стоял и с улыбкой смотрел на предательский шарик, чувствуя какой-то странный холодок в животе. Наконец шарик остановился...

— Vingt-cing, rouge, impair et passe!³ — объявил крупье.

Выиграл! Я уже протянул руку, чтобы взять мою увеличившуюся кучку, как вдруг какой-то очень высокий господин с могучими, но слишком покатыми плечами, над которыми возвышалась маленькая голова с плоским лбом, длинными, прилизанными на затылке белокурыми с проседью волосами, остренькой бородой и усами того же цвета, горбатым носом и золотыми очками, оттолкнул меня и без всяких церемоний забрал себе мои деньги.

На моем скудном французском языке я робко заметил ему, что он ошибся — о, конечно, невольно... Он был немец, говорил по-французски еще хуже, чем я, но бросился на меня с мужеством льва, утверждая, что ошибся, без сомнения, я сам и что это его деньги.

Я удивленно оглянулся — все молчали, даже мой сосед, который отлично видел, как я поставил эти несколько монет на двадцать пять. Потом я посмотрел на крупье. Они стояли неподвижно и бесстрастно, как статуи.

¹ Господа, делайте ставки! (франц.).

² Ставки сделаны. Банк закрыт (франц.).

³ Двадцать пять, красное, нечет и пас! (франц.).

— Ах так! — сказал я себе спокойно, взял другие монеты, которые положил на стол рядом с собой, и ушел. «Вот еще один способ *rouge gagner à la roulette*¹, — подумал я, — который не разобран в моей брошюрке. И, быть может, единственно верный способ».

Но судьба, не знаю уж, во имя каких тайных целей, пожелала торжественно и незабываемо опровергнуть мои выводы.

Подойдя к другому столу, где играли по крупной, я сначала долго рассматривал окружавших его людей. По большей части это были господа во фраках, было среди них и несколько дам; многие показались мне сомнительными субъектами, а один белокурый человек с большими голубыми глазами, испещренными красными жилками и обрамленными длинными, почти белыми ресницами, сперва внушил мне прямо-таки недоверие: он тоже был во фраке, хотя, судя по виду, явно не привык носить его. Мне захотелось посмотреть, как человек ведет себя во время игры. Он поставил много и проиграл, но не изменился в лице и в следующий раз опять сделал крупную ставку. Ясное дело, этот на мои гроши не польстится! Хотя в первый раз я и обжегся, тут я устыдился своей подозрительности. Вокруг столько людей, которые пригоршнями, словно песок, без всякого страха, бросают золото и серебро, а я дрожу над такой ничтожной малостью!

Среди прочих я заметил бледного, как воск, юношу с большим моноклем в левом глазу, который старался напустить на себя сонливо-безразличный вид; он сидел развалясь, вытаскивал золотые из кармана панталон и ставил их наобум, на какой попало номер, а потом, не глядя на ставку и пощипывая еле пробивающиеся усики, ждал, пока шарик остановится. Тогда он спрашивал у соседа, проиграл он или нет.

Проигрывал он непрерывно.

Его соседом был худощавый, в высшей степени элегантный господин лет сорока, с длинной тонкой шеей, почти без подбородка, с черными живыми глазками и с черными как смоль волосами, густыми и зачесанными назад. Ему доставляло явное удовольствие отвечать юноше утвердительно. Сам он иногда выигрывал.

Я встал рядом с толстым господином, до того смуглым, что глазницы и веки его казались закопченны-

¹ Чтобы выиграть в рулетку (*франц.*).

ми; у него были седые, стального оттенка, волосы, но еще совсем черная кудрявая бородка; он дышал силой и здоровьем, и все же казалось, что движение шарика слоновой кости вызывает у него астму, так сильно и неудержимо начинал он всякий раз хрипеть. Люди оборачивались и смотрели на него, но он редко замечал это; заметив же, на мгновение переставал хрипеть, оглядываясь кругом с нервной улыбкой и снова принимался хрипеть, не в силах остановиться до тех пор, пока шарик не попадал на цифру.

Я наблюдал, и лихорадка игры постепенно охватывала меня. Первые ставки не удались. Потом я почувствовал странное бурное опьянение; я действовал почти автоматически, повинуюсь неожиданному бессознательному вдохновению; я ставил каждый раз после всех, и во мне тотчас же возникала сперва надежда на выигрыш, затем уверенность в нем. И я выигрывал. Сначала я ставил мало, потом постепенно, не считая, начал увеличивать ставки; во мне росло нечто вроде просветленного опьянения, которое не омрачили даже несколько проигрышей, так как мне казалось, что я почти предвидел их. Иногда я даже говорил себе: «Вот эту ставку я проиграю, *должен проиграть*». Я был словно наэлектризован. Наступил момент, когда меня охватило вдохновенное желание рискнуть всем, раз и навсегда. Я выиграл. У меня звенело в ушах; я был весь в холодном поту. Мне показалось, что один из крупье, словно удивленный такой постоянной удачей, следит за мной. Я заколебался, но во взгляде этого человека я прочел нечто вроде вызова и, не размышляя, вновь рискнул всем, что у меня было и что я выиграл. Моя рука сама потянулась к прежнему номеру — тридцать пять; я хотел было снять ставку, но затем, словно повинуюсь чьему-то приказанию, опять положил деньги на место.

Я закрыл глаза и, должно быть, очень побледнел. Стало необычайно тихо, и мне показалось, что все происходит только ради меня одного, что все разделяют со мной страшное тревожное ожидание. Шарик вертелся, вертелся целую вечность с медленностью, которая от секунды к секунде делала попытку все более невыносимой.

Наконец он остановился.

Я уже знал, что крупье привычным голосом (мне казалось, что слова его доносятся откуда-то издалека) сейчас объявит:

— Trente-cinq, noir, impair et passe! ¹

Я взял деньги и ушел, шатаюсь словно пьяный. Измученный вконец, я упал на диван и откинул голову на спинку, чувствуя неожиданную непреодолимую потребность хоть немного заснуть, забыться. Но когда я почти поддался этому желанию, я почувствовал на себе такую физически ощутимую тяжесть, которая немедленно заставила меня очнуться. Сколько я выиграл? Я открыл глаза, но был вынужден снова закрыть их — у меня кружилась голова. Жара в зале была невыносимая. Как! Неужели уже вечер? Я мельком увидел зажженные огни. Сколько же времени я играл? Я тихонько встал и вышел.

Снаружи, в подъезде, я увидел дневной свет. Свежий воздух подбодрил меня.

Гуляющих в саду было не много: одни прохаживались задумчиво и одиноко, другие по двое и по трое, болтая и покуривая.

Я наблюдал за всеми. Человек в этих местах новый, еще не освоившийся, я стремился хоть немного походить на завсегдатая. Особенно пристально я присматривался к тем, кто держался наиболее развязно. Порою, когда я меньше всего этого ожидал, кто-нибудь из таких людей бледнел, устремлял глаза в одну точку, бросал папиросу и под смех окружающих возвращался в игорный дом. Почему его собеседники смеялись? Но ведь смеялся и я — произвольно и с каким-то идиотским видом.

— A toi, mon chéri ², — услышал я тихий, немного хриплый женский голос.

Я обернулся и увидел одну из тех женщин, которые вместе со мной сидели у игорного стола: она, улыбаясь, протягивала мне розу. Другую она оставила себе. Она только что их купила у цветочницы в вестибюле.

Неужели у меня был такой смешной и глупый вид? Страшное раздражение охватило меня. Даже не поблагодарив, я отказался от подарка и отодвинулся от женщины; но она только рассмеялась, взяла меня под руку и, всем видом показывая окружающим, что у нас с ней интимный разговор, торопливо и тихо заговорила со мной. Я понял, что она присутствовала при моем выигрыше и предлагает мне играть вместе с ней: она хотела по моим указаниям ставить и за себя, и за меня.

¹ Тридцать пять, черное, нечет и пас! (франц.).

² Вот тебе, милый (франц.).

Меня передернуло, я презрительно отвернулся и ушел. Несколько позже, вернувшись в игорный зал, я увидел, что она разговаривает с низеньким смуглым бородатым косоглазым господином, по виду испанцем. Она дала ему розу, которую раньше предлагала мне. По тому, как они повернулись при моем появлении, я понял, что они говорили обо мне, и решил быть настороже.

Я вошел в другой зал и приблизился к первому столу, не собираясь играть; и вот, немного спустя, этот господин, уже без спутницы, тоже подошел к столу, делая вид, что не заметил меня.

Тогда я усталился на него, желая дать ему понять, что я все заметил и что меня не проведешь.

Но он совсем не походил на мошенника. Я видел, что он играет и притом крупно: он проиграл подряд три ставки, торопливо моргая — наверно, потому, что ему было трудно скрыть свое волнение. Проиграв третью ставку, он посмотрел на меня и улыбнулся.

Я оставил его там и вернулся в другой зал, к столу, за которым я выиграл.

Крупье сменился. Женщина сидела там же, на прежнем месте. Я встал сзади, чтобы она меня не заметила, и увидел, что она играет по маленькой и ставит не каждый раз. Я протиснулся вперед. Она меня заметила, хотела поставить, но удержалась. Она явно ждала, пока я начну играть, чтобы поставить на тот же номер, что и я. Но ждала напрасно. Когда крупье объявил: «*Le jeu est fait. Rien ne va plus*», я посмотрел на нее. Она подняла палец и шутливо погрозила мне. Несколько раз я пропустил, потом, снова придя в возбуждение при виде играющих и чувствуя, что во мне зажигается прежнее вдохновение, перестал обращать на нее внимание и снова стал играть.

По какому таинственному наитию я так безошибочно ориентировался в непостижимом разнообразии комбинаций чисел и цветов? Во мне, наверно, жило какое-то изумительное подсознательное предвидение. Как можно иначе объяснить то безумное, поистине безумное упорство, одно воспоминание о котором бросает меня в дрожь? Ведь я рисковал всем, быть может — самой жизнью, и мои ставки были самым настоящим вызовом судьбе. Но нет, в те минуты, когда я покорял и околдовывал судьбу, подчиняя ее капризы своей воле, у меня было сознание небывалой, почти демонической силы. И эта уверенность жила не только во мне: она мгновен-

но заразила окружающих, и теперь почти все они, затаив дыхание, следили за моей отчаянной игрой. Не помню уж точно, сколько раз подряд выиграло красное, на которое я упорно ставил; когда я ставил на нуль, выходил и нуль. Даже тот юноша, который вытаскивал золотые из кармана панталон, наконец встряхнулся и словно воспламенился. Толстый смуглый господин хрипел громче обычного. Возбуждение вокруг стола росло с каждой минутой; всех от нетерпения была дрожь, все делали короткие нервные жесты, с трудом сдерживая мучительную и страшную ярость. Даже крупные утратили свою каменную бесстрастность.

Внезапно, сделав огромную ставку, я ощутил что-то вроде головокружения. Мне показалось, что на мне лежит чудовищная ответственность. Я почти ничего не ел с утра и поэтому весь дрожал от длительного и сильного возбуждения. Я больше не мог подавлять его и после этой ставки направился к выходу, но тут же почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Коренастый бородастый испанец с глазами, метавшими молнии, возбужденно пытался удерживать меня. Сейчас четверть двенадцатого, крупные приглашают сделать три последние ставки; мы могли бы сорвать банк.

Он говорил на комичном, ломаном итальянском языке, а я, ничего уже не соображая, упорно отвечал ему на своем родном языке:

— Нет, нет! Довольно! Я больше не могу! Позвольте мне уйти, дорогой синьор!

Он отпустил меня, но пошел за мной. Вместе со мной он сел в поезд на Ниццу и потребовал, чтобы я непременно поужинал с ним и остановился в том же отеле, что и он.

Сначала мне было приятно то почти боязливое восхищение, которое проявлял этот человек, обращавшийся со мной так, словно я волшебник. Человеческое тщеславие не отказывается иногда воздвигать себе пьедестал даже из оскорбительного подобострастия, даже из горького и зловонного фимиама недостойной и ничтожной лести. Я был похож на полководца, который случайно, сам не зная как, выиграл тяжелое и безнадежное сражение. Но вскоре я уже начал понимать это, пришел в себя, и общество нового знакомого стало постепенно раздражать меня.

Однако по приезде в Ниццу мне, как я ни старался, не удалось от него отделаться, и пришлось пойти с ним

ужинать. И тогда он признался, что туда, в подъезд казино, прислала его та самая женщина, веселенькая дамочка, которой он в течение трех дней прилаживал крылышки из банковых билетов, чтобы она могла летать хотя бы над самой землей, то есть, проще говоря, дал несколько сот лир, чтобы она попытала счастье. Дамочка, вероятно, порядочно выиграла в этот вечер, ставя на мои номера, потому что при выходе ее уже не было видно.

— Что поделаешь! Бедняжка, наверно, нашла себе что-то получше: я ведь уже старик. Впрочем, благодарю бога за то, что он избавил меня от нее.

Он сказал мне, что живет в Ницце уже около недели и каждое утро ездит в Монте-Карло, где до этого вечера неизменно и крупно проигрывал. Он хочет знать, как я научился выигрывать. Вероятно, я понял механизм игры и постиг какое-то ее непреложное правило.

Я рассмеялся и ответил, что до сегодняшнего утра не видел рулетки даже на картинках и что не только совершенно не знал, как люди играют, но даже отдаленно не предполагал, что буду играть и столько выиграю. Я изумлен и поражен этим больше, чем он.

Он не поверил мне. Я убедился в этом, когда, ловко изменив тему (он, без сомнения, считал, что имеет дело с патентованным мошенником) и совершенно непринужденно изъясняясь на своем полуиспанском, полу бог знает каком языке, он предложил мне то же самое, на что пытался подбить меня утром, запустив в меня коготки той веселенькой дамочки,

— Нет уж, увольте! — воскликнул я, стараясь все же хотя бы улыбкой смягчить его обиду на меня за отказ. — Неужели вы всерьез думаете, что в этой игре есть какие-то правила, какой-то секрет? В ней нужно одно — чтобы вам везло! Сегодня мне повезло; завтра это, может быть, не повторится, а может быть, снова удача придет. По крайней мере я надеюсь на нее.

— Но почему вы не захотели сегодня воспользоваться ею? — спросил он.

— Воспользоваться?..

— Другими словами, продолжать игру! Voilà! ¹

— Но, дорогой синьор, я играл соответственно своим средствам.

¹ Вот! (франц.).

— Bien¹, — сказал он. — Я буду ставить за вас. Вы даете свою удачу, я вкладываю деньги.

— И очень может быть, что мы проиграем! — возразил я, улыбаясь. — Нет, нет, давайте сделаем иначе. Если вы действительно считаете меня удачником, разумеется только в игре, а не во всем остальном, мы поступим так: не заключая никакого соглашения, без всякой ответственности с моей стороны, потому что я не хочу брать ее на себя, вы будете ставить большие суммы на те номера, на которые я буду ставить маленькие, как было сегодня, и если все пойдет хорошо...

Он не дал мне кончить, разразился странным смехом, которому постарался придать иронический оттенок, и отрезал:

— Ну нет, синьор! Нет! Сегодня я это делал; но завтра, конечно, не буду! Если вы согласны ставить со мной по крупной — bien! Если нет, я тоже не стану делать больших ставок. Благодарю покорно.

Я смотрел на него, стараясь понять, что он хочет сказать: в этом смехе и в этих последних словах, несомненно, скрывалось какое-то оскорбительное для меня подозрение. Я заволновался и потребовал объяснений. Он перестал смеяться, но на его лице застыло нечто вроде тени умолкшего смеха.

— Я говорю только: нет, я не стану этого делать, — повторил он. — Больше ничего я вам не скажу.

Я грохнул кулаком по столу и изменившимся голосом настойчиво потребовал:

— Напротив, вы обязаны говорить, обязаны объяснить, что означают ваши слова и дурацкий смех. Я этого не понимаю.

Пока я говорил, он все больше бледнел и словно уменьшался в размерах: он, очевидно, собирался попросить извинения. Я негодуяще пожал плечами и встал.

— Довольно! Я презираю вас и ваши подозрения, хотя даже не могу представить себе, что вы имели в виду.

Заплатив по счету, я вышел.

Я знал одного почтенного человека, чья выдающаяся умственная одаренность заслуживала самого глубокого восхищения; но им не восхищались, и, по-моему, исключительно из-за его брюк: он, насколько мне помнится, упорно носил светлые брюки в клетку, слишком плотно облегавшие его тощие ноги.

¹ Хорошо (франц.).

Платье, которое мы носим, его покрой и цвет могут дать повод думать о нас самые странные вещи. Но сейчас я чувствовал тем большую досаду, что не казался себе плохо одетым. Правда, я был не во фраке, но носил черный, траурный, вполне приличный костюм. И потом, я был в том же самом костюме, когда этот противный немец принял меня за простофилю и без всяких церемоний забрал себе мои деньги. Почему же теперь испанец принимает меня за мошенника?

«Может быть, из-за моей бородачи, — подумал я уходя, — или из-за слишком коротко остриженных волос?..»

Я отправился на поиски какой-нибудь гостиницы: я хотел запереться и сосчитать, сколько выиграл. Мне казалось, что я засыпан деньгами; они были рассованы всюду понемногу — в карманах пиджака, брюк, жилета. Золото, серебро, банковые билеты; наверное, их много, очень много!

Я услышал, что пробило два. Улицы были безлюдны. Мимо проезжал пустой фиакр, я сел в него.

Поставив пустячную сумму, я выиграл около одиннадцати тысяч лир! Я давно не видел таких денег, и сначала эта сумма показалась мне огромной. Но потом, подумав о своей прежней жизни, я почувствовал презрение к самому себе. Неужели же два года службы в библиотеке и все остальные несчастья сделали меня до такой степени мелочным?

Глядя на деньги, лежавшие на кровати, я с новой злостью принялся терзать себя:

«Ступай, добродетельный человек, скромный библиотекарь, ступай, вернись домой и порази своим сокровищем вдову Пескаторе. Она подумает, что ты украл эти деньги, и немедленно почувствует к тебе глубокое уважение. Если же и это кажется тебе недостаточной наградой за твои титанические труды, поезжай в Америку, как собирался раньше. Теперь ты можешь туда поехать: у тебя достаточно денег. Одиннадцать тысяч лир! Какое богатство!»

Я собрал деньги, бросил их в ящик комода и лег. Но заснуть не удавалось. Что же мне в конце концов делать? Вернуться в Монте-Карло и возратить этот неожиданный выигрыш? Или удовольствоваться и скромно пользоваться тем, что у меня есть? Но как? Может быть, наслаждаться достатком в кругу той семьи, которую я себе создал? Я могу чуточку получше одеть свою жену; но ведь она не только не заботилась о том, чтобы

понравиться мне, а, напротив, делала все, чтобы внушить мне отвращение к ней: целый день ходила непричесанная, без корсета, в ночных туфлях, в волочащихся по полу платьях. Вероятно, она полагала, что ради такого мужа, как я, не стоит стараться быть красивой. К тому же Ромильда еще не совсем оправилась после своих тяжелых и опасных для жизни родов. Что же касается характера, то она становилась все более раздражительной — и не только со мной, но со всеми окружающими. Обида и отсутствие живого, искреннего чувства стали для нее источником мрачности и все возрастающей лени. Она даже не привязалась к девочке: рождение ее, равно как и той, другой, прожившей всего несколько дней, стало для моей жены поражением — ведь Олива примерно через месяц без всякого труда и после легкой беременности родила красивого, цветущего мальчика. Взаимное отвращение и постоянные разногласия, неизбежно возникающие там, где нужда, как взъерошенная черная кошка, свертывается клубком на золе потухшего очага, сделали дальнейшее сожительство ненавистным для нас обоих. Так могут ли мои одиннадцать тысяч лир вернуть в дом спокойствие и оживить любовь, подло убитую вдовой Пескаторе в самом зародыше? Безумие! Что же остается? Уехать в Америку. Но зачем мне искать счастья так далеко, если оно словно нарочно хочет удержать меня здесь, в Ницце, хотя я и не мечтал ни о чем подобном, когда стоял перед витриной с выставленными в ней игорными принадлежностями? Нет, я должен доказать, что достоин удачи и милостей фортуны, если они и впрямь предназначены мне. Да, да! Все или ничего. В конце концов, проиграв, я только вернусь к прежнему своему положению, да и что такое, в сущности, одиннадцать тысяч лир?

Итак, на следующий день я вернулся в Монте-Карло. И возвращался туда еще двенадцать дней подряд. У меня уже не было ни времени, ни возможности удивляться капризу судьбы, не то что исключительно, а просто баснословно благосклонной ко мне. Я был вне себя, я совершенно сошел с ума; я удивляюсь себе и сегодня, хотя теперь слишком хорошо знаю, какое возмездие готовила мне судьба, осыпая меня такими неслыханными и безмерными щедротами. Девять дней я играл, отчаянно рискуя, и выиграл огромную сумму; на десятый день я начал проигрывать и покатился в пропасть. Удивительное чутье, словно не находя больше пищи в моей иссякшей

энергии, изменило мне. Я не смог или, верней, не сумел остановиться вовремя. И если я все-таки остановился и опомнился, то не по своей воле, а благодаря сильному впечатлению, которое произвело на меня одно ужасное зрелище, какие, вероятно, наблюдаются здесь нередко.

Утром двенадцатого дня, когда я входил в игорный зал, ко мне подошел синьор из Лугано, влюбленный в число двенадцать. С расстроенным видом и задыхаясь, он скорее знаками, чем словами, сообщил, что сейчас в саду покончил с собой один игрок. Я сразу же подумал, что это, наверно, мой испанец, и почувствовал угрызения совести. Я был убежден, что он помогал мне выигрывать. В первый день после нашей ссоры он не захотел ставить на те номера, что я, и все время проигрывал. В последующие дни, видя, что я неизменно выигрываю, он пытался ставить вместе со мной; но тогда уже я не захотел играть вместе с ним и, словно повинувшись персту самой фортуны, вездесущей и невидимой, начал бродить от одного стола к другому. Два дня я не видел испанца и с тех пор стал проигрывать, может быть именно потому, что он перестал за мной гоняться.

Подбегая к указанному месту, я был уверен, что самоубийца, простертый на траве, — именно он. Однако вместо испанца я увидел того бледного юношу, который, напуская на себя сонный и безразличный вид, вытаскивал из карманов панталон золотые и, не глядя, ставил их.

Здесь, посреди аллеи, он казался меньше ростом. Он лежал в спокойной позе, сдвинув пятки, словно сам опустился на землю, чтобы не ушибиться при падении. Одну руку он прижал к телу, другую чуть-чуть откинул в сторону, сжав кулак и вытянув указательный палец, словно все еще спускал курок. Около этой руки лежал револьвер и — несколько поодаль — шляпа. Мне сначала показалось, что пуля вышла через левый глаз: из него на лицо вытекло много теперь уже запекшейся крови. Но нет, кровь, правда, брызнула и оттуда, равно как из ноздрей и ушей, но большая часть ее вылилась из дырочки в правом виске прямо на желтый песок аллеи, который весь пропитался ею. Вокруг жужжала целая дюжина ос; некоторые особенно подлые садились прямо на глаз. Стоявшие вокруг люди не догадались прогнать их. Я вынул из кармана платок и закрыл им жестоко изуродованное лицо несчастного. Никто из присутствующих не почувствовал ко мне признательности за это: я отнял у них самую интересную часть зрелища. Я убежал из сада, вернулся

в Ниццу и в тот же день уехал. У меня было около восьмидесяти двух тысяч лир.

Я мог себе представить все на свете, за исключением того, что в тот же день вечером и со мной случится нечто подобное.

7. Я ПЕРЕСАЖИВАЮСЬ В ДРУГОЙ ПОЕЗД

Я думал так:

«Выкуплю Стиа, поселюсь в деревне, сделаюсь мельником. Человеку лучше жить поближе к земле; под ней — может быть, еще лучше.

Каждое ремесло в конце концов дает известное утешение. Даже ремесло могильщика. Мельник может утешаться стуком жерновов и мукой, летающей в воздухе и покрывающей его с ног до головы.

Уверен, что сейчас на мельнице даже дырявого мешка не найдешь. Но как только мельница будет моя... «Синьор Маттиа, нужна новая задвижка! Синьор Маттиа, сломался подшипник! Синьор Маттиа, полетели зубцы на шестерне».

Все будет так, как при покойной матушке, когда наши дела вел Маланья.

И пока я буду присматривать за мельницей, управляющий будет красть урожай с полей; а если я примусь следить за управляющим, мельник начнет воровать помол. Словом, мельник, с одной стороны, и управляющий — с другой, будут как бы раскачивать качели, а я, находясь между ними, буду наслаждаться полетом.

А может быть, лучше вынуть из почтенного сундука моей тещи один из старых костюмов Франческо Антонио Пескаторе, которые вдова хранит в нафталине и перце как священные реликвии, надеть его на Марианну Донди и послать ее в Стиа и в качестве мельника, и как наблюдателя за управляющим.

Деревенский воздух, несомненно, окажется полезен моей жене. Конечно, при появлении тещи листья на иных деревьях, вероятно, свернутся, а птицы онемеют, но источник, будем надеяться, все-таки не пересохнет. А я останусь один-одинешенек библиотекарем в Санта-Мария Либерале».

Так размышлял я, а поезд безостановочно шел вперед. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной с невероятной отчетливостью немедленно предстал труп

юноши в аллее, казавшийся таким маленьким и тихим под большими деревьями, неподвижными в свежем утреннем воздухе. Поэтому я вынужден был отвлекать себя другим видением, не менее кошмарным, но не столь кровавым в буквальном смысле слова, — я вспоминал о моей теще и жене. И я наслаждался, представляя себе сцену моего возвращения после тринадцати дней таинственного отсутствия.

Я был уверен (мне казалось, что я вижу все это как наяву), что обе они при моем появлении изобразят самое презрительное равнодушие и едва бросят на меня взгляд, словно говоря: «А-а, ты опять здесь? И ты не свернул себе шею?»

Молчат они, молчу и я.

Но немного погодя вдова Пескаторе, без сомнения, начнет плевать желчью и заговорит о службе, которую я, наверно, уже потерял.

Действительно, я увез с собой ключи от библиотеки; при известии о моем исчезновении квестура, вероятно, распорядилась взломать дверь. Не найдя в часовне моего тела и не получая обо мне никаких сведений, чиновники муниципалитета, видимо, ждали моего возвращения три, четыре, пять дней, неделю, а потом отдали мою должность какому-нибудь другому бездельнику.

Так что же это я рассиживаюсь? Я снова, по своей собственной вине, выброшен на улицу. Там мне и место. Две бедные женщины не обязаны содержать лентяя, каторжника, который исчезает неизвестно для каких новых подвигов, и т. д., и т. д.

А я молчу.

Постепенно из-за моего презрительного молчания желчь у Марианны Донди разливается, кипит, хлещет через край, а я все сижу и молчу. Наконец наступает минута, когда я вынимаю из нагрудного кармана бумажник и начинаю отсчитывать на столе мои тысячи: вот, вот, вот и вот.

У Марианны Донди и у жены широко раскрываются глаза и рты.

Потом:

— Где ты их украл?

...Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят одна; пятьсот, шестьсот, семьсот; десять, двадцать, двадцать пять; восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять лир и сорок чентезимо в кармане.

Я спокойно собираю деньги, кладу их в бумажник и встаю:

— Вы не хотите, чтобы я жил с вами? Ну что ж, весьма благодарен! Всего наилучшего, я ухожу.

Я смеялся, думая об этом.

Мои спутники наблюдали за мной и тоже исподтишка смеялись.

Тогда, чтобы придать себе более серьезный вид, я начал думать о кредиторах, которым мне придется раздать эти банковские билеты. Скрыть их я не смогу. Да и зачем мне они, если их нужно прятать?

Истратить их для собственного удовольствия эти сабаки мне, конечно, не позволят. Чтобы восстановить свои права на мельницу в Стиа и на доходы с имения, придется заплатить также и властям, которые сдерут с меня долги в двойном размере (за мельницу с меня тоже возьмут в двойном размере) — ведь в противном случае они должны будут ждать уплаты еще бог знает сколько лет. Впрочем, теперь, предложив им наличные, я, быть может, сумею отделаться от них на более сходных условиях. И я пустился в подсчеты:

«Столько-то этому сукину сыну Реккьоне, столько-то Филиппо Бризиго — ах, с каким удовольствием я оплатил бы этими деньгами расходы по его похоронам: он по крайней мере перестал бы сосать кровь из бедняков... Столько-то Чикину Лунаро, туринцу, столько-то вдове Липпани... Кому еще? Ну, кредиторов хватает: делла Пьена, Босси, Марготтини. Вот и весь мой выигрыш.

Но разве для них я выигрывал в Монте-Карло? Какая обида, что эти два дня я проигрывал. Не будь этого, я снова был бы богат, да, богат».

Тут я начал так вздыхать, что мои спутники заулыбались еще откровеннее. Но я не мог успокоиться. Наступал вечер, воздух стал пепельно-серым, и дорожная тоска сделалась окончательно невыносимой.

На первой итальянской станции я купил газету, в надежде, что чтение усыпит меня. Я развернул ее и при свете электрической лампочки начал читать. Я имел счастье узнать, что замок Валансе, вторично пущенный с аукциона, достался синьору графу де Каstellане за два миллиона триста тысяч франков. Прилегающие земли составляют две тысячи восемьсот гектаров; это самое обширное поместье во Франции.

«Почти совсем как Стиа».

Я узнал, что германский император принял в Потсда-

ме в полдень марокканскую миссию и что на приеме присутствовал статс-секретарь барон Рихтхофен. Потом Миссия была представлена императрице и приглашена на завтрак. И обжиралась же, наверно, там эта миссия!

Русские царь и царица приняли в Петергофе чрезвычайную тибетскую миссию, которая привезла их императорским величествам дары от далай-ламы.

«Дары от далай-ламы? — спросил я себя, задумчиво закрыв глаза. — Что это за дары?»

Вероятно, это был опий, потому что я уснул. Но опий этот действовал слабо — я скоро проснулся от толчка: поезд остановился на очередной станции.

Я посмотрел на часы; было четверть девятого. Значит, через часок приеду.

Газета все еще была у меня в руках, и я перевернул ее в надежде найти на второй странице что-нибудь получше, чем дары далай-ламы. Взгляд мой упал на заголовок, набранный крупным шрифтом:

САМОУБИЙСТВО

Я подумал сперва, что речь идет о самоубийстве в Монте-Карло, и торопливо начал читать, но удивленно остановился на первой же напечатанной петитом строчке: «Нам телеграфируют из Мираньо...»

Мираньо?

Кто же покончил с собой в моем городке? Я прочитал:

«...вчера, в субботу 28-го, в мельничном шлюзе был замечен сильно разложившийся труп...»

Внезапно туман застлал мне глаза; мне показалось, что я вижу на следующей строке название моего бывшего поместья; а так как мне трудно было читать мелкий шрифт одним глазом, я встал и подошел поближе к свету.

«...разложившийся труп. Мельница расположена в имении Стиа, примерно в двух километрах от нашего городка. Когда на место прибыли судебские власти и другие должностные лица, труп был извлечен из шлюза на предмет освидетельствования и отдан под охрану. Позже он был опознан и оказался телом нашего...»

К горлу у меня подступил ком, и я как безумный посмотрел на моих спящих спутников.

«...На место прибыли... извлечен... под охрану... опознан и оказался телом нашего библиотекаря...»

Моим?

«...Прибыли на место... позже... телом нашего библиотекаря Маттиа Паскаля, исчезнувшего несколько дней назад. Причина самоубийства — денежные затруднения».

Я?

«Исчезнувшего... опознан... Маттиа Паскаль...»

Много раз подряд с дикой злостью и смятенным сердцем перечитал я эти несколько строк. В первую минуту все мои жизненные силы взбунтовались и запротестовали, словно это известие, раздражающее своей бесстрастной лаконичностью, могло быть правдой и для меня. Но что из того, что для меня оно — ложь? Для других-то оно правда. Уверенность в моей смерти, которую со вчерашнего дня прониклись все мои сограждане, невыносимо угнетала и давила меня... Я вновь посмотрел на моих спутников, и мне показалось, что и они уснули здесь, на моих глазах, с этой же уверенностью. Меня так и подмывало растрясти скорчившихся в неудобных позах пассажиров, растолкать их, разбудить и крикнуть им, что это неправда.

Возможно ли?

И я еще раз перечитал ошеломляющее известие.

Я не мог больше сидеть неподвижно. Мне хотелось, чтобы поезд остановился или рухнул в бездну; его монотонное движение, жестокое, глухое, тяжелое, автоматическое, все больше и больше усиливало мою взволнованность. Я непрерывно сжимал и разжимал пальцы, впиваясь ногтями в ладони; я мял газету и разглаживал ее, снова и снова перечитывал известие, в котором уже знал наизусть каждое слово.

«Опознан!» Но возможно ли, что меня опознали?..

«...Сильно разложившийся...» Фу!

На мгновение я увидел себя в зеленоватой воде шлюза, грязного, распухшего, отвратительного. Инстинктивным движением я скрестил руки на груди и принялся тискать и ощупывать себя пальцами.

«Нет, нет, это был не я... Но кто же это? Он, конечно, походит на меня... Может быть, у него такая же борода, такое же телосложение... И они меня опознали... «Исчезнувшего несколько дней назад». Ну и ну! Хотел бы

я знать, кто это так поторопился опознать меня! Возможно ли, что этот несчастный так похож на меня? Одет как я? Совсем одинаково? Может быть, это она виновата, она, Марианна Донди, вдова Пескаторе? О, она меня тотчас же нашла, тотчас же опознала! Можно себе представить, до чего же она была поражена! «Это он, это он! Мой зять! Ах, бедный Маттиа! Ах, бедный мой сынок!» И она, наверно, даже заплакала, даже встала на колени перед трупом этого бедняги, который не может пнуть ее ногой и крикнуть: «Убирайся отсюда, я тебя не знаю».

Я весь дрожал. Наконец поезд остановился на очередной станции. Я открыл дверь и выбежал, смутно сознавая, что я немедленно должен что-то сделать — лучше всего послать телеграмму-молнию с опровержением.

Прыжок из вагона спас меня: он как бы вытряхнул из моей головы глупую навязчивую мысль, и я на мгновение увидел... да, увидел свое освобождение, новую, свободную жизнь.

У меня восемьдесят две тысячи лир, и я никому не должен отдавать их! Я мертв! Мертв! У меня нет долгов, жены, тещи... никого! Я свободен, свободен! Чего мне еще надо?

Я, вероятно, производил очень странное впечатление, когда размышлял обо всем этом, сидя на станционной скамейке. Вокруг меня толпились какие-то люди и что-то мне кричали, наконец один из них толкнул меня, потряс и крикнул еще громче:

— Поезд уходит!

— Пусть уходит! Пусть уходит, дорогой синьор! — крикнул я в ответ. — Я пересаживаюсь!

И тут меня охватило сомнение: а не будет ли опровергнуто сообщение о моей смерти? Наверно, в Мираньо уже поняли, что произошла ошибка, наверно родные мертвеца уже объявились и опознали истинную его личность.

Прежде чем радоваться, надо как следует удостовериться, получить точные и подробные сведения. Но как добыть их?

Я пошарил в карманах, ища газету, но оказалось, что я забыл ее в поезде. Я посмотрел на пустынное полотно железной дороги, которое, сверкая, тянулось в молчании ночи, почувствовал себя словно затерянным в пустоте на этой жалкой, маленькой промежуточной станции, и сомнение охватило меня с еще большей силой: а вдруг все это мне просто приснилось?

Но нет:

«Нам телеграфируют из Мираньо: вчера, в субботу 28-го...»

Да я могу слово в слово повторить всю телеграмму. Нет никаких сомнений! И все же этого слишком мало, это никак не может удовлетворить меня. Я посмотрел на здание станции, она называлась Аленга.

Найду ли я здесь другие газеты? Я вспомнил, что сегодня воскресенье. Значит, сегодня утром в Мираньо вышла «Фольетто», единственная газета, печатавшаяся там. Во что бы то ни стало я должен раздобыть этот номер. В нем я найду все нужные мне подробности. Но разыскать «Фольетто» в Аленге вряд ли удастся. В таком случае я телеграфирую от чужого имени в редакцию газеты. Я был знаком с ее издателем Миро Кольци, Жаворонком, как называли его все жители Мираньо, с тех пор как он, еще совсем мальчиком, опубликовал под этим милым заголовком свою первую и последнюю книгу стихов.

Но ведь просьба прислать экземпляр газеты в Аленгу, несомненно, покажется Жаворонку чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, самое интересное известие на прошлой неделе и, следовательно, «гвоздь» воскресного номера — мое самоубийство. Так не рискую ли я возбудить подозрение, обращаясь в редакцию с таким необычным требованием?

«Полно! — успокаивал я себя. — Жаворонку даже в голову не придет, что я не утопился. Он подумает, что причина запроса — какое-нибудь другое важное сообщение, опубликованное в сегодняшнем номере. Он уже давно и мужественно борется с муниципалитетом за водо- и газопровод. Скорее всего он решит, что просьба прислать газету связана с поднятой им кампанией».

Я вошел в здание станции.

К счастью, кучер единственного здешнего экипажа — почтовой повозки — задержался на станции, чтобы поболтать с железнодорожными служащими; езды до поселка было примерно три четверти часа, и дорога все время шла в гору.

Я влез в эту разболтанную, дребезжащую повозку без фонарей — и вперед, в ночной мрак!

Мне нужно было многое обдумать; время от времени при мысли о том сильном потрясении, которое вызвало во мне столь близко касавшееся меня известие, я испытывал чувство мрачного, неведомого мне донныне одино-

чества, и мне, как давеча, при виде безлюдного железнодорожного полотна, на мгновение показалось, что я очутился в пустоте; я был беспощадно вырван из прежней жизни, пережил самого себя и в совершенной растерянности стоял перед лицом новой, посмертной жизни, не зная, как она сложится.

Чтобы отвлечься, я спросил у извозчика, есть ли в Аленге газетный киоск.

— Как вы сказали? Нет, синьор.

— Разве в Аленге не продаются газеты?

— Продаются, синьор. Ими торгует аптекарь Гроттанелли.

— А гостиница у вас есть?

— Есть трактир Пальментино.

Извозчик слез с повозки, чтобы хоть немного помочь старой кляче, которая сопела от натуги и чуть ли не тыкалась носом в землю. Я едва видел его в темноте. Когда он раскуривал трубку, я на мгновение различил черты его лица, контуры фигуры и подумал: «Если бы он знал, кого везет!..»

И немедленно задал этот же вопрос самому себе:

«Кого он везет? Но ведь я и сам не знаю этого. Кто же я теперь? Надо поразмыслить. По крайней мере надо сейчас же придумать себе имя, которым можно подписать телеграмму, какое-нибудь имя, чтобы не растеряться, если в трактире спросят, как меня зовут. Покамест достаточно придумать имя. Ну, так как же меня зовут?»

Я никогда бы не подумал, что выбор имени и фамилии будет стоить мне такого труда. Особенно фамилии. Я наугад нанизывал слоги — получались разные фамилии: Строццани, Парбетти, Мартони, Баргузи, но все они лишь еще больше раздражали меня. Я не видел в них никакого значения, никакого смысла. Как будто фамилия должна что-то означать... Ладно, выберу первое, что придет на ум. Например, Мартони... А почему бы и нет? Карло Мартони. Ну вот и готово. Но через минуту я уже отвергал его. Пусть лучше будет Карло Мартелло... И мучение начиналось снова.

Я доехал до поселка, так и не выбрав себе имени. К счастью, аптекарю, который совмещал обязанности фармацевта, телеграфиста, почтового чиновника, продавца канцелярских товаров, газетчика, мошенника и не знаю еще кого, имени не понадобилось. Я купил номера тех немногих газет, которые он получал, — генуэзские

«Каффаро» и «XIX век» — и осведомился, не найдется ли у него «Фольетто» из Мираньо.

У аптекаря Гроттанелли была совиная голова и круглые, словно стеклянные глаза, на которые он время от времени с видимым усилием опускал хрящеватые веки:

— «Фольетто»? Не знаю такой.

— Это провинциальная еженедельная газетка, — пояснил я. — Мне хотелось бы получить ее. Само собой разумеется, сегодняшний номер.

— «Фольетто»? Не знаю такой, — твердил он.

— Ну ладно. Знаете вы ее или нет, не важно. Я заплачу за телеграфный запрос в редакцию, можно ли получить десять — двадцать экземпляров завтра же или, во всяком случае, как можно скорее. Это осуществимо?

Аптекарь не отвечал и, устремив незрячий взгляд в пространство, все повторял: «„Фольетто“? Не знаю такой...» Наконец он согласился сделать под мою диктовку телеграфный запрос с обратным адресом на свою аптеку. На другой день, после бессонной ночи, взбудораженный бурным потоком мыслей, я получил в трактире Пальментино пятнадцать экземпляров «Фольетто».

В двух геновских газетах, которые я прочитал, как только остался один, я не нашел ни малейшего намека на свое самоубийство. У меня дрожали руки, когда я развернул «Фольетто». На первой странице — ничего. Я стал искать на развороте, и мне в глаза немедленно бросилась траурная рамка вверху третьей страницы, а в ней большими буквами мое имя:

МАТТИА ПАСКАЛЬ

«Уже несколько дней мы не имели о нем сведений. Это были дни страшной скорби и невыразимой тревоги за несчастную семью, скорби и тревоги, разделяемой лучшей частью наших сограждан, которые уважали и любили Паскаля за душевную доброту, веселость и прирожденную скромность — черты характера, позволявшие ему, обладателю многих других достоинств, терпеливо и без всякой приниженности переносить удары враждебной судьбы, ибо в последнее время бездумное довольство сменилось для него весьма стесненными обстоятельствами.

Когда после первого дня необъяснимого отсутствия мужа его взволнованная семья направилась в библиотеку Боккамаццы, где он весьма усердно трудился, проводя

там целые дни и стараясь обогатить свой живой ум серьезным чтением, дверь оказалась запертой; эта замкнутая дверь немедленно породила черное и мучительное подозрение, которое вскоре, однако, было заглушено надеждой, теплившейся несколько дней и постепенно слабевшей, — надеждой, что Маттиа Паскаль уехал из родного города по каким-то своим тайным соображениям.

Увы, действительность опровергла эти упования!

Недавняя единовременная утрата обожаемой матери и единственной дочери, последовавшая за потерей наследственного состояния, глубоко потрясла душу нашего бедного друга. Еще около трех месяцев тому назад он пытался прервать свои скорбные дни в шлюзе той самой мельницы, которая напоминала ему о прежнем процветании его дома и счастливом прошлом.

Тот страдает высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастьи...

Нам, всхлипывая над распухшим, разложившимся трупом, поведая об этом заплаканный старый мельник, верный и преданный слуга прежних хозяев. Наступила мрачная ночь. Близ трупа, охраняемого двумя чинами королевской полиции, был поставлен красный фонарь, и старый Филиппо Брина (называем его имя в назидание всем добрым людям) говорил и плакал вместе с нами. В ту печальную ночь ему удалось помешать несчастному осуществить свое безумное намерение, но в этот раз другого Филиппо Брины, который вторично воспрепятствовал бы страшному замыслу, не нашлось, и Маттиа Паскаль пролежал всю ночь, а может быть, и половину следующего дня, в мельничном шлюзе.

Мы не будем даже пытаться описывать душераздирающую сцену, которая разыгралась позавчера под вечер, когда неутешная вдова предстала перед неузнаваемыми жалкими останками любимого друга жизни, ушедшего вслед за их дочуркой.

Весь городок принял участие в ее горе и пожелал выразить ей сочувствие, проводив в последний путь ее супруга, над телом которого произнес краткую почувствованную речь коммунальный советник кавалер Помино.

¹ Данте. Божественная комедия, Ад, песнь 5 (перевод М. Лозинского).

Мы выражаем самое глубокое соболезнование погруженной в траур семье несчастного и брату его Роберто, живущему вдали от родного Мираньо, и в последний раз с растерзанным сердцем говорим нашему доброму Маттиа: «Vale¹, возлюбленный друг, vale!».

М. К.»

Даже без этих инициалов я догадался бы, что некролог принадлежит перу Жаворонка.

Должен прежде всего признаться, что мое имя, напечатанное под черной чертой, хоть я и ожидал этого, не только не обрадовало меня, но даже вызвало у меня отчаянное сердцебиение; поэтому, прочитав несколько строк, я вынужден был прервать чтение: «страшная скорбь» и «невыразимая тревога» моей семьи, равно как любовь и уважение сограждан к моим добродетелям и служебному усердию, отнюдь не рассмешили меня. Сначала я удивился тому, как неожиданно и мрачно связалось с фактом моего самоубийства воспоминание о самой несчастной в моей жизни ночи, которую я провел в Стиа после смерти матери и дочурки и которая стала теперь, пожалуй, наиболее убедительным подтверждением моего самоубийства; потом я почувствовал себя униженным и начал испытывать угрызения совести. Нет, я не покончил с собой из-за смерти мамы и дочурки, хотя в ту ночь у меня, вероятно, была такая мысль. Я действительно в отчаянии бежал из родного городка, но теперь я возвращался из игорного дома, где мне самым неожиданным образом улыбнулась судьба, которая, как видно, продолжала благоволить ко мне; вместо меня с собою покончил другой, какой-нибудь чужестранец, которого я лишил сочувствия далеких родных и друзей и — какая ирония! — обрек на то, что адресовалось совсем не ему: на притворные сожаления и даже похвальное надгробное слово напудренного кавалера Помино.

Таково было мое первое впечатление от некролога в «Фольетто».

Но потом я подумал, что этот бедный человек умер, конечно, не из-за меня и что, объявившись живым, я все равно его не воскрешу, тогда как, воспользовавшись его смертью, я не только не обманываю его родных, но даже приношу им пользу: раз для них мертв я, а не он, они

¹ Прощай (лат.).

могут считать его пропавшим без вести и питать надежду рано или поздно увидеться с ним.

Оставались моя жена и теща. Как я мог поверить, что они горюют о моей смерти, испытывая ту «невыразимую и страшную скорбь», которую расписывал Жаворонок в своем сенсационном некрологе. Ведь им нужно было только тихонько приоткрыть несчастному один глаз, чтобы убедиться, что это не я; право же, не имея на то желаний, женщине не так уж легко принять постороннего человека за своего мужа.

Почему они так поторопились опознать меня в этом мертвецe? Уж не надеется ли вдова Пескаторе, что Маланья, взволнованный моим ужасным самоубийством и, возможно, даже почувствовавший угрызения совести, придет на помощь бедной вдове? Ну что ж, если довольны они, то я и подавно.

Умер? Утопился? Поставить на всем крест, и больше говорить не о чем! Я встал, потянулся и вздохнул с глубоким облегчением.

8. АДРИАНО МЕИС

И вот, не столько для того, чтобы обмануть других, которые, кстати, и сами хотели обмануться, сколько повинувшись судьбе и собственным стремлениям, я с легкомыслием, в данном случае не столь уж достойным порицания, хотя, конечно, не заслуживающим и одобрения, начал создавать из себя другого человека.

Тот несчастный, который, как всем угодно было считать, самым жалким образом погиб в мельничном шлюзе, почти или даже совсем не стоил похвал. Он наделал столько глупостей, что это, вероятно, и была самая подходящая для него участь.

Я хотел, чтобы теперь во мне не осталось никакого следа от него — не только внешне, но и внутренне.

Теперь я был один, и никто на земле не мог быть более одинок, чем я. Я был избавлен от всех связей и обязательств, свободен, обновлен; полный хозяин самому себе, я был не обременен прошлым и стоял лицом к лицу с будущим, которое мог строить по собственному желанию.

Если бы мне крылья! Я чувствовал себя таким легким!

Те понятия, которые привила мне моя прошлая

жизнь, не имели теперь для меня никакого значения.

Мне предстояло обрести новое мироощущение, насколько не считаясь с печальным опытом покойного Маттиа Паскаля.

Все зависело от меня: я мог и должен был стать кузнецом моего обновленного бытия в тех пределах, которые судьба пожелает мне указать.

«И прежде всего, — говорил я себе, — я буду дорожить своей свободой, буду прогуливаться с нею по ровным и всегда новым дорогам и не дам ей надевать на себя слишком тяжелые одежды. Как только зрелище жизни покажется мне неприятным, я просто закрою глаза и пройду мимо. Я постараюсь наслаждаться вещами, которые принято называть бездушными, буду искать красивых пейзажей, спокойных, приятных мест, постепенно перевоспитаю и преобразую себя, буду настойчиво и любознательно учиться, чтобы в конце концов получить право считать, что я не только прожил две жизни, но и был двумя разными людьми».

Еще в Аленге за несколько часов до отъезда я зашел к парикмахеру побриться; я хотел сразу сбрить бороду и усы, но меня удерживала боязнь возбудить подозрения в этом маленьком поселке.

Цирюльник оказался одновременно и портным. Он так давно привык сидеть согнувшись, в одной и той же позе, что его ребра словно склеились, и очки он носил на кончике носа. Должно быть, он все-таки был скорее портной, чем цирюльник. Вооружась портновскими ножницами, концы которых приходилось сводить свободной рукой, он, словно ангел, карающий грешника, набросился на мою густую бороду, которая мне уже не принадлежала. Не смея липший раз дохнуть, я закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда почувствовал, что меня трясут за плечо.

Добрый человек, весь в поту, протягивал мне зеркальце, чтобы я мог удостовериться, как хорошо он поработал.

Это уже было слишком.

— Нет, благодарю, — отстранил я брадобрея. — Положите зеркальце на место, я не хочу пугать его.

Цирюльник вытаращил глаза и спросил:

— Кого?

— Да само это зеркальце. Кстати, оно у вас красивое и, по-видимому, старинное.

Зеркальце было круглое, с костяной, украшенной инкрустациями ручкой. Какова его история и как попало оно сюда, в эту цирюльню-портняжную? В конце концов я все-таки поднес его к лицу, чтобы не огорчать хозяина, изумленно глазевшего на меня.

Хорошо ли он поработал?

После этой первой попытки я увидел, какое чудовище появится на свет, когда вскоре будет произведено коренное изменение примет Маттиа Паскаля. Вот еще одна причина ненависти к нему! Крохотный, остренький, вдавленный подбородок, который я столько лет прятал под своей бородой, показался мне особенно предательским. Какой нос оставили мне в наследство? А глаз?

«Ах, этот глаз, восторженно смотрящий в сторону! — сокрушался я. — Он всегда останется прежним, даже на этом новом лице. Самое лучшее, что я могу придумать, — это скрыть его за темными очками, которые, будем надеяться, придадут мне более приятный вид. Я отращу длинные волосы, и тогда красивый высокий лоб, очки и бритое лицо сделают меня похожим на немецкого философа. Носить я буду сюртук и широкополую шляпу».

У меня не было выбора: такой тип наружности требовал, чтобы я стал философом. Ну что ж, немного усилий, и я вооружусь скромной улыбочивой философией, чтобы пройти своим путем среди несчастного человечества, которое, несмотря на все мои старания, всегда будет казаться мне чуточку смешным и ничтожным.

Новое имя мне, в сущности, было прямо подсказано в поезде, несколько часов тому назад отошедшем из Аленги в Турин.

Я ехал с двумя синьорами, возбужденно спорившими о христианской иконографии, в которой оба они, как показалось такому невежде, как я, были весьма сведущи. У одного из них, более молодого, лицо обросло жесткой черной бородой; он с явным и, по-видимому, немалым удовольствием доказывал, что, согласно весьма, по его словам, древним свидетельствам, подтвержденным великомучеником Юстином, Тертулианом и кем-то еще, Христос отличался в высшей степени непривлекательной внешностью.

Он говорил глухим голосом, странно контрастировавшим с вдохновенным видом его обладателя.

— Да, безобразен, крайне безобразен. Кстати, Кирилл Александрийский, да, именно Кирилл Александрий-

ский, тоже утверждает, что Христос был самым уродливым из людей.

Его собеседник, худенький-прехуденький старичок, спокойный и аскетически бледный, но с тонкой иронической складкой в уголках рта, сидел сгорбясь и вытянув длинную шею, словно подставленную под ярмо; он утверждал, что древним свидетельствам доверять нельзя.

— Дело в том, что церковь, стремившаяся воспринять доктрину и дух своего вдохновителя, мало, вот именно — мало, думала о его телесном облике.

Тут они заговорили о Веронике и о двух статуях в городе Панаде, сочтенных изображениями Христа и кающейся Магдалины.

— Вот еще! — воскликнул бородатый молодой человек. — Теперь на этот счет не осталось никаких сомнений: статуи изображают императора Адриана и город, склонившийся к его ногам.

Старичок продолжал незлобиво отстаивать свое мнение, видимо противоположное, потому что его собеседник не сдавался и, поглядывая на меня, упорно повторял:

— Адриан!

— По-гречески Беронике, отсюда — Вероника.

— Адриан! (Реплика обращена ко мне.)

— Или же Вероника от *Veraison* — искажение вполне вероятное.

— Адриан! (Ко мне.)

— Потому что Веронике из «Деяний Пилата»...

— Адриан!

И бородач без устали твердил «Адриан», все время поглядывая на меня.

Когда они оба сошли на какой-то станции и оставили меня одного в купе, я подошел к окну и посмотрел им вслед. Они продолжали спорить и на ходу.

Внезапно старичок потерял терпение и пустился бегом.

— Кто это сказал? — громко и вызывающе бросил ему вслед молодой человек.

Старичок обернулся и крикнул:

— Камилло де Меис!

Мне показалось, что он прокричал это имя для меня, машинально твердившего под впечатлением этого разговора: «Адриано...» Я немедленно откинул «де» и сохранил «Меис».

— Адриано Меис. Да... Адриано Меис звучит хорошо...

Мне показалось также, что это имя отлично соответствует бритому лицу, очкам, длинным волосам и шляпе, которую я собирался носить.

— Адриано Меис! Великолепно! Меня окрестили!

Я начисто отбросил все воспоминания о предшествующей жизни и убедил себя, что с этого мгновения начинаю жить по-новому. Охваченный чистой детской радостью, я испытывал душевный подъем; мне казалось, что сознание мое вновь девственно и прозрачно, а дух бодр и готов на все ради создания моего нового «я». Я весь ликовал при мысли о вновь обретаемой свободе. Я еще никогда не смотрел на людей и вещи с такой точкой зрения; туман, скрывающий их от меня, внезапно рассеялся, и новые отношения, которые должны были установиться между нами, представились мне легкими и радостными, потому что для полного довольства мне теперь было очень мало нужно от моих близких. О сладостная легкость души, безоблачное, неизъяснимое опьянение! Судьба освободила меня от всякой путаницы, внезапно вырвала из обыденной жизни, сделала посторонним свидетелем забот, которыми все еще терзались другие, и предупреждала меня: «Увидишь, какой занятой покажется тебе жизнь, когда ты посмотришь на нее извне! Вот, например, этот бородач: он исходит желчью и приводит в бешенство бедного старичка, утверждая, что Христос был самым безобразным из людей...»

Я улыбался, беспрерывно улыбался всему на свете: деревьям, которые словно стремились мне навстречу, принимая самые странные позы на своем иллюзорном бегу; разбросанным там и сям поместьям, где арендаторы, которых я с удовольствием рисовал себе, ругательски ругают туман, врага оливковых деревьев, и грозят кулаком небу, не посылающему дождя. Я улыбался и птицам, испуганно вспархивающим при виде черного чудовища, с грохотом бежавшего по полям; улыбался дрожащим телеграфным проводам, по которым бежали в газеты новости, вроде известия из Мираньо о моем самоубийстве на мельнице Стиа; улыбался бедным беременным женам путевых обходчиков — надев на голову мужнюю фуражку, они протягивали навстречу поезду неразвернутый флажок.

Внезапно мой взгляд упал на обручальное кольцо, которое все еще сжимало безмянный палец моей левой

руки. Меня так и подбросило. Я зажмурился, схватил левую руку правой и, не глядя на этот золотой ободок, сорвал его, чтобы никогда больше не видеть. Затем я вспомнил, что кольцо раскрывается изнутри, что на нем выгравированы имена «Маттиа» — «Ромильда» и дата свадьбы. Что же мне с ним делать?..

Я открыл глаза и некоторое время, прищурясь, разглядывал кольцо, лежавшее на ладони.

Все вокруг меня сразу потемнело.

Вот последнее звено цепи, связывавшей меня с прошлым. Маленькое колечко, легонькое и в то же время такое тяжелое! Но ведь цепь порвана, значит надо уничтожить и это последнее звено.

Я хотел выбросить кольцо в окошко, но удержался. Удача сопутствовала мне с таким исключительным постоянством, что я был не вправе больше испытывать судьбу; на свете возможно все — вдруг какой-нибудь крестьянин случайно найдет на поле это колечко с выгравированными внутри его двумя именами и датой, и оно, переходя из рук в руки, раскроет истину и докажет, что в Стиа утонул вовсе не библиотекарь Маттиа Паскаль.

«Нет, н е т, — решил я, — поищем более безопасное место... Но где?»

В это время поезд остановится на очередной станции. Я посмотрел в окно, и во мне тотчас же возникла мысль, которая сначала вызвала у меня некоторое отвращение. Я говорю это, чтобы извиниться перед теми, которые стараются поменьше рассуждать, любят красивые жесты и стремятся забыть, что у людей есть кое-какие потребности, имеющие власть даже над теми, кто подавлен большим горем. И Цезарь, и Наполеон, и даже, как это на первый взгляд ни унижительно, самая красивая Женщина... Довольно. С одной стороны написано «М», с другой «Ж». Вот туда я и бросил свое обручальное кольцо.

Затем, не столько чтобы отвлечься, сколько желая придать некоторое содержание моей новой жизни, пока еще повисшей в пустоте, я начал размышлять об Адриано Меисе и придумывать ему прошлое. Я спрашивал себя, кто был мой отец, где я родился и т. д., взвешивая все, принуждал себя замечать и как следует запоминать самые мельчайшие подробности.

Я — единственный сын; на этот счет не может быть двух мнений.

Разве на свете есть человек с еще более исключительной судьбой?.. А почему бы и нет? Может быть, людей, находящихся в том же положении, моих, так сказать, собратьев, много. Ведь это же так просто — оставить шляпу и пиджак с письмом в кармане на парапете моста через реку, а потом не броситься в нее, а спокойноенько уехать себе в Америку или еще куда-нибудь. Через несколько дней вылавливают неузнаваемый труп — наверное, того, кто оставил письмо на парапете. И кончен разговор. Правда, в данном случае все произошло помимо моей воли: я не оставлял ни письма, ни пиджака, ни шляпы. Но ведь я точно такой, как все эти люди, с той лишь разницей, что могу наслаждаться свободой без всяких угрызений совести. Судьба просто подарила мне свободу, а значит...

Итак, решено: единственный сын. Я родился... Место рождения лучше бы не уточнять. Но как быть? Нельзя же родиться на облаках, чтобы луна была повивальной бабкой, хотя в библиотеке я как-то прочел, что древние, помимо прочих обязанностей, приписывали луне и эту, поэтому беременные женщины призывали ее на помощь, именуя Люциной.

На облаках, конечно, родиться нельзя, но, скажем, на пароходе можно. Вот и отлично! Я родился во время путешествия. Мои родители путешествовали, чтобы дать мне возможность родиться на пароходе. Ну, ну, довольно шутить! Какой достаточно вразумительной причиной можно объяснить путешествие беременной женщины накануне родов? Может быть, мои родители ехали в Америку? А почему бы и нет? Туда едет столько народу... Даже бедняга Маттиа Паскаль тоже собирался туда. Тогда я смогу утверждать, что там, в Америке, мой отец и заработал эти восемьдесят две тысячи лир. Впрочем, нет. Имея восемьдесят две тысячи, он подождал бы, пока жена разрешится от бремени на суше, окруженная всеми удобствами. Нет, не годится! К тому же эмигранту в Америке не так-то легко заработать такую сумму, как восемьдесят две тысячи лир. Мой отец... Кстати, как же его звали? Паоло. Да, Паоло Меис. Мой отец, Паоло Меис, как и многие другие, обманулся в своих надеждах. Он промучился несколько лет, потом, отчаявшись, написал из Буэнос-Айреса письмо дедушке.

Ах, дедушка!.. Как хотелось бы мне увидеть этого милого старичка, похожего на того знатока христианской иконографии, который только что сошел с поезда!

Непостижимые капризы фантазии! Откуда, вследствие какой необъяснимой потребности пришла мне в эту минуту мысль, что этот Паоло Меис, мой отец, был изрядным шалопаем. Да, он причинил деду много неприятностей: женился против его воли, сбежал в Америку. Он, вероятно, тоже утверждал, что Христос был крайне уродлив. Да, Христос, несомненно, казался ему уродливым и высокопарным, раз уж Паоло Меис был такой человек, что, не успев получить пособие от деда, немедленно уехал, хотя жена его вот-вот должна была родить.

Но почему я обязательно родился во время путешествия? Разве не лучше родиться просто в Америке, в Аргентине, за несколько месяцев до возвращения моих родителей на родину? Вот именно! Дед как раз и смягчился из-за невинного младенца: он простил сына только из-за меня. Таким образом, я совсем еще малюткой пересек океан, и, вероятно, в третьем классе. Во время путешествия я заболел бронхитом и выжил просто чудом. Великолепно! Так мне часто рассказывал дед. Но я вовсе не обязан сожалеть, как это принято, что я не умер тогда, в возрасте нескольких месяцев, нет, не обязан. В конце концов, какие горести пережил я в жизни? По правде сказать, у меня было только одно горе: смерть моего бедного дедушки, у которого я вырос. Мой отец, Паоло Меис, бродяга, не выносивший никакого принуждения, через несколько месяцев оставил меня и жену у дедушки и опять убежал в Америку, где умер от желтой лихорадки. Трех лет я потерял также мать и потому не помню своих родителей. У меня сохранились о них только эти скудные сведения. Более того — я даже не знаю точно, где я родился. В Аргентине, конечно. Но где? Дедушка этого не знал, потому что отец никогда ему об этом не говорил, а может быть, он просто забыл. Я, конечно, помнить этого тоже не мог.

Итак, подведем итоги. Я:

- а) единственный сын Паоло Меиса;
 - б) родился в Америке, в Аргентине (без дальнейших уточнений);
 - в) приехал в Италию нескольких месяцев от роду (бронхит);
 - г) не помню родителей и почти ничего не знаю о них;
 - д) вырос у деда.
- Где? Мы жили повсюду и нигде — подолгу. Сначала

в Ницце. Смутные воспоминания: площадь Массена, Променад, авеню де ла Гар. Потом в Турине.

Словом, я размечтался и придумал целую кучу подробностей: я выбрал улицу и дом, где дед оставил меня до десятилетнего возраста, вверив попечению семьи, которую я нарисовал себе так, чтобы она сохранила все черты обитателей данной местности; я пережил или, вернее, мысленно, но опираясь на действительность, проследил жизнь маленького Адриано Меиса.

Это припоминание или, вернее, придумывание жизни, на деле не прожитой и собранной из кусочков чужих жизней и картин, виденных мной в чужих краях, а потом ставшей моей и пережитой как моя, сделалось для меня в начале моих странствий источником новой, незнакомой радости, к которой примешивалась и доля грусти. Оно превратилось для меня в постоянное занятие. Я переживал не только настоящее, но и прошлое, то есть те годы, когда Адриано Меис еще не существовал.

Из того, что я нафантазировал в начале моих странствий, я не запомнил ничего или почти ничего. Конечно, человек не в силах придумать ничего такого, что более или менее глубоко не уходило бы корнями в действительность; однако в действительности случаются порой самые странные вещи, и никакое воображение не может изобрести более невероятные безумства и приключения, чем те, которые возникают в шумном потоке жизни и вырываются из него.

И все же как отлична подлинная, дышащая жизнью реальность от выдумок, созданных нами на основе ее! В скольких мельчайших невообразимых и все же существенных деталях нуждается наша фантазия, чтобы снова стать реальностью, породившей ее! Сколько нитей связывают ее со сложнейшей тканью жизни, нитей, которые мы обрываем, чтобы сделать ее «вещью в себе»!

Итак, я представлял собой вымышленного человека, вымышленного странника, который, будучи брошен в гущу действительности, хотел и в конце концов был по необходимости вынужден жить.

Присутствуя при жизни других и наблюдая ее во всех подробностях, я видел, какими бесчисленными нитями связан с ней, и в то же время понимал, сколько таких нитей оборвал сам. Как теперь вновь связать их? Кто знает, куда это меня заведет? Не станут ли они вожжами взбесившейся упряжки, которая увлечет в пропасть убогую повозку моей невольной выдумки? Нет, вновь

связать эти нити я могу лишь с помощью фантазии.

На дорогах и в садах я следил за мальчиками от пяти до десяти лет, изучал их манеру двигаться и играть, запоминал их выражения, чтобы постепенно составить из этих впечатлений детство Адриано Меиса. Это удалось мне так хорошо, что детство его приобрело в моем сознании почти осязаемую реальность.

Придумывать себе новую маму я не захотел — это показалось бы мне осквернением живой и скорбной памяти о моей настоящей матери. Но вот дедом, разумеется, обзавелся: он ведь был первым плодом моих фантазий.

Из скольких живых дедушек, скольких старичков, за которыми я, присматриваясь, ходил по пятам в Турине, Милане, Венеции, Флоренции, создал я своего дедушку! У одного я позаимствовал костяную табакерку и большой носовой платок в черную и красную клетку, у другого — палку, у третьего — очки и бороду лопатой, у четвертого — походку и привычку сопеть носом, у пятого — манеру говорить и смеяться, и получился славный, хотя несколько раздражительный старичок, любитель искусств, дедушка с предрассудками, не пожелавший дать мне регулярное образование и обучавший меня сам, путем живых бесед, переездов из города в город, осмотра музеев и картинных галерей.

Посещая Милан, Падую, Венецию, Равенну, Флоренцию, Перуджу, я всегда возил с собой, как тень, моего мысленного дедушку, который не раз беседовал со мной устами какого-нибудь старенького сторожа.

Но я хотел жить и для себя, в настоящем. Время от времени я задумывался о своей беспредельной, небывалой еще свободе, и меня охватывало внезапное ощущение счастья, настолько сильное, что я как бы забывался в блаженном опьянении. Это сознание свободы вливалось мне в грудь бесконечным широким потоком, словно приподнимавшим все мое существо. Я один! Один! Хозяин сам себе! Ни в чем никому не обязан отчетом! Могу уехать куда вздумается — в Венецию так в Венецию, во Флоренцию так во Флоренцию.

И мое счастье следовало за мной повсюду. О, я вспоминаю один закат в Турине на Лунго По, около моста со шлюзом, который удерживает неистово бурлящие воды. Это случилось в первые месяцы новой жизни. Воздух был изумительно прозрачен и сообщал окружающим предметам какое-то легкое сияние, наслаждаясь ко-

торым, я чувствовал такое опьянение свободой, что мне казалось, я не выдержу и сойду с ума.

Я уже изменил свой внешний облик с головы до пят: чисто выбритый, в светло-синих очках, с длинными волосами, ниспадавшими в артистическом беспорядке, я действительно казался совсем другим человеком. Иногда я останавливался перед зеркалом и разговаривал сам с собой, то и дело разражаясь смехом:

— Адриано Меис! Счастливый человек! Жаль, что ты должен выглядеть так... А впрочем, тебе-то что? Все прекрасно! Если бы не этот глаз, оставшийся от того дурака, твой странный, несколько вызывающий облик не казался бы в конце концов таким уж безобразным. Ну, да пусть женщины смеются. Ты-то, в сущности, не виноват. Если бы тот, другой, не носил короткие волосы, ты был бы не обязан носить такие длинные; и я же знаю, ты не по своей воле выбрит как священник. Что поделаешь! Если женщины смеются, смейся и ты — это для тебя самое разумное.

Замечу, кстати, что жил я почти исключительно собой и для себя. Я обменивался лишь несколькими словами с хозяевами гостиницы, со слугами, с соседями по столу, да и то не потому, что хотел завязать разговор. Я понял, что мое молчание доказывает отсутствие у меня склонности к притворству. Окружающие тоже не слишком часто заговаривали со мной. Вероятно, по моему внешнему виду они принимали меня за иностранца. Вспоминаю, как в Венеции я не сумел убедить старика гондольера, в том что я не немец и не австриец. Конечно, я родился в Аргентине, но в семье итальянцев. Подлинный же секрет моей, если можно так выразиться, необычности заключался совсем в ином, и знал его я один: я стал теперь другим человеком, и ни один город, кроме Мираньо, не числил меня в актах гражданского состояния; я был мертвецом, живущим под чужим именем.

Я этим не огорчился, но все-таки не хотел ни быть, ни слыть австрийцем. Мне еще ни разу не пришлось поразмыслить над словом «родина». Раньше я должен был думать о многом другом. Теперь, на досуге, у меня стала вырабатываться привычка вникать во многое, чем прежде я ни в коем случае не интересовался бы. Я углублялся в эти вопросы, сам того не замечая и раздраженно пожимая плечами. Но ведь надо же было и мне чем-нибудь заниматься, когда я уставал бродить по улицам и смотреть по сторонам! Чтобы отвлечься от

праздных и ненужных размышлений, я иногда исписывал лист за листом своей новой подписью, пытался писать другим почерком, держа перо иначе, чем раньше. Однако в конце концов я бросал перо и рвал бумагу. Я мог бы спокойно быть и неграмотным — кому мне писать? Я ни от кого не получал и не мог получать писем.

Эта мысль, как и многие другие, возвращала меня в прошлое. Я снова видел дом, библиотеку, улицы Мираньо, пляж и спрашивал себя: «Ромильда все еще носит траур? Наверное, да, ради приличия. Что она поделяет?» И я вспоминал ее такой, какой столько раз видел у нас дома; я представлял себе также вдову Пескаторе, которая, вероятно, проклинает даже память обо мне. Я думал: ни та, ни другая, конечно, ни разу не были на кладбище, где лежит бедный, трагически погибший человек. Интересно, где меня похоронили? Наверно, тетя Сколастика не захотела потратить на меня столько, сколько на маму: Роберто и подалее; пожалуй, он даже сказал: «Кто его заставлял? Он мог бы в конце концов жить на те две лиры в день, которые получал как библиотекарь». Может быть, меня бросили, как собаку, в общую яму для бедняков... Ну-ну, не надо об этом думать... Мне очень жаль этого бедного человека, родственники которого, может быть, более человечны, чем мои; может быть, они отнесли бы к нему лучше. Но какое в конце концов это имеет теперь значение, даже для него? Он ведь ни о чем больше не думает.

Некоторое время я продолжал путешествовать. Мне захотелось поехать за пределы Италии; я побывал на прекрасных берегах Рейна, проехав вниз по реке на пароходе до самого Кёльна. Я останавливался в крупных городах: Маннгейме, Вормсе, Майнце, Бингене и Кобленце... В Кёльне я подумывал поехать дальше, за пределы Германии, хотя бы в Норвегию, но потом решил наложить известную узду на свою свободу. Деньги свои я должен был растянуть на всю жизнь, а их было не так много. Прожить я мог еще лет тридцать, но отсутствие документов, которые подтверждали бы по крайней мере реальность моего существования, лишало меня возможности поступить на службу. Чтобы не кончить плохо, я должен был жить скромно. Когда я произвел подсчет, оказалось, что я могу тратить не больше двухсот лир в месяц. Конечно, это не много, но около двух лет я жил на меньшую сумму, и притом не один. Значит, надо приспособиться.

В сущности, я уже устал от своего одинокого и молчаливого бродяжничества и чувствовал инстинктивную потребность в обществе. Я понял это хмурым ноябрьским днем в Милане, сразу по возвращении из Германии.

Было холодно, к вечеру непременно должен был пойти дождь. Под фонарем я заметил старого продавца спичек, которому висевший на груди ящик мешал закутаться в истрепанное пальтишко. Он подпирал подбородок кулаками, в одном из которых была зажата свисавшая до земли веревочка. Я наклонился и увидел щеночка нескольких дней от роду, который, свернувшись клубочком между рваными башмаками хозяина, весь дрожал от холода и непрерывно скулил. Бедное животное! Я спросил старика, не продает ли он собачку. Он ответил утвердительно, прибавив, что отдаст ее за гроши, хотя щенок стоит дорого. О, из него вырастет красивый большой пес.

— Двадцать пять лир...

Бедный щенок, ничуть не возгордившись при таком похвальном отзыве, продолжал дрожать. Он, конечно, понимал, что хозяин оценил не его будущие достоинства, а глупость, которую он прочел на моем лице. Тем временем я успел сообразить, что, купив собаку, я приобрету верного, скромного и любящего друга, который, уважая меня, никогда не спросит, кто я на самом деле такой, откуда взялся и в порядке ли мои документы; но за него придется платить налоги, а я уже отвык их платить. Это мне показалось первым ограничением моей свободы, первым ущербом, который я нанес бы ей.

— Двадцать пять лир? До свидания! — сказал я старому торговцу спичками.

И, надвинув шляпу на глаза, я ушел под мелким дождем, начавшим сеяться с неба, и впервые подумал, что моя беспредельная свобода, хотя она, без сомнения, прекрасна, все-таки чуть-чуть деспотична, раз она не позволяет мне даже купить собачку.

9. НЕМНОГО ТУМАНА

Хотя первая зима была суровой, дождливой и туманной, я почти не заметил ее, захваченный путешествиями и опьяненный новой свободой. К началу второй зимы я, как уже сказано, устал от постоянных разъездов и решил

наложить на себя узду. И я заметил... ну конечно, был легкий туман и было холодно... я заметил, что страдаю от смены времен года, хотя в душе и решил не поддаваться подобным настроениям.

«Послушай, — укоряя я себя, — тебе не пристало хмуриться, — ты ведь можешь безмятежно наслаждаться свободой!»

Я достаточно поразвлекся поездками; за этот год Адриано Меис прожил свою беспечную юность; теперь надо было стать мужчиной, сосредоточиться, избрать спокойный и скромный образ жизни. О, это нетрудно: он — человек свободный, не отягченный никакими обязанностями.

Так мне казалось, и я стал соображать, в каком городе мне обосноваться, потому что, решив принудить себя к правильному образу жизни, я не мог больше владеть существованием бездомной собаки. Но где же поселиться — в большом или маленьком городе? Я никак не мог ответить себе на этот вопрос.

Я закрывал глаза и мысленно летал по тем городам, где уже побывал; я переносился из одного в другой, принуждая себя в каждом из них отчетливо вообразить именно ту улицу, ту площадь, то место, о котором у меня сохранились наиболее яркие воспоминания. Я говорил себе: «Я был и здесь и там! И всюду кипит многообразная жизнь, и всюду она ускользает от меня. Сколько уже раз я твердил себе: «Вот тут я хотел бы поселиться! Как охотно я остался бы тут!», завидовал местным жителям, которые, следуя своим привычкам и повседневным занятиям, спокойно живут в родном городе и не знают мучительного чувства непрочности, свойственного тем, кто много разъезжает».

Это мучительное чувство непрочности владело мной и теперь, мешая мне полюбить постель, на которую я ложился спать, равно как другие окружавшие меня предметы.

Каждый предмет изменяется в нашем сознании соответственно образом, которые он вызывает, и, так сказать, притягивает к себе, поскольку возбуждает различные приятные ощущения, сочетающиеся в гармоническом единстве; но гораздо чаще предмет доставляет нам удовольствие не сам по себе, а потому, что наша фантазия украшает его, окружая и как бы озаряя дорогими нам образами. Мы воспринимаем его не таким, каков он на самом деле, но как бы оживленным образами, ко-

торые он вызывает в нас и которые наши привычки ассоциируют с ним. Словом, в предмете мы любим то, что вносим в него от себя, в согласии, ту гармонию, которую устанавливаем между ним и собой, ту душу, которую он обретает только благодаря нам и которая соткана из наших воспоминаний.

Так разве может пробудить подобные чувства номер в гостинице?

Но стоит ли мне обзаводиться своим собственным домом? Денег у меня мало... А если скромный домик в несколько комнат? Не торопись: надо раньше осмотреться, все хорошенько взвесить. Конечно, свободным, совершенно свободным я могу быть только с чемоданом в руке: сегодня здесь, завтра там. Стоит мне осесть и обзавестись домом, как тут же последуют и регистрация, и налоги, а я даже не отмечен в адресном столе. А как отметиться? Под фальшивым именем? А не начнет ли тогда полиция тайное расследование? Во всяком случае, забот и затруднений не оберешься... Нет, оставим это: я понимаю, что мне нельзя иметь свой дом, свои вещи. Но я мог бы поселиться в семейном пансионе, в мебелированной комнате. Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?

На все эти меланхолические размышления меня навели зима и близость рождества, праздника, пробуждающего тоску по теплу родного очага, покою, домашнему уюту.

Разумеется, я не оплакивал свой последний дом; другой же, дом моего отца, где я жил раньше, единственный, о котором я вспоминал с сожалением, был уже разрушен, да и не соответствовал моему новому положению. Таким образом, я должен был утешаться мыслью о том, как весело бы мне было, отправься я на рождественские праздники в Мираньо к жене и теще. (О, ужас!)

Чтобы посмеяться и развлечься, я представлял себе, как стою перед дверью своего дома с огромной корзиной в руках.

— Разрешите? Живут ли здесь еще синьора Ромильда Пескаторе, вдова Паскаль, и Марианна Донди, вдова Пескаторе?

— Да, синьор, но кто вы?

— Я — покойный муж синьоры, тот самый бедный синьор Паскаль, что утопился в прошлом году. Как видите, я с разрешения начальства преспокойно вернулся

с того света, чтобы провести праздники в семье, после чего немедленно уйду обратно.

Не умрет ли от ужаса вдова Пескаторе, внезапно увидев меня? Она-то? Вот еще! Скорее она снова уморит меня дня за два.

Все мое счастье, убеждал я себя, состоит именно в этой свободе от жены, от тещи, от долгов, от унизительных огорчений моей прежней жизни. Теперь я избавлен от них. Разве этого не достаточно? Передо мной еще вся жизнь. Кто знает, сколько сейчас на свете таких же одиноких людей, как я?

«Да, но все они, — продолжали мне нашептывать непогода и проклятый туман, — или иностранцы, или где-то имеют дом, куда рано или поздно вернуться, или, если у них нет дома, как у тебя, они могут приобрести его завтра, а пока поселиться у какого-нибудь приятеля. Ты же, по правде сказать, всегда и всюду будешь чужим, вот в чем разница. Ты чужой в жизни, Адриано Меис».

Я пожимал плечами и раздраженно восклицал:

— Тем лучше, меньше забот! У меня нет друзей? Я их приобрету.

Некий господин, мой сосед по столу в таверне, где я бывал в эти дни, уже выказывал желание подружиться со мной. Ему было под сорок, он был лысоват, смугл и носил золотое пенсне, не слишком прочно сидевшее на носу — вероятно, цепочка из чистого золота была слишком тяжела. Ах, какой славный человек! И представляете себе, стоило ему встать и надеть шляпу, как он совершенно менялся и становился похожим на мальчика. Все дело заключалось в ногах — настолько коротеньких, что они не доставали до полу, когда он сидел; поэтому он не вставал, а как бы слезал со стула. Он пытался исправить этот недостаток, нося высокие каблуки. Что тут плохого? Ничего, разве только то, что они чересчур стучали. Зато ходил он грациозными маленькими шажками, как куропатка.

Он был очень мил, занятен, хотя немного чудаковат и болтлив, отличался своеобразными взглядами и происходил из дворян — на визитной карточке, которую он мне вручил, значилось:

Кавалер Тито Ленци.

Этой визитной карточкой он чуть было не причинил мне серьезную неприятность и, во всяком случае, поста-

вил меня в неловкое положение, так как я не мог ответить ему тем же. У меня еще не было визитных карточек: я не решался напечатать на них мое новое имя. Вот несчастье! Неужели нельзя обойтись без визитных карточек? Просто назвал свое имя, и все.

Я так и сделал, но, по правде сказать, мое настоящее имя...

Впрочем, довольно об этом.

Какие интересные разговоры вел кавалер Тито Ленци! Он знал даже латынь и походя цитировал Цицерона.

— Сознание? Но сознания недостаточно, дорогой синьор! Одним сознанием руководствоваться нельзя. Это было бы возможно, будь оно, смею так выразиться, замком, а не площадью, то есть чем-то таким, что мы в силах представить себе изолированно, что по своей природе не открыто для других. Именно в сознании, по-моему, осуществляется основная связь между мною, который мыслит, и другими существами, которых я мыслю. Что касается чувств, наклонностей и вкусов этих других существ, которых мы с вами мыслим, они не отражаются ни во мне, ни в вас, не давая нам ни удовлетворения, ни покоя, ни радости, хотя все мы стремимся к тому, чтобы наши чувства, мысли, наклонности и вкусы отражались в сознании других людей. А если этого не происходит, то лишь потому что... ну, скажем, потому что воздух в каждый данный момент не успевает перенести зародыши ваших идей, дорогой синьор, в мозг ближнего и помочь им там развиваться. Вот почему вы не можете сказать, что вам достаточно вашего сознания. А кому же его достаточно? Разве его достаточно, чтобы прожить в одиночку, бесплодно истощив себя во мраке? Нет, и еще раз нет! Знаете, я ненавижу риторику, эту старую лживую хвастунью, эту кокетку в очках. Именно она, бия себя в грудь, придумала эту красивую фразу: «У меня есть мое сознание, и мне этого достаточно». Не спорю, Цицерон первый сказал: «*Mea mihi conscientia pluris est quam hominum sermo*». Цицерон, конечно, красноречив, но... боже избави и спаси нас от него, дорогой синьор! Он скучнее, чем начинающий скрипач.

Мне хотелось расцеловать моего собеседника. Но милый человечек не ограничился острыми и оригинальными рассуждениями, за которые я готов был счесть его мудрецом, — он начал откровенничать, и тогда я, уже полагавший, что наша дружба пошла по легкому и правильному пути, немедленно почувствовал некоторую не-

ловкость, ощутил, как некая сила во мне вынуждает меня отдалиться от него и уйти в себя. Пока говорил он и беседа касалась отвлеченных вопросов, все было хорошо, но теперь кавалер Тито Ленци пытался вызвать на разговор меня:

— Вы не миланец, не правда ли?

— Нет...

— Проездом здесь?

— Да.

— А Милан красивый город, а?

Я был ненамного красноречивее ручного попугая. Чем настойчивей становились его вопросы, тем уклончивей я был в ответах. Очень скоро мы дошли до Америки. Но едва человек узнал, что я родился в Аргентине, как он вскочил и бросился пожимать мне руки!

— Поздравляю вас, дорогой синьор, и завидую вам! Ах, Америка. Я тоже там был.

Он там был? Спасайся, Адриано!

— В таком случае, — торопливо вставил я, — поздравить нужно скорее вас, потому что я, в сущности, там и не был, хотя родился за океаном. Я уехал оттуда нескольких месяцев от роду, так что ноги мои даже не касались американской земли.

— Жаль! — грустно воскликнул кавалер Тито Ленци. — Но у вас там остались родственники, не правда ли?

— Нет, никого...

— А, значит, вы приехали в Италию со всей семьей и здесь обосновались? Где же вы поселились?

Чувствуя себя как на иголках, я пожал плечами и вздохнул:

— Я жил в разных местах. У меня нет семьи, и я странствую.

— Как замечательно! Вы просто счастливец! Странствия!.. И у вас так-таки никого нет?

— Никого...

— Как замечательно! Счастливец! Завидую вам.

— Значит, у вас есть семья? — спросил я в свою очередь, чтобы отвести разговор от себя.

— Совершенно никого, — вздохнул он, закрыв глаза. — Я один, и всегда был один.

— Значит, у нас одна судьба!

— Но я скучаю, дорогой синьор, я скучаю, — возразил человек. — Одиночество для меня... Словом, оно мне наскучило. У меня много друзей, но, поверьте, в моем возрасте не слишком приятно, когда возвращаешься до-

мой и тебя никто не встречает. Есть люди, которые все понимают, есть такие, которые ничего не понимают, дорогой синьор. Тому, кто понимает, пожалуй, хуже, потому что в конце концов у него не остается ни энергии, ни воли. Он говорит себе: «Я не должен делать то, не должен делать это, чтобы не совершать свинства». И все-таки наступает момент, когда он замечает, что вся жизнь сама по себе — сплошное свинство. А тогда, скажите на милость, какой смысл в том, что он не делал свинства? Не значит ли это, что он вроде и не жил вовсе? Вот так-то, дорогой синьор.

Я попытался утешить его:

— Но ведь у вас, к счастью, еще есть время...

— Сделать свинство? Поверьте, я уже делал его, и не раз, — перебил он меня, хвастливо улыбаясь. — Я путешествовал и странствовал, как вы, и со мной случались приключения... да, да, весьма забавные и пикантные приключения. Вот, например, как-то вечером в Вене...

Я словно упал с облаков на землю. Как! Любовные приключения? У него? Три, четыре, пять — в Австрии, во Франции, в Италии, даже в России... И какие! Одно отчаяннее другого. Вот, к примеру, отрывок из диалога между ним и одной замужней дамой:

Он. Если хорошенько подумать, я вполне понимаю вас, дорогая синьора! Изменить мужу — боже мой! Верность, целомудрие, достоинство — три великих и святых слова, слова с большой буквы! И потом — честь! Еще одно возвышенное слово!.. Но на деле, поверьте, дорогая синьора, все обстоит иначе. Это ведь лишь краткое мгновение. Спросите ваших подруг, которые это уже испытали.

Дама. Спрашивала. Все они были потом очень разочарованы.

Он. Еще бы! Понятное дело! Напуганные и скованные всеми этими громкими словами, они колебались полгода, год — словом, слишком долго, и разочарование возникло как раз от несоразмерности самого поступка и непомерно долгих размышлений, которые ему предшествовали. Нужно решаться сразу, дорогая синьора. Подумал — сделал. Все очень просто.

Достаточно было посмотреть на него, представить себе его крохотную смешную фигурку, чтобы без дальнейших доказательств понять: он лжет.

Удивление мое сменилось глубочайшим стыдом за него — ведь он не отдавал себе отчета в том, какое жалкое впечатление должно непременно производить его вранье, в особенности на меня, видевшего, что он с такой развязностью и таким удовольствием врет совершенно без всякой нужды. А я, вынужденный лгать, сдерживался и страдал до того, что каждый раз чувствовал, как у меня вся душа переворачивается. Я испытывал унижение и досаду, мне хотелось схватить его за руку и крикнуть: «Простите, кавалер, зачем, зачем вы это делаете?»

Это унижение и досада были вполне естественны, но, подумав как следует, я понял, что такой вопрос был бы по меньшей мере гнусным. В самом деле, если милый человечек ведет себя так странно и хочет, чтобы я поверил в его победы, то причина такого поведения как раз и заключается в отсутствии для него необходимости лгать, тогда как меня... меня вынуждает лгать необходимость. В конце концов, для него это, вероятно, просто развлечение или умственное упражнение, для меня же, напротив, — неприятная обязанность, наказание. К чему вели подобные рассуждения? Увы, к сознанию того, что я, по своему положению неизбежно вынужденный лгать, никогда не смогу иметь друга, настоящего друга. А значит, у меня не будет ни дома, ни друзей... Дружба требует откровенности, а разве я, человек без имени, без прошлого, доверю кому-нибудь секрет своей жизни, выросшей, как гриб, из самоубийства Маттиа Паскаля? Я могу позволить себе только мимолетные встречи, только короткий обмен ничего не значащими словами.

Ну что ж, это оборотная сторона моей удачи. Ладно, не стоит приходить в уныние.

— Буду жить собой и для себя, как жил до сих пор.

Но вот в чем беда: я, признаться, боялся, что мое обещание никому не доставит ни интереса, ни удовольствия. И потом, ощупывая свое безбородое лицо, проводя рукой по длинным волосам или поправляя на носу очки, я испытывал странное чувство: мне казалось, что я больше не я, что я трогаю не себя.

Будем справедливы: я привел себя в такой вид для других, не для себя. А теперь я и наедине с собой должен носить маску, и все, что я измыслил, выдумал насчет Адриано Меиса, все это стало уже не для других. А для кого? Для меня? Но ведь я-то мог поверить в это только при условии, что в это поверят другие...

И вот, когда оказалось, что у Адриано Меиса не хватает духу лгать и бросаться в гущу жизни, что он, усталый от одиночества, все же вынужден уединиться, что он в эти печальные зимние дни возвращается по улицам Милана к себе в гостиницу и замыкается в обществе мертвого Маттиа Паскаля, я стал понимать, что мои дела плохи, что мне предстоит не только радости и что, следовательно, моя счастливая судьба...

Но, может быть, дело в другом — в том, что из-за беспредельности моей свободы мне и трудно начать жить каким бы то ни было определенным образом. В момент, когда я должен принять решение, меня всегда что-то удерживает: мне кажется, что я вижу слишком много помех, теневых сторон и препятствий.

И вот я снова выбегал из дома на улицу, наблюдал за всем, присматривался к каждому пустяку, подолгу размышлял над самыми незначительными вещами. Устав, я заходил в кафе, читал какую-нибудь газету, смотрел на входящих и выходящих, а в конце концов выходил и сам. Но жизнь, когда я смотрел на нее как посторонний зритель, казалась мне бесформенной и бесцельной; я чувствовал себя потерянным среди суетливой толпы, а шумное и непрерывное уличное движение оглушало меня.

Почему люди, настойчиво спрашивал я самого себя, так стремятся все больше усложнять себе образ жизни? Зачем такое нагромождение машин? Чем же займется человек, когда все будут делать машины? Не спохватится ли он тогда, что так называемый прогресс не имеет ничего общего со счастьем? Какую радость получаем мы от всех изобретений, которыми наука честно пытается обогатить человечество (а на деле обедняет его, потому что обходятся они слишком дорого), даже когда восхищаемся ими?

Как-то в вагоне трамвая я столкнулся с одним беднягой из числа тех, кто не может не поделиться с окружающими всем, что ему приходит в голову.

— Какое прекрасное изобретение! — объявил он. — За два сольдо я в несколько минут проезжаю пол-Милана.

Два сольдо за проезд заслоняли в сознании бедняги то обстоятельство, что всего его заработка не хватает на эту шумную жизнь с трамваями, электрическим освещением и т. д., и т. д.

И все же наука, думал я, создает иллюзию, будто жизнь становится легче и удобнее. Но если даже признать, что своими сложными и громоздкими машинами

наука действительно облегчает жизнь, я все равно спрошу: можно ли оказать тому, кто обречен на бессмысленный труд, худшую услугу, чем облегчить этот труд и сделать его почти механическим?

Я возвращался в гостиницу.

Там, в проеме коридорного окна, висела клетка с канарейкой. Так как я не мог беседовать с людьми и не знал, чем заняться, я начал говорить с канарейкой. Я старался повторить губами ее песенку, и она действительно думала, что с ней кто-то разговаривает, слушала меня и, быть может, угадывала в моем щебете милые ей вести о гнездах, о листьях, о свободе. Она начинала волноваться, порхала, прыгала, смотрела сквозь прутья клетки, трясла головкой, потом отвечала мне, о чем-то спрашивала и вновь слушала. Бедная птичка! Вид ее трогал меня, но ведь я-то не знал, что я ей говорю.

Так вот, если поразмыслить, разве с нами, людьми, не происходит нечто подобное? Разве мы не думаем, что природа говорит с нами? И разве мы не находим смысла в ее таинственных голосах? Не находим ответа, соответственно нашим желаниям, на мучительные вопросы, с которыми к ней обращаемся? А природа в своем бесконечном величии даже не замечает ни нашего существования, ни наших тщетных иллюзий.

Вот видите, к каким выводам может привести человека, обреченного жить наедине с собой, шутливое занятие, которому он предался от безделья. Я готов был отколотить самого себя. Неужели я действительно всерьез собираюсь стать философом?

Нет, нет, довольно! Мое поведение нелогично, так дальше продолжаться не может. Я должен победить все свои колебания и во что бы то ни стало принять решение.

Я действительно должен начать жить, жить.

10. КРОПИЛЬНИЦА И ПЕПЕЛЬНИЦА

Через несколько дней я приехал в Рим с намерением там поселиться. Почему в Риме, а не где-нибудь еще? После всего, что со мной случилось потом, я понял настоящую причину, но я ее не назову, чтобы не испортить свой рассказ рассуждениями, которые в данный момент были бы неуместны. Я выбрал Рим прежде всего потому, что он нравился мне больше других городов. И по-

том, мне казалось, что, равнодушно давая приют стольким чужестранцам, он может приютить такого чужестранца, как я.

Выбор дома, то есть приличной комнатки на спокойной улице в скромной семье, стоил мне немалых трудов. Наконец на улице Рипетта я нашел комнату с видом на реку. По правде сказать, первое впечатление от семьи, в которой мне предстояло поселиться, было настолько неблагоприятным, что, вернувшись в гостиницу, я долго колебался, не лучше ли поискать еще.

На двери четвертого этажа были две дощечки: с одной стороны — «Палеари», с другой — «Папиано». Под второй была прибита двумя медными гвоздиками визитная карточка, на которой можно было прочесть: «Сильвия Капорале».

Мне открыл старичок лет шестидесяти (Палеари? Папиано?) в бумажных брюках и грязных туфлях на босу ногу, с мясистым розовым обнаженным торсом без единого волоска, с намыленными руками и целым тюрбаном взбитого мыла на голове.

— Простите! — воскликнул он. — Я думал, это служанка. Подождите немного: вы меня застали... Адриана! Теренцио! Скорей сюда — вы же видите: здесь синьор... Подождите минутку, будьте любезны... Что вам угодно?

— У вас сдается меблированная комната?

— Да, синьор. Вот моя дочь — поговорите с ней. Адриана, это по поводу комнаты!

Появилась смущенная маленькая девушка, белокурая, бледная, с голубыми глазами, такими же грустными и нежными, как все ее лицо. Адриана — как я. «Вот так штука! — подумал я. — Словно нарочно».

— А где же Теренцио? — спросил человек в тюрбане из пены.

— О боже, папа, ты же отлично знаешь, что они со вчерашнего дня в Неаполе. Уйди! Если б ты сам себя видел... — удрученно ответила девушка нежным голоском, в котором, несмотря на легкое раздражение, чувствовалась душевная кротость.

Он ушел, повторяя: «Ну конечно, конечно», шлепая туфлями и продолжая намыливать лысую голову и густую седую бороду. Я не удержался и улыбнулся, но добродетельно, чтобы не смутить его дочь еще больше. Она прищурилась, словно не желая замечать моей улыбки. Сначала она показалась мне девочкой; потом, рассмотрев выражение ее лица, я понял, что она уже взрослая

и поэтому должна носить капотик, делающий ее немножко смешной, так как он не соответствует ни телосложению, ни лицу такой малышки. Одета она была в полутраур.

Говоря очень тихо и стараясь не смотреть на меня (мне неизвестно, какое я сначала произвел на нее впечатление), она темным коридором провела меня в сдававшуюся комнату. Когда дверь открылась, я почувствовал, как грудь моя расширилась от воздуха и света, врывающихся через два больших окна, которые выходили на реку. На горизонте виднелись Монте Марио, Понте Маргерита и весь новый квартал Прати до замка Святого Ангела — он возвышался над старым мостом Рипетта и новым, который строился рядом; немножко дальше виднелся мост Умберто и старые дома Тордионе, расположенные вдоль широкой речной излучины; в глубине, с другой стороны, — зеленые высоты Джаниколо с большим фонтаном Сан-Пьетро в Монторио и конная статуя Гарибальди.

Из-за этого приятного вида я снял комнату; меблирована она была, кстати сказать, с изящной простотой и оклеена светлыми — белыми с голубым — обоями.

— Вот этот балкончик рядом, — добавила девушка в капотике, — тоже наш, по крайней мере покамест. Говорят, его сломают, так как он слишком выдается.

— Выдается?

— Да, выступает над улицей. Разве так нельзя сказать? Но это будет не скоро — не раньше, чем достроят набережную Тибра.

Слушая ее тихий, серьезный голос и глядя на ее наряд, я улыбнулся и сказал:

— Ах, вот как.

Она обиделась, опустила глаза и чуть-чуть прикусила губку. Чтобы доставить ей удовольствие, я тоже заговорил серьезно:

— Простите, синьорина, в доме, кажется, нет детей?

Она молча покачала головой. Может быть, в моем вопросе ей послышался оттенок иронии, что совсем не входило в мои намерения. Я ведь сказал «детей», а не «девочек». Я опять спохватился:

— А... Скажите, синьорина, а других комнат вы не сдаете?

— Это самая лучшая я, — ответила она, не глядя на меня. — Если она вам не нравится...

— Нет, нет, я спросил просто, чтобы узнать...

— Мы сдаем еще одну, — сказала она, подняв глаза с принужденно-безразличным видом. — Со стороны фасада... Она выходит на улицу... Ее занимает одна синьорина. Она живет у нас уже два года. Дает уроки фортепьяно, но не дома. — При этих словах она улыбнулась чуть-чуть грустно и прибавила: — Здесь живу я, мой отец и мой зять...

— Палеари?

— Нет, Палеари — это мой отец, а моего зятя зовут Теренцио Папиано. Он должен уехать вместе со своим братом, который сейчас живет с нами. Моя сестра умерла... полгода назад.

Чтоб переменить тему разговора, я осведомился о плате, мы быстро сговорились, и я спросил, нужен ли задаток.

— Как хотите, — ответила она. — Лучше просто назовите ваше имя.

Я ощупал нагрудный карман и, нервно улыбаясь, сказал:

— У меня нет... нет ни одной визитной карточки... Меня зовут Адриано, именно так. Я слышал, что вас тоже зовут Адриана, синьорина. Может быть, вам неприятно такое совпадение?

— Да нет, почему же? — возразила она, очевидно заметив мое замешательство, и на этот раз рассмеялась как ребенок.

Я тоже рассмеялся и добавил:

— Ну, раз вам это безразлично, меня зовут Адриано Меис. Вот, кажется, и все. Я могу переехать сегодня вечером. Или лучше завтра?

Она ответила:

— Как хотите.

Тем не менее уходил я с сознанием, что доставил бы ей большое удовольствие, если бы не вернулся. Я осмелился даже не обратить должного внимания на ее капотик.

Однако несколько дней спустя я не только заметил его, но даже убедился, что бедная девушка была просто вынуждена носить этот капотик, от которого она, вероятно, охотно бы отказалась. Вся тяжесть домашней работы лежала на ее плечах, и неизвестно, что стало бы с семьей, если бы не Адриана.

У ее отца, Ансельмо Палеари, того старика, который вышел ко мне навстречу с тюрбаном пены на голове, мозг тоже был из пены. В тот самый день, когда я посе-

лился у него в доме, он явился ко мне не столько для того, пояснил он, чтобы вторично извиниться за малопривлекательный вид, в котором он появился передо мной в первый раз, сколько ради удовольствия познакомиться с человеком, столь похожим на ученого или, скажем, художника.

— Я не ошибся?

— Ошиблись. Я ни в каком смысле не художник. Ученый — относительно: я люблю иногда читать книги.

— О, у вас есть хорошие! — сказал он, глядя на корешки тех немногих книг, которые я уже поставил на полочку бюро. — Как-нибудь после я покажу вам мои, хорошо? У меня тоже есть неплохие, но... — Он пожал плечами, остановился и задумался. Взгляд его затуманился — он, очевидно, уже забыл, где он и с кем. Потом лицо его приняло отрешенное выражение, он еще два раза повторил: — Но... но... — повернулся ко мне спиной и ушел, не попрощавшись.

Сначала я несколько удивился, но когда он сдержал обещание и, пригласив меня к себе в комнату, показал свои книги, мне стала понятна не только некоторая его рассеянность, но и многое другое. Вот какие названия были у этих книг: «Смерть и потусторонний мир», «Семь принципов человека», «Карма», «Ключ к теософии», «Азбука теософии», «Тайное учение», «Астральный план» и т. д.

Синьор Ансельмо Палеари был членом теософского общества. Его раньше времени уволили в отставку с должности начальника отдела какого-то министерства, чем погубили его не только материально, но и нравственно: ничем не занятый и свободный от каких бы то ни было обязанностей, он углубился в фантастические исследования и туманные размышления, все больше отрываясь от реальной жизни. По крайней мере половина его пенсии уходила на покупку книг. Он уже составил себе маленькую библиотеку. Тем не менее теософские учения не удовлетворяли его полностью. Его, несомненно, грыз червь сомнения, потому что, наряду с теософскими сочинениями, у него была богатая коллекция старинных и новых философских эссе и трактатов, а также сборников научных статей. В последнее время он, кроме того, увлекся спиритическими экспериментами.

Он открыл синьорине Сильвии Капорале, своей жене и учительнице музыки, необыкновенные способности медиума, не очень, по правде сказать, хорошо раз-

витые; тем не менее он не сомневался, что со временем и с помощью упражнений она еще разовьет их и затмит самых знаменитых медиумов.

Я, со своей стороны, могу засвидетельствовать, что никогда не видел на столь вульгарном и уродливом лице, похожем на карнавальную маску, более скорбных глаз, чем глаза синьорины Сильвии Капорале. Они были черные, миндалевидные, всегда глядели пристально и производили такое впечатление, словно к ним изнутри привешен свинцовый противовес, как у кукол.

У синьорины Сильвии Капорале, женщины за сорок, под ярко-красным шарообразным носиком росли настоящие усы.

Позднее мне стало известно, что бедняжке безумно хотелось любви, и поэтому она пила: она знала, что уродлива, стара, и пила с отчаяния. Иногда по вечерам она возвращалась домой в совершенно неопишемом виде, в шляпе, съехавшей набок, ее ярко-красный шарообразный носик походил на морковь, а взгляд полузакрытых глаз был еще горестнее, чем обычно.

Она бросалась на постель, и выпитое ею вино тотчас же превращалось в бесконечные потоки слез. И тогда бедной маленькой маме в капотике приходилось до поздней ночи ухаживать за ней и утешать ее: она чувствовала к ней жалость, которая превозмогала даже отвращение. Адриана знала, что Сильвия одна на свете и глубоко несчастна, что огонь, пылающий в ее теле, вынуждает ее ненавидеть жизнь, на которую она уже два раза покушалась. Адриана тихонько уговаривала бедняжку обещать, что она будет хорошей, что это больше не повторится, и — что бы вы думали? — на следующее утро синьорина Капорале выходила к завтраку разодетая, гримасничая, как обезьянка, словно внезапно превратившись в наивную, капризную девочку.

Несколько лир, которые ей удавалось время от времени заработать, репетируя песенки с какой-нибудь дебютанткой из кафе-шантана, уходили на пьянство или наряды; она не платила ни за комнату, ни за ту скудную еду, которую получала в семье Палеари. Но выгнать ее было нельзя — синьор Ансельмо Палеари не смог бы тогда устраивать спиритические сеансы.

Впрочем, была и другая, более существенная причина. Два года тому назад, когда после смерти матери синьорина Капорале продала дом и перебралась на жительство к Палеари, она дала Теренцио Папиано на одно

верное и весьма доходное предприятие тысяч шесть лир, вырученных от продажи мебели; эти шесть тысяч бесследно исчезли.

Когда синьорина Капорале, обливаясь слезами, сама рассказала мне об этом, я отчасти извинил синьора Ансельмо Палеари: раньше мне казалось, что он держит такую женщину около своей дочери только из прихоти.

Правда, маленькая Адриана была инстинктивно такой порядочной и, пожалуй, даже чересчур рассудительной девушкой, что опасаться за нее, вероятно, не было оснований. Больше всего ее в этой истории оскорбляли тайственные манипуляции отца и вызывание духов с помощью синьорины Капорале.

Маленькая Адриана была набожна. Я заметил это еще с первых дней, когда она повесила над моим ночным столиком на стене, рядом с кроватью, кропильницу из голубого стекла. Вечером, ложась спать, я закурил и стал читать одну из книг Палеари, а потом по рассеянности я положил окурок в эту кропильницу.

На следующий день ее уже не было. Вместо нее на ночном столике стояла пепельница. Я спросил Адриану, не она ли сняла ее со стены, и девушка, слегка покраснев, ответила:

— Простите, мне показалось, что пепельница вам нужнее.

— Но разве в кропильнице была святая вода?

— Была. Здесь у нас напротив церковь Сан-Рокко.

И она ушла. Эта маленькая мама хотела, чтобы я был благочестив лишь на том основании, что в Сан-Рокко она зачерпнула святой воды для моей кропильницы. Ну, разумеется, и для своей. Отцу святая вода наверняка была ни к чему. А кропильница синьоры Капорале, если у нее таковая и была, содержала скорее всего святое вино.

Теперь, когда я чувствовал, что с некоторого времени как бы повис в тумане, всякая мелочь наводила меня на длительные размышления. Эта кропильница напомнила мне, что я с детства не исполнял религиозных обрядов и ни разу не был в церкви с тех пор, как ушел Циркуль, водивший нас туда вместе с Берто по распоряжению мамы. Я не испытывал никакой потребности задать самому себе вопрос: верующий я или нет? И Маттия Паскаль умер смертью нечестивца — без покаяния и причастия.

Неожиданно я понял, что нахожусь в совсем особом

положении. Для всех, кто меня знал, я так или иначе, но покончил с самой досадной, самой гнетущей мыслью, какая только может быть у живого человека, — с мыслью о смерти. Кто знает, сколько моих сограждан в Мираньо говорили:

— В конце концов, он — счастливец. Как бы то ни было, для него все решено.

А между тем я ничего не решил. Я листал книги Ансельмо Палеари, и эти книги говорили мне, что в таком же положении, как я, в «раковинах» Камалока пребывают настоящие мертвецы, в особенности самоубийцы, терзаемые, согласно господину Лидбитеру, автору «Астрального плана» (так в теософии именуется первая ступень невидимого мира), всевозможными чувственными желаниями, которых они не могут удовлетворить, так как лишены телесной оболочки, хоть и не знают, что потеряли ее.

«Ого, — подумалось мне, — а ведь этак я скоро поверю, что действительно утопился на мельнице в Стиа и сейчас только воображаю, что еще жив».

Известно, что некоторые виды сумасшествия заразительны. Помешательство Палеари, как я ни противился, в конце концов передалось и мне. Я, конечно, не считал себя действительно мертвым, хотя в этом не было бы большой беды. Самое трудное — умереть, а уж если человек умер, то у него вряд ли явится прискорбное желание вернуться к жизни. Беда была в другом — я внезапно понял, что мне еще предстоит умереть. Я ведь об этом совсем забыл: после моего самоубийства в Стиа я, естественно, думал только о жизни. А теперь синьор Ансельмо Палеари непрерывно вызывал передо мной призрак смерти.

Этот милый человек не мог говорить ни о чем другом, но зато говорил он с таким жаром и порой прибегал к таким странным образам и выражениям, что, слушая его, я испытывал желание немедленно уехать и поселиться в другом месте. Однако в теориях и воззрениях синьора Палеари, хотя они иногда и казались мне ребячливыми, было, по существу, нечто утешительное, и поскольку мною теперь овладела мысль, что когда-нибудь я все же умру по-настоящему, я не без удовольствия слушал, как он рассуждает.

— Есть тут логика? — спросил он меня однажды, прочитав мне отрывок из книги Фино, посвященный не более не менее, как зарождению червей из гниющего чело-

веческого тела и полный такой сентиментально-похоронной философии, что все это казалось бредом могильщика и морфиниста. — Есть тут логика? Согласен, материя существует; предположим даже, что все материально. Но есть форма и форма, образ и образ, качество и качество. Есть камень, и есть невесомый эфир, черт возьми! Да и в самом моем теле есть ногти, зубы, кожа и есть, черт возьми, тончайшая глазная ткань. Да, синьор, с какой стати мы будем отрицать, что так называемая душа тоже материальна; но согласитесь, что это иная материя, нежели ноготь, зуб, кожа. Это материя, похожая на эфир или что-то в этом роде. Почему же мы принимаем эфир как гипотезу, а душу отрицаем? Есть тут логика? Материя — да, синьор. Следите за моими рассуждениями и увидите, к чему я приду и как все согласую. Мы придем к Природе. Сейчас мы, не правда ли, рассматриваем человека как результат смены бесчисленных поколений, как продукт длительной работы природы. Значит, дорогой синьор Меис, вы тоже животное, притом самое жалкое, и в целом мало чего стоите. Я соглашаюсь с этим и говорю: допустим, что человек занимает не очень высокое положение на иерархической лестнице живых существ — от червя до человека, скажем, семь-восемь, пусть даже пять ступеней. Но черт возьми! Чтобы подняться на эти пять ступеней, природа трудилась тысячи и тысячи веков; не правда ли, материи пришлось пройти немалый путь развития как форме-субстанции, для того чтобы достичь этой пятой ступени и сделаться животным, которое ворует и лжет, но в то же время способно написать «Божественную комедию» или принести себя в жертву, как наши матери — моя и ваша, синьор Меис. И это существо внезапно — пуф! — превращается в ничто? Есть тут логика? Нет, в червя превратится мой нос, моя нога, но не моя душа, черт возьми! Да, синьор, никто не спорит: она — тоже материя, но не такая, как нос и нога. Есть тут логика?

— Простите, синьор Палеари, — возразил я ему, — великий человек гуляет, падает, ушибает голову, становится идиотом. А куда же делась душа?

Синьор Ансельмо оцепенел и уставился в одну точку, словно к его ногам внезапно упал камень:

— Куда делась душа?..

— Конечно, мы с вами не великие люди, но все же рассудите сами: я гуляю, падаю, ушибаю голову, становлюсь идиотом, куда же делась душа?

Палеари сложил руки и с выражением снисходительного сочувствия ответил:

— Но боже мой, зачем вам падать и ударяться головой, дорогой синьор Меис?

— Ну, это просто гипотеза.

— Нет, синьор, гуляйте лучше спокойно. Возьмем стариков, которые, не падая и не ушибая голову, порой в силу законов природы становятся идиотами. О чем это свидетельствует? Вы хотите доказать, что, повредив тело, вы ослабляете и душу, что исчезновение тела влечет за собой исчезновение души. Но почему бы вам, простите, не представить себе нечто противоположное — душу, озаряющую совершенно изможденное тело. Например, Джакомо Леопарди. И многие старики тоже, скажем, его святейшество Лев Тринадцатый! Вообразите себе фортепьяно и пианиста. Внезапно во время игры инструмент отказывает — одна клавиша больше не звучит, несколько струн обрываются; конечно, на таком инструменте даже очень хороший пианист будет играть плохо. Но разве пианист перестает существовать, даже если рояль совсем замолчит?

— По-видимому, мозг — это фортепьяно, а душа — пианист?

— Старое сравнение, синьор Меис. Конечно, если мозг испортился, душа становится глупой, безумной или еще какой-нибудь в том же роде. Но это значит лишь, что если пианист сломал инструмент не случайно, не по неосторожности, а по собственной воле, то он за это расплачивается: кто ломает, тот и платит — в мире за все надо платить. Однако это совсем другой вопрос. Простите, неужели для вас ничего не значит то обстоятельство, что все человечество, все люди, о которых мы что-нибудь знаем, всегда мечтали о жизни по ту сторону смерти? Ведь это же факт, факт, реальное доказательство.

— Говорят, инстинкт самосохранения...

— Нет, синьор, мне, знаете, наплевать на эту мерзкую оболочку, которая меня покрывает! Она давит на меня, я ношу ее, потому что должен носить, но если мне докажут, черт возьми, что, протаскав ее еще пять, шесть, десять лет, я не буду за это как-то вознагражден и что для меня все кончится здесь, я сегодня же, в эту же самую минуту отброшу ее. Причем же здесь инстинкт самосохранения? Я сохраняю себя единственно потому, что чувствую — так все кончиться не может! Но мне возражат: человек сам по себе — одно, человечество —

другое. Особь умирает, род продолжает свою эволюцию. Вот так рассуждение! Подумайте сами; разве человечество — это не я, не вы, не каждый человек? Разве каждый из нас не чувствует, что было бы абсурдно и ужасно, если бы все сводилось лишь к ничтожному дунувению, которое представляет собой наша земная жизнь? Пятьдесят — шестьдесят лет скуки, несчастий, трудов, и во имя чего? Впустую! Ради человечества? Но ведь и человечеству когда-нибудь придет конец. Подумайте, жизнь, прогресс, эволюция — для чего все это? Заря? Но ничто, абсолютное ничто, говорят, не существует... Значит, ради обновления светила, как выразились вы на днях? Хорошо, пусть обновление, но надо посмотреть — в каком смысле. Согласитесь, синьор Меис, что беда науки и заключается в том, что она хочет заниматься только жизнью.

— Ну, — вздохнул я и улыбнулся, — поскольку мы все-таки должны жить...

— Но мы должны также и умереть, — подхватил Палеари.

— Понимаю, но зачем же об этом так много думать?

— Зачем? Затем, что мы не можем понять жизнь, если как-нибудь не объясним себе смерть! Это же необходимое условие наших действий, это путеводная нить, выводящая из лабиринта. И этот свет, синьор Меис, должен к нам прийти оттуда, от смерти.

— Но ведь смерть — это тьма.

— Тьма? Да, для вас. А вы попробуйте затеплить лампадку веры чистым маслом души. Если такой лампадки нет, мы бродим по жизни как слепые, несмотря на электрический свет, который мы изобрели. Для жизни электрическая лампа хороша, великолепна. Но мы, дорогой синьор Меис, нуждаемся в другом светильнике, который озаряет нас. Видите этот фонарик с красным стеклом? Я зажигаю его по вечерам — нужно учиться видеть при слабом освещении. Сейчас мой зять Теренцио в Неаполе. Через несколько месяцев он вернется, и тогда, если вы захотите, я приглашу вас присутствовать на одном из наших скромных сеансов. И почему знать, может быть, этот фонарик... Довольно, пока я больше ничего не скажу.

Как видите, общество Ансельмо Палеари было не очень приятно. Но мог ли я, по здравому рассуждению, без всякого риска или, вернее, не принуждая себя лгать, надеяться на общество людей, не оторванных от жизни?

Я вновь и вновь вспоминал кавалера Тито Ленци. В отличие от него, синьор Палеари ни о чем не расспрашивал меня, довольствуясь вниманием, с каким я слушал его речи. Почти каждое утро после обычного омовения всего тела он сопровождал меня в моих прогулках; мы ходили или на Джаниколо, или на Авентино, или на Монте Марио, порой даже до самого Понте Номентано, постоянно говоря о смерти.

«Нечего сказать, много я выиграл, — думал я, — оттого, что не умер на самом деле».

Иногда я пытался перевести разговор на другие темы, но синьор Палеари, казалось, не замечал зрелища окружающей его жизни. На ходу он почти всегда держал шляпу в руке; иногда он внезапно приподнимал ее, словно здороваясь с какой-то тенью, и восклицал:

— Глупости!

Только однажды он неожиданно обратился ко мне с личным вопросом:

— Почему вы живете в Риме, синьор Меис?

Я пожал плечами и ответил:

— Потому что мне нравится жить здесь...

— А ведь это печальный город, — заметил он, покачивая головой. — Многие удивляются, почему здесь не удастся ни одно предприятие, не пускает корни ни одна живая идея. Но люди удивляются этому лишь по одной причине — они не хотят признать, что Рим мертв.

— Рим тоже мертв? — огорченно воскликнул я.

— Давно, синьор Меис. И поверьте, все попытки оживить его напрасны. Замкнутый в снах своего великого прошлого, он ничего не хочет знать о повседневной жизни, которая непрестанно кипит вокруг него. Когда город прожил такую исключительную и выдающуюся жизнь, как Рим, он уже не может стать современным городом, то есть таким, как любой другой. Разве эти новые дома — Рим? Послушайте, синьор Меис, моя дочь Адриана рассказала мне о кропильнице, которая висела в вашей комнате, вспоминаете? Адриана вынесла оттуда эту кропильницу, но вечером она выпала у нее из рук и разбилась; уцелела только раковина, которая стоит теперь на моем письменном столе — я приспособил ее именно для того, для чего вы по рассеянности воспользовались ею впервые. Такова же и судьба Рима, синьор Меис. Папы сделали из него кропильницу — в своем роде, конечно, — а мы, итальянцы, превратили ее в пепельницу. Лю-

ди изо всех стран съезжаются сюда стряхивать пепел со своих сигар. Какой символ нашей несчастной жизни и того горького, отравленного наслаждения, которое она нам дает!

11. ВЕЧЕРОМ, ГЛЯДЯ НА РЕКУ

Чем больше сближали нас уважение и симпатия, которые выказывал мне хозяин дома, тем труднее мне становилось общаться с ним; я и раньше испытывал в его присутствии тайную неловкость, но теперь она постепенно делалась острой, как терзавшие меня угрызения совести, — ведь я втерся в эту семью под чужим именем, изменив свой внешний вид, живя придуманной, почти лишенной содержания жизнью. И я обещал себе по возможности стоять в стороне, ни на минуту не забывая, что я не вправе слишком приближаться к чужой жизни, должен избегать всякой интимности и довольствоваться существованием вне общества.

«Свободен!» — все еще повторял я себе, но уже начинал постигать смысл этой свободы и видеть ее границы.

Из-за этой свободы я, например, проводил целые вечера, облокотившись о подоконник и глядя на черную, молчаливую реку, которая текла меж новых домов, под мостами, где отражались огни фонарей, пляшущие как огненные змейки; я мысленно следил за этими водами, берущими начало далеко в Апеннинах и текущими через поля, город, потом снова через поля и так до самого устья; я представлял себе беспокойное, мрачное море, в котором, пройдя такой долгий путь, теряются эти воды, и время от времени утомленно зевал.

— Свобода... свобода... — бормотал я. — Но разве в другом месте будет не то же самое?

Иногда по вечерам я видел на балконе рядом нашу маленькую маму в капотике — она поливала цветы. «Вот жизнь», — думал я, следя за славной девушкой и ее приятным занятием, и ждал, что она вот-вот бросит взгляд на мое окно. Но напрасно. Она знала, что я дома, но, когда была одна, притворялась, что не замечает меня. Почему? Вероятно, только из-за робости; впрочем, может быть, наша мамочка все еще втайне сердилась на меня за то, что я с упорной жестокостью оказывал ей очень мало внимания?

Потом она, поставив лейку, облакачивалась о перила балкона и тоже смотрела на реку, стараясь показать мне, что она нисколько не интересуется мной, так как занята собственными, гораздо более серьезными мыслями и нудается в одиночестве.

Думая об этом, я мысленно улыбался, но, когда она уходила с балкона, готов был признать, что мое суждение может быть ошибочно, что оно — обычное, инстинктивное следствие досады, возникающей у каждого, кто видит, что на него не обращают внимания.

«Почему, в конце концов, — спрашивал я себя, — она должна думать обо мне и без всякой надобности говорить со мной?»

Ведь я служил живым напоминанием о несчастье ее жизни — безумии ее отца; быть может, мое присутствие было унижением для нее. Быть может, она оплакивала то время, когда ее отец, состоя на службе, не был вынужден сдавать комнаты и держать в доме постороннего, в особенности такого, как я! Быть может, я просто пугаю бедную девочку своим глазом и очками...

Стук экипажа, проезжавшего по ближайшему деревянному мосту, отрывал меня от этих размышлений; я фыркал, отходил от окна, смотрел на кровать, смотрел на книги, некоторое время колебался — лечь мне в постель или взяться за чтение, затем пожимал плечами, хватал шляпу и уходил, надеясь, что на улице я избавлюсь от щемящей тоски.

Повинуясь настроению, я шел или на самые шумные улицы, или в уединенные места. Помню, однажды ночью на площади Святого Петра мне почудилось, что я погружаюсь в сновидение, что я воочию вижу далекий мир былых веков, замкнутый здесь между крыльями величавого портика, в тишине, казавшейся еще более глубокой из-за немолчного лепета двух фонтанов. Я подошел к одному из них, и вода показалась мне живой, а все остальное почти призрачным и глубоко печальным в своей молчаливой и неподвижной торжественности.

Возвращаясь по улице Борго Нуово, я наткнулся на пьяного, который, проходя мимо меня и видя, что я задумался, наклонился, вытянул шею, заглянул мне в лицо, слегка потрянул мою руку и сказал:

— Веселей!

Я круто остановился и удивленным взглядом смерил его с ног до головы.

— Веселей! — повторил он, сопровождая это слово

жестом, означавшим: «Что ты делаешь? Стоит ли так задумываться? Выкинь-ка все из головы!»

И он ушел, шатаясь и держась рукой за стену.

Меня ошеломило появление этого пьяницы и неожиданнй дружеский и философский совет, данный им на безлюдной улице, около большого храма, как раз в тот момент, когда я был целиком погружен в мысли, которые возбудил во мне этот храм.

Некоторое время я стоял неподвижно и следил за этим человеком, потом почувствовал, что мое удивление вот-вот изольется иступленным хохотом.

— Веселей! Да, дорогой, но я не могу, как ты, идти в кабачок и по твоему совету искать веселья на дне бокала. Я, конечно, не найду его там! Не найду и в другом месте! Я пойду в кафе, мой дорогой, к порядочным людям, которые курят и болтают о политике. По словам одного адвокатика-монархиста, мы все можем быть веселы и даже счастливы только при одном условии — при условии, что нами управляет добрый абсолютный монарх. Ты, бедный пьяный философ, ничего об этом не знаешь, это даже не приходит тебе в голову. А знаешь, в чем истинная причина всех наших бед и печалей? В демократии, мой дорогой, в демократии, то есть в правлении большинства, потому что, когда власть в руках одного, этот один, помня, что он один, должен удовлетворять многих; но когда управляют многие, они думают о том, как бы удовлетворить самих себя, и тогда возникает самая гнусная, самая отвратительная тирания — тирания, прикрытая маской свободы. Именно так! Отчего, ты думаешь, я страдаю? Я страдаю как раз от этой тирании, которая замаскирована свободой... Вернемся-ка домой!

Но это была ночь встреч.

Немного спустя, проходя почти в темноте по улице Тординоне, я услышал громкий вопль и другие, более приглушенные крики в одном из переулков, выходящих на эту улицу. Внезапно я увидел, что навстречу мне движется группа дерущихся. Четыре негодяя, вооруженные суковатыми палками, гнались за проституткой.

Я упоминаю об этом приключении не для того, чтобы похвастаться мужественным поступком, но чтобы передать тот страх, который я испытал перед последствиями его. Мужчин было четверо, но и у меня была трость с железным наконечником. Двое из них бросились на меня с ножами. Я защищался, как мог, размахивая

тростью и вовремя отпрыгивая в сторону, чтоб не оказаться окруженным; наконец мне удалось метко ударить самого буйного металлическим набалдашником по голове, и я увидел, как он зашатался, а потом пустился наутек; трое остальных, опасаясь, вероятно, что на крики женщины сбежится народ, последовали за ним. Не помню, как это получилось, но оказалось, что у меня разбит лоб. Я крикнул женщине, которая продолжала звать на помощь, чтобы она замолчала, но она, видя, что у меня все лицо залито кровью, не удержалась и, сама вся растерзанная, с плачем попыталась помочь мне, перевязав меня шелковым платком, закрывавшим ей грудь и разорванным во время драки.

— Нет, нет, благодарю, — сказал я, содрогаясь от отвращения. — Оставь, это пустяки. Уходи сейчас же и никому не показывайся...

Я пошел умыться к ближайшей колонке, находившейся под лестницей моста. Но, пока я был там, прибежали, запыхавшись, два полицейских и стали выяснять, что случилось. Женщина, которая была из Неаполя, немедленно рассказала им о приключившемся со мной несчастье, произнося по моему адресу самые пылкие и восторженные фразы на своем родном диалекте. Мне стоило немалых усилий избавиться от этих двух ретивых полицейских, которые непременно хотели, чтобы я пошел с ними и дал показания о происшествии. Боже, только этого не хватало! Мне ли, кому надлежит молчаливо жить в тени, в полной безвестности, связываться с квестурой, чтобы на следующее утро стать героем газетной хроники?

Вот уж кем я не мог стать, так это героем — разве что ценою смерти... Но ведь я уже был мертв!

— Простите, синьор Меис, вы вдовец?

Синьорина Капорале внезапно задала мне этот вопрос однажды вечером на балконе, где они были вдвоем с Адрианой и куда пригласили посидеть с ними и меня.

Мне на мгновение стало дурно, потом я ответил:

— Я? Нет. Почему вы это предположили?

— Потому что вы всегда трете указательным пальцем правой руки безымянный на левой, словно хотите повернуть кольцо. Вот так... Не правда ли, Адриана?

Подумайте, чего только не видят глаза женщин,

вернее сказать — некоторых женщин, потому что Адриана заявила, что она никогда ничего подобного не замечала.

— Ты просто не обращала внимания! — воскликнула синьорина Капорале.

Должен признаться, что хотя я тоже никогда не обращал на это внимания, у меня, вполне вероятно, действительно была такая привычка.

— В самом деле, — пришлось добавить мне, — я долгое время носил на этом пальце колечко, которое распилил ювелир, потому что оно слишком жало и причиняло мне боль.

— Бедное колечко! — простонала, кривляясь, сорокалетняя дева, обуреваемая в этот вечер ребячливым жеманством. — Такое ли уж оно было узкое? Неужели оно не слезало с пальца? Может быть, это было воспоминание о...

— Сильвия! — укоризненно прервала ее маленькая Адриана.

— Что здесь плохого? — ответила синьорина Капорале. — Я хотела только сказать — о первой любви... Ну, расскажите же нам что-нибудь, синьор Меис. Неужели вы так никогда и не заговорите?

— Так вот, — начал я. — Я подумал о том, как вы объяснили мою привычку почесывать палец. Вы сделали очень нелогичный вывод, милая синьорина, потому что вдовцы, насколько мне известно, не снимают обручального кольца. Тяготить может жена, но не кольцо, когда жены уже нет. Скажу больше: как ветеранам нравится украшать себя всеми своими медалями, так и вдовцу, думается мне, приятно носить кольцо.

— Ну вот еще! — воскликнула Капорале. — Вы просто ловко меняете тему разговора.

— Напротив, я даже хочу углубить ее.

— Что тут углублять! Я никогда ничего не углубляю. Просто у меня создалось такое впечатление, и все.

— Впечатление, что я вдовец?

— Да, синьор. Не кажется ли тебе, Адриана, что у синьора Меиса вид вдовца?

Адриана подняла было на меня глаза, но тотчас же их опустила — застенчивость не дала ей выдержать чужой взгляд. Она слегка улыбнулась своей обычной нежной и грустной улыбкой и сказала:

— Откуда мне знать, как выглядят вдовцы? Какая ты странная!

В это мгновение у нее, наверно, возник какой-то образ, какая-то мысль, потому что она смутилась и вновь стала смотреть вниз на реку. Ее приятельница, должно быть, поняла это. Она вздохнула и тоже повернулась лицом к реке. Очевидно, между нами встал кто-то четвертый, невидимый. В конце концов, глядя на полутраурное платье Адрианы, до этого додумался и я. В самом деле, ее находящийся в Неаполе зять Теренцио Папиано едва ли похож на безутешного вдовца; следовательно, такой же вид, по мысли синьорины Капорале, должен быть и у меня.

Признаюсь, я обрадовался, что разговор кончился так плохо: пусть боль, причиненная Адриане воспоминанием о покойной сестре и о Папиано-вдовце, будет для синьорины Капорале наказанием за нескромность.

Но надо быть справедливым: то, что мне казалось нескромностью, было, в сущности, только естественным и вполне извинительным любопытством; странное молчание, окружавшее мою личность, не могло не возбудить его. А так как одиночество стало для меня теперь невыносимо и я был не в силах отказаться от такого соблазна, как общество других людей, эти последние имели полное право любопытствовать, кто я такой. Я же был вынужден удовлетворять их желание, то есть выдумывать и лгать, — другого пути у меня не было. Виноват в этом был только я; правда, свою вину я усугублял ложью, но если бы я не согласился лгать и страдал, оттого что лгу, я должен был бы уйти и снова отправиться в одинокие и безвестные странствия. Я заметил, что Адриана, которая сама никогда не задавала мне никаких нескромных вопросов, тем не менее вся превращалась в слух, когда я отвечал синьорине Капорале; вопросы же, по правде сказать, учительница музыки задавала очень часто, и они нередко переходили границы естественного и простительного любопытства.

Однажды вечером, например, на том же балконе, где мы обычно собирались, когда я возвращался после ужина, она спросила меня, смеясь и увертываясь от Адрианы, которая в крайнем возбуждении кричала ей: «Нет, Сильвия, не смей, я тебе запрещаю!»:

— Простите, синьор Меис, Адриана хочет знать, почему вы не носите хотя бы усов...

— Неправда, — кричала Адриана, — не верьте, синьор Меис, это все она, а я, напротив...

И наша маленькая мамочка неожиданно разрыдалась. Синьорина Капорале немедленно принялась утешать ее:

— Да что ты! В чем дело? Что тут дурного?

Адриана оттолкнула ее локтем:

— Дурно то, что ты солгала, и это меня сердит! Мы говорили об актерах, которые все... такие, и тогда ты сказала: «Как синьор Меис? Почему он не отрастит хотя бы усы?» А я только повторила: «Да, почему?»

— Ну что ж, — согласилась синьорина Капорале, — кто говорит: «Да почему?», тот и спрашивает.

— Но ведь первая сказала ты! — с досадой заявила Адриана.

— Можно ответить? — спросил я, чтобы их успокоить.

— Нет, простите, синьор Меис, не надо. Покойной ночи! — отрезала Адриана и встала, собираясь уйти. Но синьорина Капорале удержала ее за руку:

— Полно, глупышка! Мы ведь шутим... Синьор Меис так добр, что он не рассердится. Не правда ли, синьор Адриано? Скажите же ей сами, почему вы не отрастите по крайней мере усы.

На этот раз Адриана рассмеялась, хотя глаза у нее еще были полны слез.

— Под этим кроется тайна, — ответил я, комически понижая голос. — Я заговорщик.

— Не верим! — воскликнула синьорина Капорале тем же тоном, но потом прибавила: — А все-таки вы, без сомнения, очень скрытный. Что вы, например, делали сегодня после обеда на почте?

— Я? На почте?

— Да, синьор! Не станете же вы отрицать? Я видела вас собственными глазами. Около четырех... Я проходила по площади Сан-Сильвестро.

— Вы ошиблись, синьорина: это был не я.

— Ну, ну, — недоверчиво протянула Капорале. — Тайная переписка... Это правда, Адриана! Синьор Меис никогда не получает писем на дом. Заметь, мне это сказала служанка!

Адриана раздраженно заерзала на стуле.

— Не обращайтесь на нее внимания. — сказала она, бросив на меня грустный и почти ласковый взгляд.

— Да, я не получаю писем ни домой, ни до востребования, — согласился я. — Совершенно верно! Мне никто

не пишет, синьорина, по той простой причине, что у меня нет никого, кто мог бы мне написать.

— Даже ни одного приятеля? Быть не может! Так-таки никого?

— Никого. На земле существуем только я и моя тень. Я непрерывно путешествую вместе с ней по разным местам и до сих пор нигде не задерживался так долго, чтобы успеть завязать прочную дружбу.

— Счастливец! — вздохнула синьорина Капорале. — Всю жизнь путешествовать!.. Расскажите нам хоть о путешествиях, если уж не желаете говорить ни о чем другом.

Преодолев подводные камни первых затруднительных вопросов, я постепенно научился обходить некоторые из них на веслах лжи, служившей мне рычагом и опорой; если же вопрос касался меня особенно близко, я цеплялся за подводный камень обеими руками и тихонько, осторожненько поворачивал лодочку моего вымысла так, чтобы она могла наконец выйти в открытое море и поднять паруса фантазии.

И теперь, после года молчания, я получал большое удовольствие от того, что каждый вечер говорил на балконе — говорил о чем хотел: обо всем, что видел, о своих наблюдениях, о приключениях, пережитых в разных местах. Я сам удивлялся, что за время путешествия собрал столько впечатлений, которые почти похоронило во мне молчание; теперь же, когда я заговорил, они воскресли и живыми слетали с моих губ. Это внутреннее удивление необычайно расцветчивало мои рассказы, и удовольствие, с которым обе женщины слушали меня, постепенно пробуждало во мне все большее сожаление о тех благах, которых я еще не вкусил полностью; это сожаление также окрашивало теперь мои рассказы.

После нескольких вечеров поведение синьорины Капорале и ее отношение ко мне совершенно изменились. Взгляд ее как бы отяжелел от нарочитой томности; он еще больше напоминал теперь о свинцовых шариках, подвешенных внутри для равновесия, и углублял контраст между скорбными глазами и карнавальной маской лица. Сомнений не было: синьорина Капорале влюбилась в меня. Нелепое удивление, которое я ощутил при этом открытии, показало мне, что все эти вечера я говорил не для нее, а для другой, всегда слушавшей меня молча. Адриана — это было совершенно ясно — тоже поняла, что я говорил для нее одной, ибо нас связало обо-

юдное, хоть и невысказанное желание посмеяться над неожиданным и комическим действием, которое произвели мои рассказы, затрагивая самые чувствительные струны души сорокалетней учительницы музыки.

Когда я это открыл, у меня не появилось никаких нечистых чувств к Адриане — ее целомудренная, проникнутая грустью доброта исключала их, — но мне доставляли бесконечную радость даже первые проявления доверчивости, на какие могла решиться милая и застенчивая Адриана. То это был беглый, как молния, очаровательный нежный взгляд, то сочувственная улыбка по поводу смешного самообольщения подруги, то благосклонное предостережение, которое она посылала мне взглядом или легким кивком головы, когда я забредал по нашей тайной тропинке чуть-чуть дальше, чем надо, и подавал хоть проблеск надежды синьорине Капорале, то, словно бумажный змей, взвивавшийся к небесам блаженства, то падавшей с неба на землю при каком-нибудь моем неожиданным и резком выпад.

— У вас не слишком нежное сердце, — объявила мне однажды синьорина Капорале, — если вы, как уверяете, вправду прошли по жизни невредимо, во что я, конечно, не верю.

— То есть как это невредимо?

— Я хочу сказать — ни разу не испытал страсти...

— О, ни разу, синьорина, ни разу.

— А все-таки вы не сказали нам, откуда у вас взялось... колечко, которое распилил ювелир, так как оно слишком резало вам палец.

— И причиняло мне боль. Разве я вам не говорил? Да нет, говорил, конечно. Это память о дедушке, синьорина.

— Ложь.

— Думайте, как вам угодно; но я, видите ли, могу вам даже сказать, что дедушка подарил мне это колечко во Флоренции, когда мы выходили из галереи Уффици. И знаете за что? За то, что я (мне было тогда двенадцать лет) принял одну вещь Перуджино за работу Рафаэля. В награду за эту ошибку я и получил колечко, купленное в одной из лавчонок на Понте Веккьо. Дедушка, не знаю уж по каким соображениям, был твердо убежден, что эта картина Перуджино должна считаться картиной Рафаэля. Вот вам и объяснение тайны. Вы понимаете, что между рукой двенадцатилетнего мальчика и моей теперешней ручищей есть известная разница.

Взгляните сами. Теперь я весь такой, как эта ручища, на которую уже не наденешь изящное колечко. Сердце-то у меня, может быть, и есть, но я должен быть справедлив к себе, синьорина: когда я смотрю на себя в зеркало сквозь эти самые очки, которые ношу из жалости к собственной особе, у меня опускаются руки и я мысленно восклицаю: «И ты еще надеешься, дорогой Адриано, что какая-нибудь женщина полюбит тебя!»

— О, какой вздор! — взорвалась синьорина Капорале. — И вы считаете, что думать так — справедливо? Неправильно: это вопиющая несправедливость в отношении нас, женщин. Запомните, дорогой синьор Меис: женщина гораздо великодушнее мужчины и обращает внимание не только на телесную красоту, как вы.

— Скажем тогда, что женщина и храбрее мужчины: надо признать, синьорина, что, кроме великодушия, ей надо иметь изрядную дозу отваги, чтобы по-настоящему полюбить такого мужчину, как я.

— Да подите вы! Вам просто нравится говорить о себе и даже изображать себя более некрасивым, чем на самом деле.

— Это правда. И знаете почему? Чтобы не вызывать ни в ком жалости. Пожелай я хоть немного приукрасить себя, надо мной бы посмеялись: «Посмотрите-ка на этого беднягу, он надеется, что станет менее уродлив, отравив усы». А так не будут. Я некрасив? Ну что ж, зато некрасив откровенно и ничем не желаю себя прикрасить. Что вы на это скажете?

Синьорина Капорале глубоко вздохнула и ответила:

— Скажу, что вы не правы. Если бы вы, например, отравили себе хоть маленькую бородку, вы сразу бы поняли, что вы совсем не такое чудовище, как уверяете.

— А мой косой глаз? — спросил я.

— О боже! — воскликнула синьорина Капорале. — Раз уж вы говорите об этом так просто, я, извините, скажу вам то, что хочу сказать уже несколько дней: почему вы не рискнете на операцию, которую теперь делают запросто? Стоит только захотеть, и вы очень быстро избавитесь от этого маленького недостатка.

— Вот видите, синьорина, — закончил я с п о р . — Допускаю, что женщина более великодушна, чем мужчина, но позволю себе заметить, что, давая мне такие советы, вы все-таки хотите, чтобы я изменил свою наружность.

Почему я так настойчиво длил этот спор? Неужели мне действительно хотелось, чтобы учительница Ка-

порале в присутствии Адрианы прямо сказала, что уже полюбила меня, даже такого бритого и косоглазого? Нет. Я говорил так много и задавал синьорине Капорале столько мелких вопросов потому, что заметил удовольствие, вероятно бессознательное, которое испытывала Адриана при победоносных ответах учительницы.

Таким образом я понял, что, несмотря на мой нелепый облик, она могла бы полюбить меня. Я не признавался в этом даже самому себе, но с этого вечера постель, на которой я спал в этом доме, стала казаться мне мягче, все окружавшие меня предметы — приятнее, воздух, который я вдыхал, — свежее, небо — лазурнее, солнце — ослепительнее. Мне хотелось верить, что эта перемена объясняется еще и тем, что Маттиа Паскаль умер на мельнице в Стиа, а я, Адриано Меис, на первых порах несколько потерявшись в своей новой беспредельной свободе, обрел наконец равновесие, постиг идеал, который нарисовал себе, и сделал из себя другого человека, живущего другой жизнью, которая теперь, я это чувствовал, переполняет меня.

И моя душа, избавив яд опытности, вновь обрела веселость ранней юности. Даже синьор Ансельмо Палеари не казался мне больше таким скучным: тень, туман, дым его философии растаяли на солнце моей новой радости. Бедный синьор Ансельмо! Из двух вещей, о которых, по его словам, надо думать на земле, он незаметно для себя привык думать только об одной; но как знать — быть может, и он в лучшие дни думал о жизни. Гораздо более достойна сочувствия была учительница Капорале, даже вино не давало ей «веселья», о котором говорил тот незабвенный пьяница с улицы Борго Нуово; бедняжка хотела жить и считала невеликодушными мужчин, которые обращают внимание только на телесную красоту. Значит, в душе она чувствовала себя красивой. Кто знает, сколько и какие жертвы она бы принесла, если бы нашла «великодушного» мужчину! Может быть, она отказалась бы даже от вина.

«Если мы признаём, — думал я, — что человеку свойственно ошибаться, разве справедливость не является нечеловеческой жестокостью?»

И я обещал себе, что не буду больше жесток к синьорине Капорале. Я это обещал, но, увы, я был жесток, сам того не желая, и даже тем более жесток, чем меньше я этого хотел. Моя приветливость еще больше разжигала

в ней огонь, который так легко вспыхивал. И вот что случилось: при моих словах бедная женщина бледнела, а Адриана краснела. Я не очень хорошо понимал, что говорю, но чувствовал, что, хотя мои слова, звук голоса, интонация и волнуют ту, к кому они на самом деле обращены, она не хочет разрушить тайную гармонию, которая, не знаю как, уже создалась между нами. Душам свойственна особая способность понимать друг друга, вступать в близкие отношения, переходить, так сказать, на «ты», в то время как мы сами еще нуждаемся в сложности обиденных слов и пребываем в рабстве у социальных условностей. У наших душ есть свои собственные потребности и устремления, на которые тело не обращает внимания, когда видит невозможность удовлетворить их и претворить в действие. И всякий раз, когда двое общаются друг с другом на молчаливом языке души, они, оставаясь наедине, ощущают мучительную растерянность и нечто вроде острого отвращения к малейшему физическому контакту. Это острое чувство отвращения, удаляющее их друг от друга, немедленно прекращается, как только появляется кто-то третий. Тогда тягостное ощущение проходит, обе души вновь окрыляются, испытывают взаимное притяжение и снова издали улыбаются друг другу.

Сколько раз я убеждался в этом на примере себя и Адрианы. Но растерянность, которую она чувствовала, казалась мне следствием ее природной сдержанности и застенчивости, тогда как мое смущение объяснялось, по-моему, угрызениями совести, потому что я был принужден непрерывно притворяться, появляясь в ином, поддельном облике перед этим чистым, наивным, нежным и робким существом.

Теперь я смотрел на нее другими глазами. Но, может быть, она в самом деле переменялась за этот месяц? Разве не озарились внутренним светом ее беглые взгляды? И разве ее улыбка не доказывала, что те усилия, которых ей стоила роль мудрой хозяйки и которые представлялись мне раньше несколько показными, стали для нее теперь менее тягостны?

Может быть, и она инстинктивно повиновалась моей потребности создать себе иллюзию новой жизни, какой и как — я и сам не знал. Желание неясное, как вздох души, незаметно приоткрыло для нее, равно как и для меня, окно в будущее, откуда к нам лился опьяняюще теплый свет, хотя мы не умели ни приблизиться к этому

окну, ни закрыть его, ни увидеть, что же находится за ним.

Наше сладкое опьянение заражало и бедную синьорину Капорале.

— Знаете, синьорина, — сказал я ей однажды вечером, — я почти решил последовать вашему совету.

— Какому? — спросила она.

— Оперироваться у окулиста.

Синьорина радостно захлопала в ладоши:

— О, великолепно! И обязательно у доктора Амброзини. Обратитесь к Амброзини — это самый лучший врач! Он оперировал катаракту бедной моей маме. Видишь, Адриана, зеркало заговорило. Что я тебе сказала?

Адриана улыбнулась, я — тоже:

— Дело тут не в зеркале, а в необходимости, синьорина: с некоторых пор у меня побаливает глаз. Правда, он никогда не служил мне как следует, но я все же не хочу его терять.

Это была неправда. Синьорина Капорале не ошиблась: зеркало заговорило и сказала мне, что если относительно легкая операция сотрет с моего лица эту безобразную особую приметку Маттиа Паскаля, Адриано Меис может снять синие очки, отрастить себе усы и вообще по мере сил привести свою наружность в соответствие с изменившимся состоянием духа.

Несколько дней спустя меня неожиданно потрясла ночная сцена, при которой я присутствовал, спрятавшись за жалюзи одного из моих окон.

Сцена разыгралась на балконе, где я до десяти пробыл в обществе обеих женщин. Вернувшись к себе в комнату, я начал рассеянно читать «Воплощение», одну из любимых книг синьора Ансельмо. Внезапно мне почудилось, что на балконе я слышу разговор. Я прислушался — не Адриана ли это? Нет. Говорили два голоса, тихо и возбужденно. Один голос был мужской и принадлежал не Палеари. В доме было всего двое мужчин — я и он. Меня охватило любопытство, я подошел к окну и заглянул в просветы жалюзи. Мне показалось, что в темноте я различил синьорину Капорале. Но кто был мужчина, с которым она разговаривала? Может быть, неожиданно приехал из Неаполя Теренцио Папиано?

По одному слову, которое синьорина Капорале произнесла чуть громче, я понял, что говорили обо мне.

Я подошел ближе к жалюзи и прислушался еще внимательнее. Мужчина был явно раздражен сведениями,

которые учительница музыки, несомненно, сообщила обо мне. и теперь она старалась сгладить впечатление, произведенное ими на него.

— Богат? — вдруг спросил он.

— Не знаю... Кажется, да. Во всяком случае, живет на свои сбережения, ничего не делая...

— Он всегда дома?

— Нет. И потом, завтра ты его увидишь.

Она сказала именно так: «Увидишь». Значит, она была с ним на «ты»; значит, Папиано (в этом не было больше никакого сомнения) — любовник синьорины Капорале... Почему же тогда она все эти дни проявляла такую благосклонность ко мне?

Мое любопытство становилось все сильнее, но они как нарочно заговорили очень тихо. Лишась возможности следить за разговором, я еще напряженнее стал всматриваться во мрак. И тут я увидел, как синьорина Капорале положила руку на плечо Папиано. Минуту спустя тот грубо оттолкнул ее.

— Но как я могла запретить? — сказала она, с глубоким отчаянием повышая голос. — Кто я такая? Что я значу в этом доме?

— Позови мне Адриану, — повелительно бросил мужчина.

Услышав имя Адрианы, произнесенное таким тоном, я сжал кулаки и почувствовал, как кровь застучала у меня в жилах.

— Она с п и т, — ответила синьорина Капорале.

— Поди и сейчас же разбуди ее! — мрачно и угрожающе приказал он.

Не знаю, как я сдержался и в бешенстве не распахнул жалюзи. Усилие, которое я сделал над собой, чтобы обуздать свой гнев, на мгновение привело меня в себя. С губ моих готовы были сорваться те же самые слова, которые только что с таким отчаянием произнесла несчастная женщина: «Кто я такой? Что я значу в этом доме?»

Я отошел от окна и немедленно подыскал оправдание для себя: они говорили обо мне, а мужчина хотел, кроме того, расспросить Адриану; следовательно, я вправе узнать, каковы его намерения в отношении меня. Легкость, с которой я извинил такой свой неделикатный поступок, как подслушивание и подглядывание, показала мне, что я выдвигаю на первый план собственные интересы лишь с одной целью — чтобы не сознаваться самому

себе, что Адриана внушает мне сейчас еще гораздо более живой интерес.

Я снова стал смотреть через щели жалюзи.

Синьорины Капорале на балконе уже не было. Мужчина стоял один, облокотившись о перила, сжав голову руками, и смотрел на реку.

Охваченный неудержимым страхом, согнувшись и крепко охватив руками колени, я ждал, когда же появится Адриана. Длительное ожидание нисколько меня не утомило, напротив, я даже постепенно прибодрился, испытывая живое и все возрастающее удовлетворение: я предположил, что Адриана заперлась у себя, не желая подчиняться этому грубияну. Может быть, как раз сейчас синьорина Капорале, ломая руки, умоляет ее выйти. А этого субъекта тем временем грызет досада. Я уже надеялся, что Адриана откажется встать с постели, а учительница придет и сообщит об этом. Но нет — вот она.

Папиано двинулся ей навстречу.

— Идите спать и дайте мне поговорить с моей свояченицей, — приказал он синьорине Капорале.

Та повиновалась, и Папиано принялся закрывать ставни выходящих на балкон окон столовой.

— Зачем? — возразила Адриана, удерживая рукой ставень.

— Мне нужно побеседовать с тобой, — мрачно бросил ей зять, стараясь говорить шепотом.

— Говори так. Что ты хочешь мне сказать? — спросила Адриана. — Мог бы подождать до завтра.

— Нет, теперь! — ответил Папиано, схватив ее за руку и притягивая к себе.

— Это еще что? — воскликнула Адриана, яростно вырываясь.

Не владея больше собой, я распахнул жалюзи.

— О, синьор Меис! — воскликнула Адриана. — Подите сюда, если вам не трудно.

— Сию минуту, синьорина! — торопливо отозвался я.

Сердце мое затрепетало от радости и благодарности, и я одним прыжком очутился в коридоре. Но там, у входа в мою комнату, свернувшись клубком на сундуке, лежал тощий белокурый юноша с длинным бескровным лицом, который, с трудом открыв голубые томные глаза, удивленно глянул на меня; в изумлении я на секунду остановился, решил, что это, вероятно, брат Папиано, и выбежал на балкон.

— Позвольте, синьор Меис, представить вам моего

зятя, Теренцио Папиано, только что приехавшего из Неаполя, — сказала Адриана.

— Очень рад! Просто счастлив! — воскликнул тот, снимая шляпу, низко кланяясь и горячо пожимая мне руку. — Мне очень жаль, что меня все это время не было в Риме, но я уверен, моя маленькая свояченица позаботилась обо всем, не правда ли? Если вам чего-нибудь не хватает, скажите, не стесняйтесь! Если вам, например, нужно бюро побольше или какая-нибудь другая мебель, не церемоньтесь. Мы всегда стараемся угождать постояльцам, которые делают нам честь.

— Благодарю! — ответил я. — У меня все есть. Благодарю.

— Не стоит благодарности — это мой долг! И пожалуйста, всегда обращайтесь ко мне со всеми своими надобностями, как бы дорого они нам ни стоили... Адриана, дитя мое, ты ведь уже спала, ложись, если хочешь.

— Оставь, — сказала Адриана, грустно улыбаясь. — Уж если я поднялась...

Она подошла к перилам и уставилась на реку.

Я почувствовал, что она не хочет оставлять меня с ним наедине. Чего она боится? Она стояла, погруженная в свои мысли, а Папиано, все еще держа шляпу в руке, говорил мне о Неаполе, где ему пришлось задержаться дольше, чем он предполагал, чтобы снять копии с множества документов из частного архива ее светлости герцогини Терезы Раваскьери Фьески, герцогини-мамы, как все ее зовут. Это документы исключительной важности, которые проливают новый свет на последние годы существования Королевства обеих Сицилий и в особенности на Гаэтано Филанджери, князя Сатриано, которого маркиз Джильо, дон Иньяцио Джильо д'Аулетта, собирается прославить в подробной и беспристрастной биографии. Он, Папиано, служит секретарем у маркиза Джильо. Биография должна быть беспристрастной хотя бы настолько, насколько это позволяло синьору маркизу его преданность и верность Бурбонам.

Папиано никак не мог кончить. Он упивался собственным красноречием и, говоря, подкреплял свои слова всеми уловками закоренелого актера-любителя — то легким смешком, то выразительным жестом. Ошеломленный, я стоял как чурбан, время от времени утвердительно кивая головой и взглядом следя за Адрианой, которая все еще смотрела на реку.

— Ну конечно, — сказал в виде заключения Папиано, понижая голос, — маркиз Джильо д'Аулетта был сторонником Бурбонов и клерикалов! А я, я, кто... я должен говорить об этом шепотом даже у себя дома... кто каждое утро, перед уходом, отдает честь статуе Гарибальди на Джаниколо... Вы видели ее? Отсюда прекрасно видно... Я, кто готов каждую минуту воскликнуть: «Да здравствует двадцатое сентября!» — я должен быть его секретарем! Заметьте, он достойнейший человек, но сторонник Бурбонов и клерикал. Да, синьор, хлеб!.. Клянусь вам, мне столько раз хотелось, простите, плюнуть на все! Кусок застревает в горле, душит меня... Но что я могу поделывать? Хлеб! Хлеб!

Он дважды пожал плечами, воздел руки и покачал бедрами.

— Ну, ну, Адрианучча! — сказал он потом, подбегая к девушке и слегка обнимая ее за талию. — В постель! Уже поздно. Синьор, вероятно, хочет спать.

У двери в мою комнату Адриана крепко пожалала мне руку, чего до сих пор никогда не делала. Оставшись один, я долго не разжимал пальцев, словно для того, чтобы сохранить прикосновение ее руки. Всю ночь напролет я размышлял, стараясь подавить в себе противоречивые чувства. Церемонное лицемерие, вкрадчивое и красноречивое низкопоклонство, злонамеренность этого человека сделали для меня нестерпимым пребывание в доме, где он — в этом я не сомневался — хотел стать тираном, воспользовавшись слабоумием своего тестя. Кто знает, к каким еще ухищрениям он может прибегнуть! Он уже показал мне одну из своих уловок, совершенно изменившись при моем появлении. Но почему он так недоволен тем, что я поселился здесь? Разве я для него не только жилец, как и любой другой на моем месте? Что ему наговорила обо мне синьорина Капорале? Неужели он всерьез ревнует ее? Или другую? Он выгнал синьорину Капорале, чтобы остаться наедине с Адрианой, с которой начал говорить очень резко. Возмущение Адрианы и то, что она не позволила ему закрыть ставни, а также волнение, в которое она приходила всякий раз, когда при ней упоминали об отсутствующем зяте, — все укрепляло во мне отвратительное подозрение, что Папиано имел на нее виды.

Хорошо, но почему это меня так волнует? Разве я не могу в конце концов уйти из этого дома, если Папиано хоть немного досадит мне? Что меня удерживает? Ни-

что. И все же я с нежностью и теплотой вспоминал, как Адриана позвала меня на балкон, словно желая, чтобы я защитил ее, а прощаясь, крепко-крепко пожалла мне руку...

Я оставил открытыми и жалюзи, и ставни. Прошло еще некоторое время, и луна, склоняясь к горизонту, заглянула в просвет моего окна, словно желая подстеречь меня, застать еще бодрствующим на кровати и сказать мне:

— Я поняла, дорогой, я поняла! А ты нет? Полно!

12. ГЛАЗ И ПАПИАНО

— Трагедия об Оресте в марионеточном театрике, — объявил мне синьор Ансельмо Палеари. — Марионетки автоматические — новое изобретение. Сегодня вечером в половине девятого, улица Префетти, пятьдесят четыре.

— Трагедия об Оресте?

— Да! D'après Sophocles¹, как сказано в афише. Дают «Электру». Но послушайте-ка, мне в голову пришла странная мысль! А вдруг в кульминационный момент, когда марионетка, изображающая Ореста, уже готова отомстить за отца Эгисту и своей матери, картонное небо театрика прорвется? Скажите-ка, что тогда произойдет?

Я только пожал плечами:

— Откуда мне знать?

— Но это же ясно, синьор Меис! Такая дыра в небе привела бы Ореста в полное замешательство.

— Почему?

— А вот послушайте. Ореста еще обуревают жажда мщения, в страстном исступлении он рвется утолить ее, но в этот миг глаза его невольно устремляются на дыру, откуда на сцену прорываются какие-то враждебные веяния, и руки у него сами собой опускаются. Словом, Орест превращается в Гамлета. Поверьте мне, синьор Меис, вся разница между трагедией античной и трагедией нового времени сводится к одному — к одной дыре в картонном небе.

И он удалился, волоча ногу.

Синьор Ансельмо частенько низвергал вот так снежные лавины мыслей с заоблачных вершин своих аб-

¹ По Софоклу (франц.).

стракций. Откуда у него возникали такие мысли, с чем они были связаны, что его на них наталкивало, — все это было скрыто там, в облаках, и его собеседник лишь с большим трудом мог уразуметь, о чем он, собственно, говорит.

И все же образ Ореста, приведенного в замешательство дырой в небе, почему-то запечатлелся у меня в памяти. «Какие, право, счастливы эти марионетки! — вздыхал я. — Небо над их деревянными головками всегда ровное, без дыр. Ни душевного смятения, ни колебаний, ни роковых вопросов, ни мрачных мыслей, ни сожалений — ничего! Они могут быть смелыми, радостно предаваться своей игре, любить, испытывать чувство самоуважения и собственного достоинства; это небо выкроено по их мерке, оно подходящая кровля для них и для их деяний».

«А прототип такой вот марионетки, милейший синьор Ансельмо, — вилась дальше нить моих мыслей, — вы имеете у себя дома: это ваш гнусный зятек Папиано. Он вполне удовлетворен этим низеньким небом из папье-маше над своей головой, этим удобным и спокойным жилищем иконописного бога, который на все смотрит сквозь пальцы, закрывает глаза на что угодно и охотно поднимает руку в знак отпущения грехов. На любое жульничество этот самый бог отвечает лишь тем, что сонно бормочет: «Береженого бог бережет». А ваш Папиано, он-то уж себя бережет. Для него жизнь — игра, в которой важно одно — словчить. И с каким наслаждением впутывается в любую интригу проворный, предприимчивый болтун!»

Папиано было лет сорок; он отличался хорошим ростом и крепким сложением; лоб у него уже начал лысеть; густые усы с проседью топорщились прямо под самым носом основательных размеров с вечно трепетавшими ноздрями; глаза были серые, остренькие и такие же беспокойные, как руки. Он все видел и все ощупывал. Разговаривает, например, со мною и, уж не знаю каким образом, замечает, что за его спиной Адриана что-то изо всех сил чистит или убирает в комнате. И вот он уже усердствует:

— Pardon!¹ — Бежит к ней, выхватывает у нее из рук то, над чем она трудилась. — Нет, девочка, погляди: надо вот так!

¹ Простите (франц.).

Сам чистит заново, сам ставит на место и возвращается ко мне.

Иногда, внезапно заметив, что брат его, страдавший эпилептическими судорогами, начинает «чудить», он подбегал к нему и принимался хлопать его ладонью по щекам и шелкать по носу:

— Шипионе! Шипионе!

Или дул ему в лицо, пока тот не приходил в себя.

Как бы все это развлекало меня, если бы не мое прошлое!

Папиано с первых же дней, видимо, догадался, что у меня не все ладно — во всяком случае, он что-то учуял. Он начал правильную осаду, осторожно ходя вокруг да около, то и дело закидывая удочку в надежде, что я проболтаюсь. Мне казалось, что каждое его слово, каждый его вопрос, даже самый невинный, таит в себе подвох. Впрочем, я старался не выказывать ему недоверия, чтобы не усилить его подозрений. Но меня до того бесили его повадки льстивого инквизитора, что я так и не научился достаточно хорошо скрывать свое раздражение.

Раздражали меня и еще два обстоятельства — внутренних, потаенных. Во-первых, то, что я, не совершив ничего дурного, не причинив никому зла, вынужден был в отношениях с любым другим человеком вести себя осторожно, с оглядкой, словно я потерял право на то, чтобы меня оставили в покое. Что касается второго обстоятельства, то в нем мне самому не хотелось отдавать себе отчет, и от этого я в глубине души еще больше раздражался. Сколько я себе ни твердил: «Болван, да плюнь ты на это, встряхнись!» — я не мог ни плюнуть, ни встряхнуться.

Борьба, которую я вел с самим собой, чтобы не осознать своего чувства к Адриане, не давала мне поразмыслить над теми последствиями, какие могло иметь для этого чувства мое в высшей степени ненормальное положение в жизни. И вот я топтался на месте, озабоченный, нестерпимо недовольный собой, в беспрестанном внутреннем возбуждении, но с безмятежной улыбкой на лице.

То, что я подслушал в первый вечер из-за спущенных жалюзи, еще не проявилось открыто. По-видимому, неблагоприятное впечатление, которое составилось обо мне у Папиано после разговора с синьориной Капорале, внезапно рассеялось при нашем знакомстве. Он, правда, донимал меня, но, вероятно, просто по привычке и, во

всяком случае, без тайного намерения выжить меня из дому. Напротив! Что же он замышлял? Синьорина Сильвия Капорале обращалась к Папиано на «вы», по крайней мере в присутствии других, этот же архинахал совершенно открыто говорил ей «ты». Он доходил до того, что называл ее Рея Сильвия. Я не знал, как понимать такое его бесцеремонное и в то же время шутовское поведение. Правда, несчастная вела настолько беспорядочную жизнь, что особого уважения не заслуживала, но она не заслуживала и подобного обращения со стороны человека, не состоявшего с ней ни в родстве, ни в свойстве.

Как-то вечером (стояла полная луна, и на улице было светло почти как днем) я увидел ее из своего окна: одинокая, грустная, стояла она на балконе, где мы собирались теперь редко и без того удовольствия, что прежде, так как к нам немедленно присоединялся Папиано, никому не дававший вымолвить слова. Движимый любопытством, я решил подойти к ней и, так сказать, захватить ее врасплох.

В коридоре, у своей двери, я, как всегда, обнаружил брата Папиано, свернувшегося на сундуке в том же положении, в каком я увидел его в первый раз. Было ли это его постоянным местопребыванием, или он наблюдал за мной по приказу брата?

На балконе синьорина Капорале плакала. Сперва она не захотела мне ничего сказать, только жаловалась на нестерпимую головную боль. Потом, словно приняв внезапное решение, она обернулась, посмотрела мне прямо в лицо, положила руку на плечо и спросила:

— Вы мне друг?

— Если вы согласны оказать мне эту честь... — с поклоном ответил я.

— Благодарю. Только, ради бога, не говорите мне пустых любезностей. Если бы вы только знали, как я нуждаюсь в друге, в настоящем друге, и именно в данную минуту! Вы должны это понять — ведь вы, как и я, один на свете... Но вы — мужчина. Если бы вы только знали, если бы вы знали...

Чтобы не плакать, она закусила носовой платок, который держала в руке, но это не помогло, и она несколько раз яростно дернула его.

— Баба, уродина, старуха! — вскричала она. — Три непоправимые беды! Зачем мне жить?

Мне стало жаль ее:

— Успокойтесь. Зачем вы так говорите, синьорина?

Ничего лучшего я не придумал.

— Потому что... — вырвалось у нее, но она тут же замолчала.

— Но в чем же дело? — уговаривал ее я. — Если вам нужен друг...

Она поднесла изорванный носовой платок к глазам.

— Больше всего мне нужно умереть! — простонала она с таким глубоким отчаянием, что я почувствовал, как к горлу моему подкатывает клубок.

Никогда в жизни я не забуду ни скорбной складки ее жалких, увядших губ, когда она произносила эти слова, ни дрожи подбородка, на котором курчавилось несколько черных волосков.

— Но меня не берет даже смерть, — продолжала она. — Ничего... Извините, синьор Меис! Чем вы мне можете помочь? Ничем. Самое большее — словами... Да лишь капелькой сочувствия! Я сирота, мне не на что рассчитывать, и пусть со мной обращаются как... Вы, наверно, сами заметили — как. А ведь они не имеют на это никакого права! Они ведь мне не милостыню подают...

И тут синьорина Капорале заговорила со мной о шести тысячах лир, которыми, как я уже упоминал, поживился Папиано.

Как ни сочувствовал я горестям несчастной женщины, мне хотелось разузнать у нее нечто совсем другое. Воспользовавшись (признаюсь в этом) возбужденным состоянием, в котором она находилась, — вероятно, еще и потому, что пропустила лишний стаканчик, — я решился спросить:

— Но, простите меня, синьорина, почему вы дали ему эти деньги?

— Почему? — сжала она кулаки. — Две подлости, одна чернее другой! Я дала деньги, чтобы доказать ему, что отлично соображаю, чего он от меня хочет. Вы поняли? Жена его еще была жива, а этот субъект...

— Понимаю.

— Вы только представьте себе! — всхлипнула она. — Бедная Рита...

— Его жена?

— Да. Рита, сестра Адрианы... Она два года болела, все время была между жизнью и смертью. Подумайте, могла ли я... Но ведь все знают, как я себя вела. Адриана тоже знает и потому хорошо относится ко мне. Она-то ко мне добра, бедняжка. Но с чем я сейчас осталась? Поверьте, из-за него мне пришлось расстаться даже

с роялем, который был для меня всем, понимаете, всем. Не только из-за моей профессии: я беседовала с ним. Еще девочкой, в музыкальной школе, я сочиняла, сочиняла и потом, по окончании ее, а затем бросила. Но пока у меня был рояль, я все же импровизировала, просто так, для себя. Давала выход своим чувствам, опьянялась музыкой до того, что порой — поверьте мне — без сознания падала на пол. Сама не могу сказать, что вырывалось из моей души: я сливалась с инструментом в одно существо, и не пальцы мои бежали по клавишам, а душа кричала и плакала. Скажу только одно: как-то вечером (мы с мамой жили в мезонине) внизу, на улице, собрался народ, и под конец мне долго аплодировали. Мне даже стало немножко страшно.

— Извините меня, синьорина, — начал я, чтобы хоть немного утешить ее, — а разве нельзя взять рояль напрокат? Мне доставило бы такое удовольствие слушать вашу игру: и если вы...

— Нет, — перебила она, — что я теперь могла бы играть? С этим для меня покончено. Бренчу всякие пошлые песенки. Довольно. С этим покончено.

— Но синьор Теренцио Папиано, наверно, обещал вернуть вам деньги? — рискнул я снова спросить.

— Он? — внезапно с гневной дрожью вырвалось у синьорины Капорале. — А кто его об этом просит? Да, конечно, он обещал, если я ему помогу... Вот так! Он хочет, чтобы я, именно я, помогла ему. Он имел наглость самым спокойным образом предложить мне это.

— Помочь ему? В чем же?

— В новой подлости! Вы меня понимаете? Я вижу, что поняли...

— Адри... Синьорина Адриана? — пробормотал я запынаясь.

— Вот именно. Я должна уговорить ее. Я, понимаете?

— Выйти за него?

— Разумеется. Знаете, зачем? У него есть, или, вернее, должно быть, тысяч четырнадцать — пятнадцать лир приданого его несчастной жены, которые он обязан был сразу же возратить синьору Ансельмо, поскольку Рита умерла бездетной. Не знаю уж, какое он там учинил жульничество. Во всяком случае, он попросил отсрочки на год. А теперь рассчитывает... Тсс! Адриана!

Адриана подошла к нам, еще более замкнутая и застенчивая, чем обычно, обняла за талию синьорину Ка-

порале и слегка кивнула мне. После всех выслушанных мною признаний меня обуревало негодование при одной мысли о том, что она почти рабски подчиняется тирании этого мошенника. Вскоре на балконе, словно тень, появился братец Папиано.

— Вот и он, — шепнула синьорина Капорале Адриане.

Та опустила глаза, горько улыбнулась, покачала головой и ушла с балкона, бросив мне на прощание:

— Извините, синьор Меис, доброй ночи.

— Шпион, — шепнула мне, подмигнув, синьорина Капорале.

— Но скажите, чего боится синьорина Адриана? — вырвалось у меня от накипавшего раздражения. — Неужели она не понимает, что, поступая таким образом, дает ему лишний повод нагнать и тиранствовать еще больше? Слушайте, синьорина, должен вам признаться, что я крайне завидую всем, кто умеет любить жизнь и наслаждаться ею. Я восхищаюсь ими. Если уж выбирать между тем, кто примиряется с рабским положением, и тем, кто даже самым беззастенчивым образом стремится быть господином, то я предпочитаю второго.

Синьорина Капорале заметила мое возбуждение и спросила, словно бросив мне вызов:

— Так почему же вы сами не пытаетесь возмутиться?

— Я?

— Да, да, вы, — подтвердила она, с подстрекательским видом глядя мне прямо в глаза.

— Но я-то тут при чем? — возразил я. — Я могу проявить свое возмущение только одним способом — уехать.

— Ну так вот, — лукаво заявила синьорина Капорале, — может быть, именно этого Адриана и не желает.

— Не желает, чтобы я уезжал?

Она повертела в воздухе разорванным носовым платком, затем обкрутила его вокруг пальца и вздохнула:

— Почему знать?

Я пожал плечами.

— Пора ужинать! — воскликнул я и удалился, оставив музыкантшу одну на балконе.

Для начала в тот же самый вечер я, проходя по коридору, остановился у сундука, где опять свернулся клубочком Шипионе Папиано.

— Простите, — обратился я к нему, — не найдете ли вы другого местечка, где вам будет поудобнее? Здесь вы мне мешаете.

Он тупо глянул на меня сонными глазами, но даже не шевельнулся.

— Вы поняли меня? — возвысил я голос, тряся его за плечо. С таким же успехом можно было обращаться к стене! Но тут дверь в конце коридора открылась, и на пороге появилась Адриана.

— Прошу вас, синьорина, — обратился я к ней, — попробуйте вы втолковать этому бедняге, что ему следовало бы расположиться где-нибудь в другом месте.

— Он ведь больной, — вступилась Адриана.

— Вот именно, больной! — не сдавался я. — Здесь ему плохо: мало воздуха... Да и лежать на сундуке... Может быть, мне поговорить с его братом?

— Нет, нет! — поспешно возразила она. — Я сама скажу, не беспокойтесь.

— Он поймет! — добавил я. — Я ведь еще не король, чтобы у моей двери все время находился часовой.

С этого вечера я перестал держать себя в узде и начал откровенное наступление на застенчивость Адрианы, закрыв на все глаза и без дальнейших размышлений предавшись своему чувству.

Бедная милая девочка! С самого начала она словно колебалась между страхом и надеждой. Довериться надежде она не решалась, догадываясь, что меня подхлестывает раздражение. Но я, со своей стороны, понимал, что страх в ней порождается именно скрытой до последнего времени и почти подсознательной надеждой на то, что она меня не потеряет. И так как я своим решительным поведением давал теперь пищу этой надежде, девушка не могла больше безраздельно поддаваться страху.

Эти колебания и благородная сдержанность, в которых проявлялась ее душевная деликатность, не давали мне остаться наедине с самим собой и вынуждали меня все глубже втягиваться в скрытое пока что соперничество с Папиано.

Я ожидал, что он сразу же примет вызов, отбросив обычную любезность и церемонность. Однако этого не случилось. Он убрал своего братца с его наблюдательного пункта на сундуке, как я требовал, и даже принялся подшучивать над смущением и застенчивостью, которые невольно выказывала в моем присутствии Адриана.

— Вы уж не взывайте с моей маленькой свояченицы, синьор Меис, она у нас застенчивая, словно монашка.

Такая неожиданная уступчивость и развязность заставили меня призадуматься: что он замышляет?

Однажды вечером он явился домой с каким-то субъектом, который вошел, громко стуча палкой по плитам пола; этот человек был обут в тряпичные туфли, заглушавшие топот ног, и стучал палкой, видимо, для того, чтобы слышно было, как он шагает.

— А где же мой любезный родственник? — закричал он с резким туринским акцентом, не снимая шапочки с приподнятыми полями, надвинутой на самые глаза, затуманенные вином, и не вынимая изо рта трубки, которой он словно подпаливал себе нос, еще более красный, чем нос синьорины Капорале. — А где же мой любезный родственник?

— Вот он, — сказал Папиано, указывая на меня. Затем он обратился ко мне: — Синьор Адриано, вас ждет приятный сюрприз: это синьор Франческо Меис из Турина, ваш родственник.

— Мой родственник? — изумленно вскричал я.

Субъект закрыл глаза, поднял, словно медведь, свою лапу и некоторое время держал ее на весу в ожидании рукопожатия.

Я, не принимая руки, оглядел его с головы до ног и наконец спросил:

— Что это за комедия?

— Простите, почему же комедия? — отозвался Теренцио Папиано. — Синьор Франческо Меис уверил меня, что он ваш...

— Кузен, — подтвердил субъект, не открывая глаз. — Все Меисы в родстве друг с другом.

— Но я даже не имею удовольствия знать вас, — возразил я.

— В том-то все и дело! — вскричал субъект, — Потому я и зашел с тобой повидаться.

— Меис? Из Турина? — переспросил я, делая вид, что припоминаю. — Но я же не из Турина!

— Как так? — вмешался Папиано. — Простите, разве вы не говорили мне, что до десятилетнего возраста жили в Турине.

— Ну да! — подхватил субъект, раздраженный тем, что кто-то взял под сомнение нечто для него вполне достоверное. — Вот этот господин... Как ваше имя?

— Теренцио Папиано. К вашим услугам.

— Теренциано. Он мне сказал, что твой отец уехал в Америку. А что из этого следует? А то, что ты сын дя-

дюшки Антонио, уехавшего в Америку. И мы с тобой кузены.

— Но ведь моего отца звали Паоло...

— Нет, Антонио.

— Паоло! Паоло! Мне-то лучше знать.

Субъект пожал плечами и скривил рот.

— Мне помнилось — Антонио, — произнес он, поскребывая подбородок, поросший седоватой щетиной по меньшей мере четырехдневной давности. — Не стоит спорить: пусть будет Паоло. Я тоже мог запомнить — я ведь не знал его.

Бедняга! Он наверняка лучше меня знал, как звали его дядю, уехавшего в Америку, но тем не менее уступил, так как во что бы то ни стало желал быть моим родственником. Он сообщил мне, что его отец, которого тоже звали Франческо и у которого был брат Антонио, то бишь Паоло, мой отец, уехал из Турина, когда сыну было всего семь лет. Сам он, человек бедный и служащий, всегда жил отдельно от семьи — то тут, то там. Поэтому он очень мало знал о родичах как с отцовской, так и с материнской стороны, но тем не менее был совершенно убежден в том, что мы с ним двоюродные братья.

Но дедушку-то, дедушку он по крайней мере знал?

Я спросил его насчет дедушки. Оказывается — знал, но в точности не помнит, где это было: то ли в Павии, то ли в Пьяченце.

— Ах так? Знали? Какой же он был?

— Он был... Да нет, по чести скажу, не упомню. Прошло-то ведь лет тридцать...

По-видимому, говорил он вполне чистосердечно. Похоже было, что это просто неудачник, утопивший душу в вине, чтобы не слишком ощущать бремя тоски и нищеты. Не открывая глаз, он кивал головой в ответ на все, что я ни говорил, только бы мне не перечить. Уверен: скажи я ему, что ребяташками мы росли вместе и я не раз вцеплялся ему в волосы, он точно так же согласился бы. Мне не разрешалось выражать сомнение лишь в одном — в том, что мы двоюродные братья. Тут уж он не шел ни на какие уступки: это твердо установлено, он на этом стоит, и конец.

Однако наступил момент, когда я взглянул на Папиано, увидел его ликование, и у меня пропала охота шутить. Я отпустил этого полупьяного беднягу, именуя его «дорогим родственником», посмотрел Папиано в глаза,

чтобы он сразу понял, что я — орешек не по его зубам, и спросил:

— А теперь вы мне скажете, где вы откопали этого чудака.

— Тысяча извинений, синьор Адриано, — рассыпался в любезностях этот мошенник, которому я, во всяком случае, не могу отказать в изобретательности. — Я вижу, что мне не повезло...

— Но вам же всегда необыкновенно везет! — воскликнул я.

— Я имею в виду лишь то, что не доставил вам удовольствия. Прошу вас верить, что это простая случайность. Вот как все получилось. Нынче утром по поручению маркиза, моего принципала, мне пришлось пойти в налоговое управление. Занимаюсь своим делом и вдруг слышу — кто-то громко зовет: «Синьор Меис, синьор Меис!» Я живо обернулся, подумав, что и вы зашли сюда по какому-нибудь делу и вам, может быть, понадобится моя помощь. Я же всегда к вашим услугам. Но ничего подобного: звали этого чудака, как вы правильно выразились. Ну вот, я взял, подошел к нему, просто так, из любопытства, и спросил, действительно ли его зовут Меис и откуда он родом, так как я имею честь и удовольствие сдавать комнату некоему синьору Меису... Вот как все получилось! Он уверил меня, что вы, наверное, его родич, и напросился пойти со мной, чтобы увидеть вас.

— Это было в налоговом управлении?

— Точно так. Он служит там помощником инспектора.

Можно ли было ему верить? Я решил в этом убедиться, и все подтвердилось. Ио верно было и другое: в то время как я действовал напрямик, препятствуя тайным интригам, которые Папиано плел против меня в настоящем, он все время ускользал от меня и тайно рылся в моем прошлом, готовя мне удар в спину. Хорошо его зная, я имел все основания опасаться, что при его чутье он окажется такой ищейкой, которой не придется долго водить носом по ветру. Горе мне, если этот пес нападет хоть на малейший след: он уж наверняка приведет его к мельнице в Стиа.

Так вот, легко вообразить себе мой ужас, когда через несколько дней я читал у себя в комнате и вдруг из коридора, как с того света, до меня донесся голос, голос еще живой в моей памяти.

Испанец? Мой маленький бородатый и коренастый испанец из Монте-Карло? Который хотел играть со мной и с которым я поссорился в Ницце? Ах, черт возьми. Вот он, след! Папиано удалось-таки на него напасть!

Растерявшись от неожиданности и страха, я вскочил и, чтобы не упасть, ухватился за столик. Ошеломленный, охваченный ужасом, я прислушался, и у меня мелькнула мысль спастись бегством, пока эти двое, Папиано и испанец (вне всякого сомнения, это был он: я буквально увидел его, услышав голос), еще не дошли до конца коридора. Бежать? А что, если Папиано, войдя, спросит у служанки, дома ли я? Что он подумает, узнав о моем бегстве? Но, с другой стороны, он, может быть, уже знает, что я не Адриано Меис? Спокойнее! Что известно обо мне испанцу? Он видел меня в Монте-Карло. Но сказал ли я ему тогда, что меня зовут Маттиа Паскаль? Может быть... Я не помнил.

Сам не знаю как, я очутился перед зеркалом, словно кто-то подвел меня к нему за руку. Всмотрелся в свое отражение. Проклятый глаз! Из-за него-то меня, пожалуй, и можно узнать. Но каким, каким образом Папиано докопался до моего приключения в Монте-Карло? Это удивляло меня больше всего. Что же теперь делать? Да ничего. Ждать, пока произойдет то, что должно произойти.

Но ничего не произошло. И тем не менее в тот день страх мой не прошел. Он не прошел даже вечером, когда Папиано, объяснив мне неразрешимую и страшную для меня тайну этого посещения, доказал, что он вовсе не попал на след моего прошлого и что только случай, чьей милостью я воспользовался в свое время, пожелал оказать мне еще одну милость, поставив на моем пути того самого испанца, который, может быть, и не помнил обо мне ровно ничего.

Судя по тому, что я узнал о нем от Папиано, выходило, что я неизбежно должен был встретить его в Монте-Карло, поскольку он профессиональный игрок. Странно было только, что я встретил его в Риме или, вернее, что, обосновавшись в Риме, я попал в дом, куда имел доступ и он. Разумеется, если бы мне нечего было бояться, случай этот не показался бы мне столь странным. И правда — разве так редко приходится нам неожиданно сталкиваться с человеком, с которым мы случайно познакомились где-то в другом месте? Впрочем, он имел, или воображал, что имеет, весьма основательные причины

для приезда в Рим и появления в доме Папиано. В стра-
хах же своих виноват был лишь я сам или, точнее, то,
что я сбрил бороду и переименовал имя.

Лет двадцать назад маркиз Джильо д'Аулетта, у ко-
торого секретарствовал Папиано, выдал свою единствен-
ную дочь за дону Антонио Пантогаду, атташе испанско-
го посольства при святом престоле. Вскоре после
свадьбы Пантогада вместе с другими представителями
римской аристократии был однажды ночью задержан
в игорном притоне и отозван в Мадрид. Там он продол-
жал в том же духе, а может быть, натворил и кое-что по-
хуже, почему и был вынужден отказаться от дипломати-
ческой карьеры. С той поры маркиз д'Аулетта уже не
знал покоя: ему приходилось без конца посылать деньги
для оплаты карточных долгов неисправимого зятя.
Четыре года тому назад жена Пантогады скончалась,
оставив шестнадцатилетнюю дочь, которую маркиз ре-
шил взять к себе, слишком хорошо зная, в каких руках
она окажется в противном случае. Пантогада сперва не
соглашался отпустить дочь, но затем нужда в деньгах
вынудила его уступить. Зато он без конца угрожал те-
стю, что отберет у него свою дочь, и именно в этот день
явился в Рим с намерением вытянуть у бедного маркиза
еще денег, отлично зная, что тот никогда не отдаст ему
любимую внучку.

Папиано самыми пламенными словами бичевал гнус-
ного вымогателя Пантогаду. И его благородный гнев
был вполне искренен. Пока он разглагольствовал, я не-
волью восхищался необыкновенной изворотливостью
его совести, которая позволяла ему самым непод-
дельным образом возмущаться гнусностью других лю-
дей и преспокойно делать то же или почти то же
самое в ущерб такому доброму человеку, как его тесть
Палеари.

Однако на этот раз маркиз Джильо проявил твер-
дость. Поэтому Пантогада на некоторое время задер-
жался в Риме и неизбежно должен был появиться у Те-
ренцио Папиано; они, наверно, превосходно понимали
друг друга. Таким образом, встреча между мной и этим
испанцем в любой момент могла оказаться неотврати-
мой. Что же было делать?

Не имея возможности посоветоваться с кем бы то ни
было, я снова посоветовался с зеркалом. На глади его,
словно из туманного водоема, всплыл передо мной
образ покойного Маттия Паскаля с его косым глазом —

единственным, что у меня от него осталось. И покойник сказал мне так:

— В какое некрасивое дело впутался ты. Адриано Меис! Признайся, ты ведь боишься Папиано, а вину хочешь свалить на меня, опять на меня, только потому, что в Ницце я повздорил с этим испанцем. А ведь ты знаешь, что я был прав. Ты воображаешь, что сейчас тебе нужно одно — смыть с лица единственное напомяние обо мне? Что ж, последуй совету синьорины Капорале и обратись к доктору Амброзини, чтобы он водворил твой глаз на место. А потом поживешь — увидишь!

13. ФОНАРИК

Сорок дней в темноте.

Операция удалась, отлично удалась. Только, наверно, один глаз у меня будет чуточку больше другого. Терпение! А пока придется провести сорок, дней в темноте, у себя в комнате.

Я смог на собственном опыте убедиться, что, когда человек страдает, у него возникает совсем особое представление о добре и зле. Другие должны делать ему добро, он на это претендует, словно страдания дают ему право требовать возмещения; если же он причиняет зло другим, то ему надо прощать, словно из-за своих страданий он приобрел право и на это. И он обвиняет других. если они, нарушая свой долг, не делают ему добра, и легко оправдывает себя за зло, которое по праву больного причиняет другим.

После нескольких дней заключения во мраке слепоты потребность хоть в каком-то утешении довела меня до полной жесточенности. Я отлично понимал, что нахожусь в чужом доме и потому должен быть только благодарен своим хозяевам за внимание и заботу, которые они ко мне проявляют. Но их заботы уже не могли меня удовлетворить. Они даже раздражали меня, словно все делалось мне назло. Да, именно так. Я ведь догадывался, от кого они исходят. Ими Адриана доказывала мне, что мысленно она почти весь день со мной, в моей комнате.

Благодарю покорно за такое утешение! Какой в нем был для меня смысл, если я-то мыслью неотступно и смятенно следовал за ней по всему дому? Только она могла ободрить меня и должна была это делать — ведь она больше других способна понять, до какой степени

терзает меня скука и грызет желание видеть ее или хотя бы ощущать ее близость.

К душевному смятению и тоске прибавилась еще ярость, в которую привело меня известие о том, что Пантогада внезапно уехал из Рима. Разве стал бы я на целых сорок дней прятаться в полный мрак, если бы знал, что он так скоро уедет?

Чтобы утешить меня, Ансельмо Палеари решил доказать мне обстоятельными рассуждениями, что мрак этот — воображаемый.

— Воображаемый? Слепота — воображение? — крикнул я.

— Минуточку терпения. Я сейчас все объясню...

И он стал развивать (может быть, с целью подготовить меня к спиритическим опытам, которые на этот раз для моего развлечения поставлены были бы в моей комнате) целую весьма искусственную философскую концепцию, которой можно было бы дать наименование «фонарикософии».

Время от времени добряк останавливался и спрашивал:

— Вы не спите, синьор Меис?

Меня так и подмывало ответить:

— Благодарю вас, синьор Ансельмо, сплю.

Но так как намерение у него было, в сущности, самое благое — не оставлять меня в одиночестве, я отвечал ему, что крайне заинтересован и прошу продолжать.

И синьор Ансельмо продолжал, доказывая мне, что на нашу беду мы не устроены так, как дерево, которое живет, не осознавая себя, и которому вовсе не кажется, будто земля, солнце, воздух, дождь, ветер — это вещи либо дружественные, либо враждебные нам, чем на самом деле они отнюдь не являются. Нам же, людям, от природы дано печальное преимущество: мы сознаем, что живем. И это порождает в нас иллюзию: мы принимаем за некую находящуюся вне нас реальность свое внутреннее чувство жизни, изменчивое и разнообразное в зависимости от времени, обстоятельств и случая.

Для синьора Ансельмо это чувство жизни уподоблялось некоему фонарику, находящемуся внутри каждого из нас. Фонарик этот показывает нам, что мы заблуждались на земле, показывает нам, что является для нас добром, а что злом. Он отбрасывает вокруг нас более или менее широкое кольцо света, а за пределами этого кольца царит непроглядная тьма, внушающая нам страх. Она не

существовала бы, не будь в нас зажжен фонарик, но, пока он в нас горит, нам приходится считать ее реальностью. В конце концов фонарик погаснет от одного дуновения, наш суетный воображаемый день кончится, и нас примет вечная ночь. А может быть, мы просто окажемся во власти некоего Существа, которое только развеяло суетные образы, порожденные нашим разумом?

— Вы не спите, синьор Меис?

— Продолжайте, продолжайте, синьор Ансельмо, я не сплю. Мне кажется, я вижу его — этот ваш фонарик.

— Вот и хорошо... Но поскольку глаз ваш еще не зажил, мы не станем углубляться в философию, не так ли? Лучше попытаемся проследить за нашими фонариками, этими блуждающими огоньками во мраке людского бытия. Прежде всего я сказал бы, что они бывают разных цветов — как по-вашему? — в зависимости от стекол, которые поставляет нам наша иллюзия, великая продавщица цветного стекла. Мне, например, кажется, синьор Меис, что в те или иные исторические эпохи, равно как в те или иные периоды человеческой жизни, можно заметить преобладание того или иного цвета. Не так ли? Ведь в каждую эпоху у людей обычно наблюдается известная согласованность чувств, которая дает и свет, и окраску фонарикам, представляющим собой абстрактные понятия: истину, добродетель, красоту, честь и так далее... Не находите ли вы, что, скажем, фонарик языческой добродетели — красный? А фонарик добродетели христианской лилового, мрачноватого цвета? Свет всякой общей идеи питается коллективным чувством. Если чувство это перестает быть единым, фонарь отвлеченного понятия по-прежнему стоит на месте, но пламя идеи в нем начинает потрескивать, колебаться, гудеть, как это обычно и бывает во все так называемые переходные периоды. В истории, кроме того, нередки и бурные ветры, которые сразу задувают все фонари. Какая прелесть! Внезапный мрак — и в нем неопишуемая сумятица отдельных фонариков: один устремляется сюда, другой туда, тот возвращается назад, этот описывает круги, и ни один не находит своей дороги. Они сталкиваются, объединяются на мгновение группами по десять, по двадцать огоньков, но не могут согласовать свои движения и опять разбегаются в полном смятении, тревоге и ярости, словно муравьи, которые никак не могут найти вход в муравейник, засыпанный жестоким ребенком. Мне кажется, синьор Адриано, что сейчас мы переживаем

именно один из таких моментов. Мрак и смятение! Все большие светильники погасли. Куда нам податься? Может быть, назад, к еще уцелевшим фонарям, к тем, которые горят на могилах великих покойников? Мне вспоминаются замечательные стихи Никколо Томмазо:

Мой маленький светильник
И ярко не пылает,
И густо не дымит,
Не жжет он, не трещит,
Но к небу поднимает
Спокойный пламень свой.

Умру — он на могиле
Горит неугасимо;
Но от него все те,
Кто ночью в темноте
Бредут на ощупь мимо,
Зажгут огонь живой.

Но что делать, синьор Меис, когда в нашей лампе нет того священного елеса, которым питается светильник поэта? Многие до сих пор еще ходят в церковь, чтобы заправлять маслом свои фонарики. Это по большей части несчастные старики, несчастные женщины, которых обманула жизнь и которые прокладывают себе путь во мраке нашего бытия, охваченные чувством, горящим словно лампада у образа. Они дрожат над этим огоньком, заботливо защищают его от ледяного дыхания гибельных разочарований, только бы он горел до конца, до рокового часа, который уже близок. И вот они торопятся, не отрывая взгляда от пламени и беспрестанно повторяя про себя: «Бог меня видит!», чтобы только не слышать громких призывов окружающей их жизни, звучащих для них богохульством. «Бог меня видит...» — так говорят они, потому что сами видят его, и не только внутри себя, но во всем, даже в своей нищете, в своих муках, за которые они в конце пути получают воздаяние. Тусклый, но ровный свет этих светильничков у многих из нас вызывает тревожную зависть. Напротив, другие, считающие, что они, словно Юпитеры-громовержцы, вооружены молнией, которую приручила наука, и торжественно выставяющие напоказ мощные электрические лампы, с презрением смотрят на эти церковные лампы. Но вот я спрашиваю себя, синьор Меис; а что, если весь этот мрак, вся эта великая тайна, которую с древних времен на все лады тщетно обсуждали философы, не отрицающая, впрочем, ее, и которой перестала заниматься современная наука, — что, если она, в сущности, просто обман во-

ображения, одно из заблуждений нашего разума, плоская, бесцветная фантазия? А что, если мы в конце концов убедим себя в том, что этой тайны вне нас просто нет, что она неизбежно существует лишь внутри нас именно из-за этого нашего пресловутого преимущества — сознания, что мы живем, то есть наличия у нас фонарика, о котором я говорил? Словом, что, если смерти, вызывающей у нас такой страх, нет; что, если она вообще не прекращение жизни, а только порыв ветра, гасящий этот наш фонарик — злосчастное сознание жизни, сознание мучительное, боязливое, ибо оно ограничено, замкнуто со всех сторон кольцом мнимого мрака, сгущающегося за пределами того ничтожного пространства, которое озаряем мы, жалкие блуждающие светлячки? Ведь наша жизнь заключена в этом тесном пространстве, словно в тюрьме, она как бы отрешена на некоторое время от мировой жизни, вечной жизни, с которой мы, видимо, должны когда-нибудь слиться, чтобы пребывать в ней постоянно, но уже без чувства отрешенности и страха. Но пределы этого пространства — воображаемые, они определяются нашим слабым светом, нашей личностью, в действительности же в настоящей природе таких пределов нет. Мы — не знаю, согласитесь вы со мной или нет, — всегда жили и будем жить вместе со всем миром. И сейчас, в данном нашем облике, мы участвуем во всех движениях мира, но не знаем и не замечаем этого, потому что, к сожалению, наш проклятый унылый светильничек дает нам возможность увидеть ровно столько, сколько он в состоянии озарить. И если бы он еще показывал это немного в настоящем виде! Ничего подобного: он все окрашивает по-своему и чего только не являет нашим глазам! Черт возьми, тут и впрямь пожалеешь, что в другой форме бытия у нас не будет рта и мы не сможем хорошенько над этим посмеяться! Да, синьор Меис, посмеяться над всеми суетными, глупыми огорчениями, которыми наградит нас фонарик, над мраком, окружавшим нас, над страхом, мучившим нас, над нелепыми призраками, возникавшими впереди и позади нас по его вине!

Но почему же синьор Ансельмо Палеари, который с полным основанием бранил этот фонарик, зажженный в каждом из нас, так хотел зажечь в моей комнате другой фонарик, с красными стеклами, для своих спиритических опытов? Не достаточно ли одного, нашего собственного?

Я задал ему этот вопрос.

— В качестве корректива! — ответил он. — Один фонарик в противовес другому. К тому же в определенный момент второй, материальный фонарик гаснет.

— И, по-вашему, это самый верный способ что-нибудь увидеть? — нерешительно заметил я.

— Но, простите, — живо возразил синьор Ансельмо, — так называемый свет служит только для того, чтобы мы правильно видели вещи здесь, в нашей так называемой жизни. Видеть же за ее пределами свет, поверьте мне, совершенно не помогает, скорее препятствует. Все это глупейшие претензии кое-каких ученых с жалкой душонкой и еще более жалким умишком, которые ради своего удобства хотят убедить публику, что подобные опыты — оскорбление науки и природы. Ничего подобного! Мы стремимся открыть в природе законы, иные силы, иную жизнь, да, черт побери, в той же природе, только за пределами нашего ничтожного обычного опыта. Мы хотим преодолеть узость восприятий, которые получаем обычно от своих ограниченных чувств. Но, простите, разве сами эти ученые не создают определенной обстановки и условий для того, чтобы их опыты удались? Достаточно вспомнить камеру-обскуру в фотографии! Чего же еще? И, кроме того, существует столько способов проверить себя!

Однако, как я убедился в последующие вечера, синьор Ансельмо никаких способов не применял. Но ведь речь шла об опытах в домашнем кругу! Мог ли он заподозрить синьорину Капорале и Папиано в том, что они морочат его? С какой стати? Зачем? Он и без этих опытов неколебимо верил в спиритизм. Предположение же, что его могут морочить с другими целями, и в голову бы не пришло такому добрейшему человеку, как он. А что касается ребячески жалкой ничтожности результатов, то сама теософия находила для нее убедительнейшее объяснение. Высшие существа ментального или еще более высокого плана не опускаются до общения с нами через медиума; таким образом, приходится довольствоваться грубоватыми опытами с вызыванием душ покойников низшего разряда, астрального плана, наиболее близкого к нам. Вот так.

Что можно было ему возразить?¹

¹ «Вера, — пишет маэстро Альберто Фьорентино, — есть субстанция вещей желаемых, подтверждение и доказательство вещей, не явленных». (*Примечание дона Элиджо Пеллегринотто.*)

Я знал, что Адриана неизменно отказывалась участвовать в опытах. С тех пор как я заперся в полной темноте у себя в комнате, она заходила ко мне очень редко, всегда не одна и лишь для того, чтобы осведомиться о моем самочувствии. Каждый раз она задавала этот вопрос, казалось, просто из вежливости, да так оно было и на самом деле: она же отлично знала, как я себя чувствую. В ее голосе мне слышались даже иронические нотки — она ведь понятия не имела об истинной причине моего внезапного решения подвергнуться операции и поэтому, должно быть, считала, что я страдаю из тщеславия, в надежде стать более красивым или по крайней мере менее неприглядным, когда глаз мой будет приведен в порядок, согласно совету синьорины Капорале.

— Я чувствую себя превосходно, синьорина! — отвечал я. — Вот только не вижу ничего.

— Ну, скоро будете видеть, и даже лучше, чем прежде, — вмешивался Папиано.

Под покровом темноты я поднимал кулак, словно собираясь треснуть болтуна по физиономии. Он, несомненно, говорил это нарочно, чтобы я потерял последние остатки терпения. Он же не мог не замечать отвращения, которое я к нему испытывал: я изо всех сил выказывал это чувство — зевал, пыхтел. И тем не менее он был тут как тут: почти каждый вечер он заходил ко мне в комнату (именно — заходил!) и сидел часами, ни на минуту не умолкая. В непроглядной тьме у меня от его голоса чуть ли не спирало дыхание, я извивался на стуле, словно сиденье было утыкано гвоздями, сжимал кулаки и порою готов был задушить его. Догадывался ли он об этом? Ощущал ли мое ожесточение? Почему-то именно в такие моменты голос его становился особенно мягким, почти ласковым.

У человека всегда есть потребность обвинять кого-нибудь в своих бедах и невзгодах. В сущности, Папиано делал все, чтобы выжить меня из дома. И если бы в те дни я прислушался к голосу разума, я должен был бы от всего сердца благодарить своего недруга. Но как мог я внять этому благословенному голосу, когда он исходил из уст такого человека, как Папиано, которого я считал неизменно, явно, нагло неправым? Разве он не стремился выжить меня из дома, чтобы без помехи обманывать Палеари и погубить Адриану? Только это я и слышал тогда в его речах. Как случилось, что голос разума избрал уста

Папиано, для того чтобы я ему внял? Но, может быть, это я сам вкладывал его в уста Папиано, чтобы найти оправдание себе и причины не доверять ему, так как я уже чувствовал, что запутался в сетях жизни, и бесился именно от этого, а не от окружавшего меня мрака и раздражения, которое вызывал во мне Папиано.

О чем он мне толковал? Каждый вечер об одном и том же — о Пепите Пантогада.

Хотя жил я весьма скромно, он вбил себе в голову, что я богат. И вот, чтобы отвлечь мое внимание от Адрианы, он, вероятно, взлелеял мысль влюбить меня во внучку маркиза Джильо д'Аулетты и описывал мне ее как девицу добродетельную и гордую, с умом, добрым сердцем и решительными манерами, откровенную и пылкую. И, кроме того, — красавица, ух какая красавица! Брюнетка, изящная и вместе с тем видная; вся — огонь, глаза искрятся, рот создан для поцелуев. О приданом и говорить нечего: оно будет сказочное — не более не менее, как все состояние маркиза д'Аулетты. Маркиз — в этом можно не сомневаться — счастлив был бы поскорее выдать ее замуж — не только для того, чтобы избавиться от папаша Пантогады, который не дает ему житья, но и потому, что деду и внучке не так уж сладко живется вместе. У маркиза не хватает характера, он замкнут в своем уже мертвом мире, Пепита же вся трепещет жаждой жизни.

Папиано было невдомек, что, чем больше он мне расхваливал Пепиту, тем сильнее росла во мне заочная антипатия к ней. Мне предстоит с ней познакомиться, уверял он. В один из ближайших вечеров он уговорит ее прийти на спиритический сеанс. Познакомлюсь я и с маркизом Джильо д'Аулеттой, который сам этого жаждет — столько хорошего слышал он обо мне от него, Папиано. Но маркиз не выходит из дому и никогда не примет участия в спиритических сеансах из-за своих религиозных убеждений.

— Как так? — спросил я. — Сам не пойдет, а внучке разрешит?

— Он же отдает себе отчет, кому вверяет ее! — гордо воскликнул Папиано.

Дальнейшее меня не интересовало. Но почему и Адриана отказывается приходить на эти сеансы? Тоже из-за религиозных убеждений... Но если внучка маркиза Джильо будет принимать в них участие с разрешения дедушки-клерикала, почему бы не прийти и Адриане? Во-

оружившись этим доводом, я попытался убедить ее вечером, накануне первого сеанса.

Она зашла ко мне в комнату вместе с отцом, который услышал мое предложение.

— Вечно то же самое, синьор Меис! — вздохнул о н . — Перед лицом этой проблемы религия настораживает свои ослиные уши и пугается, как и наука. Между тем я уже говорил и объяснял дочери, что наши опыты отнюдь не противоречат ни той, ни другой. Что касается религии то они ведь как раз и доказывают те истины, которые она утверждает

— А может быть я просто боюсь? — возразила Адриана.

— Чего? — не сдавался отец. Доказательств?

— Или темноты? — добавил я. — С вами, синьорина, мы были бы в полном составе. Неужели вы нам измените?

— Но я . . . — смущенно ответила Адриана, — я в это не верю, не могу верить... Вот и все.

Больше она не добавила ни слова. По ее тону и растерянности я сразу понял, что не одна только религия препятствовала Адриане бывать на этих опытах. Страх, на который она сослалась в свое оправдание, мог объясняться совсем другими причинами, о которых синьор Ансельмо и не подозревал. Вероятнее всего, ей было мучительно присутствовать при том, как ее отца, словно ребенка, морочат Папиано и синьорина Капорале.

У меня не хватило духу настаивать.

Но она, будто прочитав в моем сердце огорчение, которое причинял мне ее отказ нерешительно пробормотала в темноте: «Впрочем...», и я тотчас же поймал ее на слове.

— Ах, молодец! Значит, вы будете с нами?

— Только на завтрашний вечер, — улыбнулась она.

На следующий день, попозже, Папиано явился приготовить комнату: внес грубовато сколоченный прямоугольный столик елового дерева, неполированный, без ящиков, освободил один угол и повесил там на протянутой веревке простыню. Потом притащил гитару, собачий ошейник с большим количеством бубенчиков и еще другие предметы. Все эти приготовления совершались при свете пресловутого фонарика с красными стеклами. Хозяйничая в комнате он разумеется, ни на минуту не умолкал.

— Простыня служит... да, служит... как бы это выразиться?, ну, скажем, аккумулятором таинственной психической силы. Вы увидите, синьор Меис, как она будет дрожать, вздуться, словно парус, и порою озаряться странным, я бы сказал — звездным светом. Да, да, вот именно! Нам не удалось еще добиться материализации, но свет мы уже получили. Вы сами в этом убедитесь, если нынче вечером синьорина Сильвия будет в подобающем состоянии. Она общается с духом одного своего старого товарища по консерватории, умершего — храни нас господь! — от тифа в возрасте восемнадцати лет. Родом он был... право, не знаю... да, кажется, из Базеля, но его семья давно обосновалась в Риме. Одареннейший был музыкант, но жестокая смерть скосила его раньше, чем он дал все, что мог бы дать. Так по крайней мере утверждает синьорина Капорале. Она общалась с духом Макса еще до того, как выяснилось, что у нее дар медиума. Так его звали — Макс... Погодите... Макс Олиц, если не ошибаюсь. Да, да, уверяю вас! Когда этот дух овладевал ею, она импровизировала на рояле, пока не падала в обморок. Однажды вечером на улице собрался народ и ей стали аплодировать...

— И синьорина Капорале даже испугалась, — невозмутимо вставил я.

— Ах, так вы знаете?... — прервал свой рассказ Папиано.

— Она сама мне говорила. Значит, люди аплодировали музыке Макса, которую исполняла синьорина Капорале?

— Да, да! Жаль, что у нас в доме нет рояля. Приходится довольствоваться отрывками, двумя-тремя аккордами на гитаре. Из-за этого Макс иногда приходит в такую ярость — да, да! — что струны на гитаре рвутся. Ну, да сегодня сами услышите. Кажется, сейчас все в порядке.

— А скажите-ка мне, синьор Теренцио, — я просто из любопытства решил спросить вас, пока вы не ушли, — вы-то сами в это верите? Действительно верите?

— Н-да, — отозвался он сразу, словно предвидел заданный ему вопрос. — По правде говоря, для меня тут не все ясно.

— Еще бы!

— Но вовсе не потому, что опыты совершаются в темноте! Все происходящие при этом явления вполне реальны, тут ничего не скажешь, они просто не подлежат

сомнению. Не можем же мы сомневаться в самих себе...

— Почему нет? Как раз вполне можем!

— Как так? Не понимаю!

— Мы же так легко обманываемся! Особенно когда нам хочется во что-то верить...

— Но мне-то совсем не хочется! — запротестовал Папиано. — Мой тесть, весьма углубившийся в изучение этих вещей верит в них. У меня же, должен вам сказать, помимо всего прочего, и времени-то нет в них вдуматься... даже если бы я и хотел. У меня столько дела с проклятыми Бурбонами моего маркиза — они меня просто заездили. Здесь я иногда по вечерам отдыхаю. Что же касается моих воззрений на это, то я считаю, что мы, пока милостью божьей еще живы, ничего не можем знать о смерти, а потому не напрасное ли дело и думать о ней? Лучше уж постараемся как можно удачнее прожить свою жизнь, прости нас господи! Вот как я на этот счет думаю, синьор Меис. Итак, до вечера? Сейчас я побегу на улицу Понтефичи за синьориной Пантогада.

Через полчаса он возвратился крайне недовольный: вместе с синьориной и ее гувернанткой явился некий испанский художник, которого Папиано сквозь зубы представил мне как друга семьи Джильо. Звался он Мануэль Бернальдес и бегло говорил по-итальянски, однако не настолько хорошо, чтобы произносить конечное «с» моей фамилии. Каждый раз, когда он произносил его, казалось, будто оно колет ему язык.

Вошли дамы: Пепита, гувернантка, синьорина Капорале, Адриана.

— И ты здесь? Вот это ново! — не слишком вежливо приветствовал Папиано свою свояченицу.

Этого сюрприза он не ожидал. Я же, со своей стороны, по тому, как приняли Бернальдеса, понял, что маркизу Джильо не должно было стать известным его присутствие на сеансе и что за этим скрывается какая-то интрижка между ним и Пепитой.

Однако великий Теренцио не отказался от своего плана. Располагая вокруг столика медиумическую цепочку, он сел рядом с Адрианой, а возле меня посадил синьорину Пантогада.

Меня это не устраивало, да и Пепиту тоже. Она запротестовала, заговорив при этом совсем как ее отец:

— Помилуйте, *asi no puede!*¹ Я хочу *estar*² между el *senor Paleari*³ и моей *governanta*⁴, дорогой *senor Terencio!*

В красноватом полумраке различались лишь контуры человеческих фигур и предметов. Поэтому я не мог убедиться, насколько верен портрет Пепиты, который мне нарисовал Папиано. Но очертания ее фигуры, голос и этот внезапный бунт хорошо соответствовали представлению, которое составилось у меня о ней на основании его слов.

Разумеется, столь пренебрежительный отказ от места рядом со мной, которое предназначил ей Папиано, был обиден для меня но я не только не оскорбился, а даже обрадовался.

— Совершенно справедливо! — воскликнул Папиано. — Тогда можно сделать так: пусть рядом с синьором Меисом сядет синьора Кандида, а за нею сядете вы, синьорина. Мой тесть остается на своем месте, и мы трое тоже, где сидим. Так будет хорошо?

Нет, так тоже было не хорошо ни для меня, ни для синьорины Капорале, ни для Адрианы, ни — как выяснилось немного спустя — для Пепиты, которая гораздо лучше устроилась в новой цепочке, составленной по указанию гениального духа Макса.

Пока что рядом со мной оказалось некое привидение женского пола с каким-то странным холмиком на голове. Что это была за чертовщина? Шапочка? Чепец? Парик? Из-под этой тяжелой груды чего-то по временам исходили вздохи, заканчивавшиеся легким стоном. Представить меня синьоре Кандиде никто и не подумал. Между тем, составляя цепочку, мы должны были держать друг друга за руки, и она вздыхала. По ее мнению это было неприлично... Боже, не рука, а ледышка.

Другой рукой я держал левую руку синьорины Капорале. Она сидела спиной к простыне, развешанной в углу. Папиано держал ее за правую руку. Слева от Адрианы сидел художник; на другом конце стола, как раз напротив синьорины Капорале, находился синьор Ансельмо.

Папиано сказал:

— Прежде всего следовало бы объяснить синьору

¹ Так не годится (*исп.*)

² Находиться (*исп.*)

³ Сеньор Палеари (*исп.*)

⁴ Гувернантка (*исп.*)

Меису и синьорине Пантогада способ общения. Как он называется?

— Типтологический язык, — подсказал синьор Ансельмо.

— Мне, пожалуйста, тоже, — вмешалась синьора Кандида, ерзая на своем стуле.

— Совершенно справедливо! Разумеется, синьоре Кандиде тоже.

— Так вот, — начал объяснять синьор Ансельмо. — Два удара означают «да».

— Удары? — прервала его Пепита. — Какие удары?

— Удары, — ответил Папиано, — это значит постукивание по столику, по стульям или по чему другому, а иногда и общение посредством прикосновений.

— Ах, нет, нет! — тотчас же вскричала Пепита, вскакивая с места. — Я никаких прикосновений не люблю. Чьи это прикосновения?

— Речь идет о духе Макса, синьорина, — объяснил Папиано. — Я же вам показывал, как это бывает, когда мы шли сюда. Это совершенно безвредно, не беспокойтесь.

— Титтология, — добавила со снисходительным видом сведущей в таких делах женщины синьора Кандида.

— Так вот, — продолжал синьор Ансельмо, — два удара — «да», три удара — «нет», четыре — «темнота», пять — «говорите», шесть — «свет». Пока достаточно. А теперь, господа, нам надо сосредоточиться.

Воцарилось молчание. Мы сосредоточились.

14. ПОДВИГИ МАКСА

Страх? Нет, ни тени страха. Но мною овладело живейшее любопытство и, кроме того, некоторое опасение — как бы Папиано не провалился со своей затеей. Казалось, это должно было бы меня обрадовать. А между тем — ничего подобного. Но кто не испытывал мучительного или, вернее, холодно-унизительного ощущения, присутствуя на спектакле скверно разыгранном плохими актерами?

«Он сидит между двумя женщинами, — думал я. — Либо он уж очень искусен, Либо упорное желание сидеть рядом с Адрианой мешает ему сообразить, что он помещен не там, где следовало бы, что здесь он не сможет обмануть ни Бернальдеса с Пепитой, ни меня с Адриа-

ной, и мы сразу же, не строя никаких иллюзий, убедимся в его мошенничестве. Прежде всего убедится в этом Адриана, сидящая рядом с ним. Но она уже подозревает обман и подготовлена к нему. Так как ей не удалось поместиться рядом со мной, она, вероятно, уже думает, зачем ей присутствовать при комедии, с ее точки зрения не просто глупой, но недостойной и кощунственной. Тот же вопрос, несомненно, задают себе Бернальдес и Пепита. Как же Папиано не дает себе в этом отчета теперь, когда ему не удалась его уловка — посадить меня рядом с Пантогадой? Выходит, он до такой степени уверен в своей ловкости? Что ж, посмотрим».

Размышляя таким образом, я упустил из вида синьорину Капорале. Она же внезапно заговорила, словно в легкой дремоте.

— Цепочка, — произнесла она, — цепочка сейчас изменилась...

— Макс уже тут? — торопливо спросил добряк синьор Ансельмо.

Синьорина Капорале ответила не сразу.

— Да, — объявила наконец она, но затем озабоченно и даже тревожно добавила: — Но сегодня вечером нас ведь больше...

— Правда! — прервал ее Папиано. — Но мне кажется, мы отлично разместились.

— Тише! — строго заметил синьор Палеари. — Послушаем, что скажет Макс.

— Он считает, — продолжала синьорина Капорале, — что цепочка недостаточно ровная. Вот тут, с этой стороны (она приподняла мою руку), рядом с мужчиной две женщины. Синьору Ансельмо хорошо бы поменяться местами с синьориной Пантогада.

— Сейчас! — воскликнул синьор Ансельмо, вскакивая с места. — Пожалуйста, синьорина, сядьте на мое место!

На этот раз Пепита не стала возражать. Она оказалась рядом с художником.

— Затем, — продолжала синьорина Капорале, — синьора Кандида...

Тут ее прервал Папиано:

— На место Адрианы, не так ли? Я уже об этом подумал. Что ж, отлично.

Как только Адриана уселась рядом со мной, я изо всех сил, до боли сжал ее руку. В то же время синьорина Капорале стиснула мне другую руку, словно спрашивая: «Ну как, довольны?» «Доволен, доволен», — ответил я,

в свою очередь пожав ей руку так, чтобы это означало: «А теперь можете делать все, решительно все, что вам угодно!»

— Тише! — раздался в этот миг строгий голос синьора Ансельмо.

А кто подал голос? Кто? Столик! Четыре удара! «Темнота!»

Клянусь, я ничего не слышал.

Однако, едва только фонарик потух, произошло нечто, сразу же опрокинувшее все мои предположения. Синьорина Капорале издала резкий крик, от которого все немедленно повскакали со стульев:

— Света! Света!

Что же случилось?

А то, что синьорина Капорале получила сильнейший удар кулаком по лицу: десны у нее кровоточили.

Пепита и синьора Кандида стояли, дрожа от страха. Папиано тоже встал, чтобы зажечь фонарик. Адриана тотчас же вырвала свою руку из моей. На лице Бернальдеса, красноватом от отвеса зажженной спички, которую он держал в пальцах, блуждала удивленная и в то же время недоверчивая улыбка. А совершенно растерявшийся синьор Ансельмо только повторял:

— Удар кулаком? Но как же могло это случиться?

Я тоже в полном смущении задавал себе этот вопрос. Удар кулаком? Выходит, что последний обмен местами не был согласован между синьориной Капорале и Папиано. Удар кулаком? Значит, синьорина Капорале взбунтовалась против Папиано. Что же теперь будет? Теперь синьорина Капорале, отодвинув от себя стул и прикладывая ко рту носовой платок, решительно заявила, что с нее хватит. А Пепита Пантогада визжала:

— Увольте, синьоры, увольте! *Aquí se daño cachetes!*¹

— Да нет же, нет! — вскричал синьор Палеари. — Послушайте, господа, это же совершенно новое и весьма странное явление! Надо выяснить, в чем дело.

— У Макса? — спросил я.

— Разумеется, у Макса. Может быть, вы, дорогая Сильвия, неправильно поняли то, что он вам подсказывал относительно упорядочения нашей цепочки?

— Весьма вероятно! Весьма вероятно! — расхохотался синьор Бернальдес.

— А что вы-то на этот счет думаете, синьор Меис? —

¹ Да здесь дерутся! (исп.).

спросил меня синьор Палеари, которому явно не нравился Бернальдес.

— Да, действительно похоже, что произошло нечто подобное.

Но синьорина Капорале решительно замотала головой.

— Тогда в чем же дело? — продолжал синьор Ансельмо. — Чем же объяснить, что Макс вдруг разъярился? Когда это бывало? А ты что скажешь, Теренцио?

Теренцио под покровом полумрака молчал. Он только пожал плечами.

— Ну что ж, — обратился я к синьорине Капорале. — Сделаем, как хочет синьор Ансельмо, синьорина? Потребуем у Макса объяснений. А если этот дух опять окажется... не в духе, прекратим сеанс. Правильно я говорю, синьор Папиано?

— Совершенно правильно! — ответил он. — Конечно, попросим его объясниться. Я так считаю.

— А вот я не считаю! — отпарировала синьорина Капорале, поворачиваясь к нему.

— Ты это мне? — спросил Папиано. — Но если ты не желаешь продолжать...

— Да, лучше бы прекратить, — робко вставила Адриана.

Но тут заговорил синьор Ансельмо:

— Вот трусишка! Ну что за ребячество, черт побери! Простите, Сильвия, это относится и к вам! Вы ведь хорошо знаете этого духа, он был с вами связан, и сегодня впервые случилось, что... Прекращать сеанс было бы просто грешно: как ни неприятен сам по себе этот инцидент, надо признать, что сейчас начались явления исключительной силы.

— Даже чрезмерной! — вскричал Бернальдес, заражая всех других своим саркастическим смехом. — Я, — добавил он, — не хотел бы, чтобы мне поставили фонарь под глазом...

— И я тоже не хочу! — поддержала его Пепита.

— По местам! — решительным тоном скомандовал Папиано. — Последуем совету синьора Меиса. Попытаемся добиться какого-нибудь объяснения. А если все эти феномены опять начнут проявляться слишком резко, прекратим сеанс. По местам!

И он погасил фонарик.

В темноте я нащупал холодные дрожащие пальчики Адрианы. Чтобы не испугать ее, я не стал сразу же сти-

сбивать руку девушки, а постепенно, понемногу пожимал ее, чтобы согреть и чтобы вместе с теплом Адриана прониклась уверенностью, что теперь все пойдет благополучно. И в самом деле, можно было, по-видимому, не сомневаться, что Папиано, раскаиваясь в приступе ярости, которому он поддался, изменил свои намерения. Во всяком случае, у нас будет передышка. Потом мишенью Макса в темноте, возможно, окажемся мы с Адрианой. «Ладно, — подумал я про себя, — если игра окажется слишком докучной, мы ее прекратим. Я не допущу, чтобы Адриану мучили».

Между тем синьор Ансельмо принялся разговаривать с Максом так, словно это был кто-то, присутствующий тут вполне реально:

— Ты здесь?

Два легких удара по столику. Он был тут!

— Как же это получилось, Макс, — с ласковым упреком спросил синьор Палеари, — что ты, такой добрый и дружелюбный, так плохо обошелся с синьориной Сильвией? Что это значит?

На этот раз столик сперва закачался из стороны в сторону, а затем в самом центре его раздалась три резких, громких стука. Три удара. Значит, нет. Он не желал объясниться.

— Мы не настаиваем! — продолжал синьор Ансельмо. — Ты, может быть, еще немного взбудоражен, не так ли, Макс? Понятно, я ведь знаю тебя, знаю... Но не скажешь ли по крайней мере, доволен ли ты теперешним расположением нашей цепочки?

Не успел синьор Палеари сформулировать этот вопрос, как я почувствовал, что меня кто-то быстро и легко дважды ударил по лбу — кончиками пальцев, как мне показалось.

— Да! — внезапно воскликнул я и сообщил всем об ответе духа, при этом тихонько пожав ручку Адрианы.

Должен сознаться, что это неожиданное «прикосновение» сразу произвело на меня какое-то странное впечатление. Я был уверен, что, вовремя подняв свою руку, я ухватил бы за руку Папиано, и все же... Легкость, нежность и вместе с тем четкость прикосновения были, во всяком случае, удивительны. К тому же, повторяю, я его не ожидал. Но почему Папиано избрал именно меня для проявления своей уступчивости? Хотел он этим успокоить меня или же, напротив бросал мне вызов: «Сейчас узнаешь, доволен ли я?»

— Браво, Макс! — воскликнул синьор Ансельмо.

Я же воскликнул про себя: «Именно, что браво! Ух и надавал бы я тебе подзатыльников!»

— Так вот, если тебе угодно, — продолжал хозяин дома, — дай какой-нибудь знак своего расположения к нам.

Последовало пять ударов по столу, что означало: «Разговаривайте!»

— Что это значит? — испуганно спросила синьора Кандида.

— Что надо разговаривать, — спокойно объяснил Папиано.

— С кем? — осведомилась Пепита.

— Да с кем угодно, синьорина. Например, со своим соседом.

— Громко?

— Да, — сказал синьор Ансельмо. — Это означает, синьор Меис, что Макс тем временем подготовится к тому, чтобы как-то особенно явственно проявить себя. Может быть, вспыхнет свет... кто знает! Так будем же разговаривать...

Но что говорить? Я-то уже некоторое время разговаривал с ручкой Адрианы и — увы! — ни о чем больше не думал. Я вел с этой маленькой ручкой долгий разговор, напряженный, настойчивый и вместе с тем нежный; она же внимала ему трепетно и самозабвенно. Я уже заставил ее разжать пальцы, переплести их с моими. Мною овладело какое-то опьянение, я пылал, я наслаждался даже тем судорожным усилием, которого стоило мне старание подавить свой неистовый пыл и действовать лишь с той ласковой нежностью, какой требовала чистота ее тонкой, застенчивой души.

И вот, пока руки наши вели эту оживленную беседу, я почувствовал, как что-то настойчиво трется о перекладину между двумя задними ножками моего стула. Папиано не мог дотянуться туда ногами, а если бы даже и мог ему помешала бы перекладина между передними ножками стула. Может быть, он встал из-за стола и подошел к моему стулу сзади? Но в таком случае синьора Кандида, если только она не окончательная дура, заметила бы это. Прежде чем объявить о новом феномене, я хотел найти ему какое-то объяснение. Но затем мне пришлось в голову, что раз уж я добился того, чего хотел, мне теперь следовало, хотя бы в качестве награды, без дальнейших околичностей помочь Папиано мошенни-

чать, чтобы не слишком раздражать его. И я сообщил о своих ощущениях.

— Вот как? — вскричал со своего места Папиано, с искренним, как мне показалось, изумлением.

Не меньшее удивление выказала и синьорина Капорале. Я почувствовал, как волосы у меня на голове зашевелились. Значит, все это не обман?

— Трение? — взволнованно спросил синьор Ансельмо. — Но какое? Какое?

— Ну да, трение! — несколько раздраженно подтвердил я. — И непрерывное! словно там за стулом собачка.. Вот опять!

Мое объяснение вызвало неожиданный взрыв хохота.

— Но это же Минерва! Минерва! — вскричала Пепита Пантогада.

— Что за Минерва? — с досадой спросил я.

— Да моя собачка, — ответила Пепита, продолжая смеяться. — Моя старенькая болонка, синьоры! Она трется *asi*¹ обо все стулья. Позвольте-ка!

Бернальдес зажег спичку, Пепита встала, взяла болонку, именовавшуюся Минервой, и положила ее к себе на колени.

— Теперь я понимаю раздражение Макса, — недовольным тоном заметил синьор Ансельмо. — Сегодня мы несерьезно относимся к делу!

Может быть, с точки зрения синьора Ансельмо, так было только в тот вечер. Но, по нашему мнению, последующие вечера — по крайней мере в отношении спиритизма — отличались не большей серьезностью.

Кому была охота внимательно следить за подвигами, которые совершал в темноте Макс? Столик поскрипывал, двигался, разговаривал посредством громкого или легкого стука. Другие постукивания раздавались под сиденьями наших стульев, а порою и под другими столами и стульями, стоявшими в комнате; слышались также царапанье, трение и прочие звуки. В воздухе на миг возникало и проносилось по комнате странное фосфорическое мерцание, похожее на блуждающие огни; простыня светилась и раздувалась, словно парус. Один маленький столик — подставка для сигарных ящиков — передвигался туда-сюда и однажды чуть не упал на стол, вокруг кото-

¹ Так (*исп.*).

рого мы держали цепочку. У гитары словно выросли крылья: как-то раз она слетела с ящика, на который была положена, и забренчала прямо над нашими головами. Впрочем, мне показалось, что Макс гораздо лучше проявлял свои выдающиеся музыкальные способности, играя бубенчиками на собачьем ошейнике, который неожиданно оказался на шее у синьорины Капорале. Синьор Ансельмо счел это за дружескую и в высшей степени милую шутку со стороны Макса, но синьорине Капорале она не слишком понравилась.

Можно было не сомневаться, что под покровом темноты на сцене появлялся брат Папиано Шипионе, которому даны были подробнейшие инструкции. Он действительно был эпилептик, но отнюдь не такой идиот, каким старался изобразить его братец Теренцио, да и он сам прикидывался. Он привык к темноте — глаза его, наверно, приспособились к ней и научились видеть во мраке. По правде сказать, я не берусь определить степень ловкости, с какой он совершал свои проделки, о которых заранее уславливался с братом и синьориной Капорале. Поскольку это касалось нас, то есть меня и Адрианы, Пепиты и Бернальдеса, он мог выделять, что ему было угодно, и все сходило как нельзя лучше. Таким образом, ему оставалось убогатворить только синьора Ансельмо и синьору Кандиду, и, кажется, он превосходно с этим справлялся. По правде говоря, оба они были не слишком требовательны. О, синьор Ансельмо просто ликовал — были минуты, когда он походил на мальчишку попавшего в кукольный театр. Подчас, слушая его ребячески-восторженные восклицания, я страдал не только от стыда за отнюдь не глупого человека, который выставлял себя в таком до невероятия дурацком виде, но и потому, что Адриана давала мне понять, какая мука для нее радоваться нашей близости за счет обманутого отца и пользоваться его смехотворной наивностью.

Только это и отравляло по временам нашу радость. Однако я знал Папиано, и у меня должно было бы зародиться подозрение, что если он примирился с необходимостью позволить мне сидеть рядом с Адрианой и, вопреки моим опасениям, не только не тревожил нас вмешательством духа Макса, но даже как будто помогал нам и покровительствовал, значит, у него была при этом некая задняя мысль. Но в эти мгновения я так радовался свободе, которую давала мне темнота, что подобное подозрение даже не коснулось меня.

— Нет! — пронзительно вскрикнула вдруг синьорина Пантогада.

— Что такое, что такое, синьорина? — сразу же вскинулся синьор Ансельмо. — Что случилось? Что вы почувствовали?

Бернальдес тоже стал заботливо расспрашивать ее.

— *Aquí*¹, с одной стороны, я ощутила словно ласку... — ответила Пепита.

— Прикосновение руки? — спросил синьор Палеари. — Легкое, правда? Прохладное, беглое, легкое... Ого, Макс, ты, когда захочешь, умеешь быть любезным с дамами! А ну, посмотрим. Макс, не коснешься ли ты еще раз синьорины?

— *Aquí está! Aquí está!*² — со смехом завизжала Пепита.

— В чем дело? — спросил синьор Ансельмо.

— Опять, опять... Он ласкает меня!

— Может быть, ты поцелуешь ее, Макс? — предложил тогда синьор Палеари.

— Нет! — снова взвизгнула Пепита.

Но тут кто-то звонко и сочно поцеловал ее в щеку. Тогда я почти бессознательным жестом поднес к губам руку Адрианы и — мало того — наклонился, ища ее губ. И вот так-то мы обменялись первым поцелуем — долгим, беззвучным.

Что за этим последовало? Растерявшись от стыда и смущения, я не сразу заметил беспорядок, внезапно возникший вокруг нас. Неужели они узнали, что мы поцеловались? Кругом раздавались крики, вспыхнула спичка, другая, потом и свеча, та, что была под красным стекляннным колпачком. Все оказались на ногах. Но почему? Почему? Внезапно, уже при свете, что-то грохнуло по столу. Это был мощный удар кулака, словно нанесенный невидимым великаном. Мы все побелели от ужаса. Папиано и синьорина Капорале больше всех.

— Шипионе! Шипионе! — закричал Теренцио.

Эпилептик лежал на полу и странно хрипел.

— Да садитесь же! — вскричал синьор Ансельмо. — Он тоже впал в транс! Видите — столик двигается, поднимается, поднимается... Это же левитация! Браво, Макс! Ура!

И правда, столик, до которого никто не дотрагивал-

¹ Здесь (*исп.*).

² Вот! Вот! (*исп.*)

ся, приподнялся над полом на целую ладонь, а затем с тяжелым стуком встал на место.

Мертвенно-бледная, дрожащая, перепуганная синьорина Капорале прижалась лицом к моей груди. Синьорина Пантогада с гувернанткой выбежали из комнаты, взбешенный же синьор Палеари кричал:

— Куда вы! Назад! Не разрывайте цепочки! Сейчас будет самое интересное! Макс! Макс!

— Да какой там Макс! — вскрикнул Папиано, оправившись наконец от оледенившего его страха и бросаясь к брату, чтобы встряхнуть его и привести в чувство.

На миг я забыл о поцелуе, ошеломленный поистине странным и необъяснимым явлением, при котором только что присутствовал. Если, как утверждал синьор Палеари, таинственная сила, действовавшая в то мгновение, при свете, у меня на глазах, была силой какого-то незримого духа, то, очевидно, дух этот не имел ничего общего с Максом. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на Папиано и синьорину Капорале. Макса они придумали сами. Но что же это такое было? Кто так мощно ударил по столу кулаком? Тут в уме моем хаотически ожило все то, о чем я читал в книжках синьора Палеари. И дрожь пробрала меня, когда я подумал о том неизвестном, который утонул в мельничной запруде Стиа и у которого я отнял слезы и траур родных и друзей.

«А если это он? — подумалось мне. — А если он пришел сюда, чтобы отомстить мне, раскрыв мою тайну?» Между тем синьор Палеари, единственный из всех нас, кто не ощутил ни страха, ни удивления, никак не мог уразуметь, почему столь простое и обычное явление, как левитация столика, так взволновало нас, уже присутствовавших при самых разнообразных чудесах. С его точки зрения, было совсем не существенно, что это явление произошло при свете. Он гораздо больше удивлялся тому, что Шипионе оказался здесь, в моей комнате, — ведь он-то думал, что мальчик уже лег спать.

— Меня это удивляет, — сказал он, — потому что обычно бедняга ни на что не обращает внимания. Очевидно, наши таинственные сеансы вызвали у него некоторое любопытство; он отправился подсмотреть, что у нас делается, потихоньку вошел — и вот... бац! Попался! Ибо нет сомнения, синьор Меис, что необыкновенные явления медиумизма возникают весьма часто через посредство невропатов-эпилептиков, каталептиков, истериков. Макс

берет ото всех, он заимствует и у нас значительную часть нашей нервной энергии, используя ее для спиритических явлений. Это же твердо установлено! Разве вы, например, не ощущаете, что у вас тоже кое-что взято?

— По правде сказать, пока не ощущаю.

Почти до утра ворочался я на кровати, все время представляя себе несчастного, погребенного под моим именем на кладбище Мираньо. Кто он был? Откуда явился? Почему покончил с собой? Может быть, он хотел, чтобы о его печальном конце стало всем известно; может быть, это было возмездие, искупление... А я ист-пользовал его в своих целях!

Признаюсь, я не раз леденел от страха во мраке ночи. Ведь не я один слышал удар кулаком по столику тут, в моей комнате. Не он ли нанес его? А может быть, он и сейчас здесь, со мной, молчаливый, невидимый? Я весь обращался в слух, если мне случалось уловить в комнате какой-либо звук. Потом я заснул, но меня тревожили страшные сны. На следующий день я открыл окна и впустил в комнату дневной свет.

15. Я И МОЯ ТЕНЬ

Нередко, когда я просыпался, как говорится, в самом сердце ночи (в данном случае ночь проявляла себя довольно бессердечной), мне случалось переживать в окружавшем меня молчании и мраке минуты странного удивления, странного смущения при воспоминании о чем-либо, что я делал при свете дня, даже не замечая, что именно я делаю. И тогда я задавал себе вопрос: не определяются ли наши действия зримым обликом окружающих нас вещей, их окраской, многоголосым звучанием жизни? Да, разумеется, определяются и этим, и еще очень многим другим. Не находимся ли мы, как полагает синьор Ансельмо, в общении со всей вселенной? И нам следует подумать о том, сколько же глупостей заставляет нас делать проклятая вселенная, глупостей, в которых мы потом обвиняем нашу несчастную совесть, а ведь ее понуждают к этому внешние силы, ослепляя ее бьющим извне светом. И наоборот, сколько принятых ночью решений, сколько тщательно разработанных замыслов, сколько задуманных хитростей оказываются нелепыми, рушатся, рассеиваются при свете дня? Как день и ночь — вещи совершенно различные, так, может быть,

и мы днем одни а по ночам совершенно другие но увы! — при всем том жалчайшие создания — как днем, так и ночью.

Знаю одно: я не ощутил никакой радости, когда после сорока дней, проведенных во мраке, вновь открыл окна моей комнаты и увидел дневной свет Его грозно затемнило воспоминание о том, что я делал, пока жил в темноте. Все доводы, оправдания и убеждения, имевшие вес и цену в темноте, утратили их или обрели противоположное значение, едва распахнулись окна. И тщетно то несчастное «я», которое столько времени жило за закрытыми ставнями и изо всех сил старалось облегчить себе неистовую тоску заключения, теперь, словно побитая собака, терлось, хмурое, суровое, возбужденное, возле того, другого «я» которое распахнуло окно и вставало навстречу дню. Тщетно стремилось оно оторвать своего двойника от мрачных мыслей, уговаривая его подойти вместо этого к зеркалу и порадоваться счастью по поводу исходу операции, отросшей бороде и даже бледности, которая в известном смысле облагораживала меня

«Болван, что ты наделал, что ты натворил!»

Что я наделал? Да, по правде говоря, ничего. Занимался любовью. Во мраке — моя ли это вина? — мне показалось, что никаких препятствий уже нет и я утратил навязанную мне сдержанность. Папиано хотел отнять у меня Адриану, а бедняжка Капорале вернула мне ее, усадив рядом со мной, и за это получила удар кулаком по лицу. Я страдал и, естественно, считал, как всякий другой страдалец (такова уж человеческая природа), что имею право на некое возмещение. А так как это возмещение было рядом, я его взял. Тут занимались всякими экспериментами с миром мертвых; Адриана же, сидевшая рядом со мною, была сама жизнь, только и ждавшая поцелуя, чтобы распуститься в лучах радости. К тому же Мануэль Бернальдес поцеловал ведь в темноте свою Пепиту и, значит я тоже...

— Ах!

Я закрыл лицо руками и бросился в кресло. Губы мои дрогнули, когда я вспомнил об этом поцелуе. Адриана! Адриана! Какие надежды зажег я в ее сердце этим поцелуем! Она — моя невеста. Неужели? Окна распахнуты, пир на весь мир!

Уж не знаю, сколько времени сидел я так в кресле и то закрывал рукой глаза, то весь внутренне сжимался в диком смятении, словно защищаясь от острой душев-

ной боли. Теперь мне наконец все стало ясно: стало ясно, какую жестокую шутку сыграл со мною мой же самообман и чем в конце концов оказалось то, что предвлялось величайшим счастьем мне, опьяненному внешне-запным освобождением.

Я уже узнал на опыте, насколько моя свобода, не имевшая, казалось, границ, на самом деле, к сожалению, ограничена скудостью моих денежных средств. Затем я начал отдавать себе отчет и в том, что эта самая свобода может с гораздо большим основанием именоваться одиночеством и скукой и что она осуждает меня на жестокую кару — довольствоваться своим собственным обществом. Я стал искать общения с другими людьми. Но чего стоило мое намерение ни в коем случае, пусть даже очень слабо, не завязывать вновь разрезанных нитей? Ничего не стоило — эти нити сами собой завязались. И жизнь, как я ни сопротивлялся ей, чувствуя, что дело уже неладно, жизнь, на которую я уже не имел права, увлекла меня в своем неудержимом порыве. Да, я отдавал себе в этом полный отчет теперь, когда не мог уже, прибегая ко всевозможным нелепым доводам, почти ребяческим ухищрениям и жалким, мелочным оправданиям, не осознавать своего чувства к Адриане, заглушать перед самим собой свои собственные намерения, слова, действия. Не произнося ни слова, я сказал ей слишком многое, когда сжимал ей руки, вынуждал ее пальцы переплетаться с моими. И наконец нашу взаимную любовь скрепил, запечатлел поцелуй. Но как мне теперь выполнить данное таким образом обещание? Могла ли Адриана стать моей? Ведь это меня бросили в мельничную запруду там, в Стиа, две милые женщины — Ромильда и вдова Пескаторе. Не они же сами туда бросились! Свободной поэтому оказалась моя жена, а вовсе не я, устроившийся на положении покойника и вообразивший, что могу стать другим человеком, зажить другой жизнью. Стать другим человеком — да, но при одном условии: ничего не делать! И каким человеком? Тенью человека! Зажить другой жизнью? А какая это жизнь? Да, пока я довольствовался тем, что, замкнувшись в себе, созерцал, как живут другие, я мог хорошо ли, худо ли сохранять иллюзию, будто зажил другой жизнью. Но теперь, когда я вошел в эту жизнь настолько, что сорвал поцелуй с дорогих мне уст, я должен был в ужасе оторваться от них, словно поцеловал Адриану устами мертвеца, который не мог воскреснуть ради нее. Да, я мог

бы позволить себе поцеловать продажные губы, но дадут ли они ощутить радость жизни? О, если бы Адриана, зная о моих странных обстоятельствах... Она? Нет, нет, что я! И думать об этом нельзя! Она, такая чистая, такая робкая... Но если бы все же любовь в ее сердце оказалась сильнее всего, сильнее любых соображений о том, что принято и не принято в обществе... Ах, бедная Адриана, мог ли я втянуть ее в пустой круг моей судьбы, сделать ее подругой человека, который ни под каким видом не смеет заявить о себе открыто, признаться, что он жив? Что делать? Что делать?

В дверь дважды постучали, и я вскочил с кресла. Это была она, Адриана.

Как ни старался я изо всех сил справиться со смятением своих чувств, мне все же не удалось скрыть от нее, что я несколько взволнован. Она тоже испытывала некоторое волнение, но от застенчивости, не дававшей ей свободно, как ей хотелось бы, проявить свою радость — ведь она наконец увидела меня при дневном свете, исцеленного, довольного... Разве нет? Почему нет?.. Она лишь на миг подняла на меня глаза, покраснела и протянула мне запечатанный конверт.

— Это вам...

— Письмо?

— Не думаю. Кажется, это счет от доктора Амброзини. Слуга просит сказать, будет ли ответ.

Голос у нее слегка дрожал. Она улыбнулась.

— Сейчас, — сказал я.

Но тут меня охватила невыразимая нежность: я понял, что она под предлогом этого счета пришла услышать от меня хоть одно слово, которое подкрепило бы ее надежды. Я ощутил глубочайшее волнение и жалость, жалость к ней и к самому себе, жестокою жалость, неудержимо повелевавшую мне приласкать девушку, а заодно ощутил и свое собственное страдание, которое лишь в ней, его источнике, могло найти утешение... И хотя мне было ясно, что я запутываюсь еще больше, я не устоял и обнял ее. Она доверчиво, но вся залившись румянцем, тихонько подняла свои руки и положила на мои. Тогда я привлек к себе на грудь ее белокурую головку и провел рукой по ее волосам:

— Бедная Адриана!

— Почему? — спросила она, пока я гладил ее волосы. — Разве мы не счастливы?

— Счастливы...

В тот миг меня охватило возмущение, мне захотелось во всем открыться ей, сказать: «Почему? Пойми же: я люблю тебя, но не могу, не должен тебя любить! И все же, если ты хочешь...» Но бог мой! Могло ли чего-либо хотеть это кроткое создание? Я с силою прижал к груди ее головку и почувствовал, что было бы куда более жестоко сбросить ее с высот блаженства, на которые она, ни о чем не ведая, была вознесена любовью, в ту бездну отчаяния, что разверзлась в моей душе.

— Потому, — промолвил я, отстраняясь от нее, — что я знаю очень многое такое, из-за чего вы не можете быть счастливы.

Словно какое-то горестное изумление охватило Адриану, когда я так внезапно выпустил ее из своих объятий. Может быть, она ожидала, что после всех этих ласк я начну говорить ей ты? Она взглянула на меня и, заметив мое смятение, несмело спросила:

— Столько вещей... которые вы знаете... насчет себя самого или... о моей семье?

Кивком я дал понять ей: «О вашей семье», чтобы отогнать все сильнее овладевавшее мною искушение заговорить, открыть ей все.

О, если бы я на это решился! Причинив ей внезапно эту острую боль, я избавил бы ее от других горестей и сам не запутался бы в гораздо более сложной и тяжелой неразберихе. Но печальное свое открытие я сделал еще слишком недавно, мне нужно было еще получше освоиться с ним, а любовь и жалость лишали меня мужества так вот сразу разрушить ее надежды, да и свою собственную жизнь, то есть ту тень иллюзии, что я живу, которая еще могла оставаться у меня, пока я молчал. К тому же я понимал, как отвратительно звучало бы признание, которое мне пришлось бы ей сделать, признание, что у меня где-то есть живая жена. Да, да! Открыв ей, что я не Адриано Меис, я снова превращался в Маттиа Паскаля, умершего, но все еще женатого. Можно ли говорить такого рода вещи? Это же предел мучений, которыми жена может донимать своего мужа: сама освободилась, опознала его, увидев труп какого-то несчастного уопленника, и посмертно продолжает докучать ему — цепляться за него, виснуть на нем. Правда, я мог взбунтоваться, объявить, что я жив, и тогда... Но кто на моем месте не поступил бы как я? В такой момент, в таком положении все, все, как и я, сочли бы, разумеется, счастьем возможность столь нежданым-негаданным чу-

десным способом освободиться от жены, от тещи, от долгов, от такого унылого и жалкого существования, как мое. Разве мог я думать, что даже мертвому мне не избавиться от жены? Что она-то от меня избавилась, а я от нее нет? Что дальнейшая моя жизнь, представлявшаяся мне свободной, беспредельно свободной, явилась, в сущности, лишь иллюзией и только в очень слабой степени могла стать действительностью? Что она оказалась существованием, еще более рабски зависящим от притворства, от лжи, к которой я вынужден был прибегать с таким отвращением, от страха быть обнаруженным, хотя, в сущности, за мной не числилось никакого преступления?

Адриана признала, что у нее и впрямь нет оснований быть довольной положением дел в семье. Но ведь сейчас... И взглядом своим, и грустной улыбкой она словно спрашивала, может ли явиться для меня препятствием то, что было причиной горести для нее. «Нет? Ведь правда?» — вопрошали эти глаза и грустная улыбка.

— Ах да, надо же заплатить доктору Амброзини! — воскликнул я, делая вид, что внезапно вспомнил о счете и о слуге, дожидавшемся ответа. Я вскрыл конверт и тотчас же, принуждая себя говорить шутливым тоном объявил: — Шестьсот лир! Ну, подумайте только, Адриана, природа выкидывает очередное коленце, заставляет меня столько лет ходить с таким, скажем, непослушным глазом; затем я испытываю боль и переношу заключение ради того, чтобы исправлена была ее ошибка; а теперь я ко всему еще должен платить деньги. Как по-вашему, это справедливо?

Адриана с трудом принудила себя улыбнуться.

— Пожалуй, — сказала она, — доктор Амброзини не был бы в восторге, если бы вы посоветовали ему обратиться за вознаграждением к природе. Думаю, что он рассчитывает даже на благодарность, так как глаз...

— По-вашему, он сейчас в порядке?

Она заставила себя взглянуть на меня и тихо вымолвила, тотчас же опустив взгляд:

— Да... Как будто совсем другой...

— Я или глаз?

— Вы.

— Может быть, из-за моей бородачки?

— Нет... Почему? Она вам идет...

Я вырвал бы себе этот глаз! Какое теперь имело для меня значение, что он на месте?

— И все же, — заметил я, — сам глаз тогда, возможно, был счастливее. Сейчас он меня как-то раздражает... Ну да ладно. Пройдет.

Я направился к висевшему на стене шкафчику, где держал свои деньги. Адриана повернулась было к выходу, а я, глупец, стал ее удерживать. Но как можно было предвидеть то, что случилось? Во всех моих злоключениях, больших или маленьких, меня, как читатель мог убедиться, всегда выручала судьба. Вот каким образом она пришла мне на помощь и в данном случае.

Стараясь отпереть шкафчик, я заметил, что ключ не поворачивается в замке. Я стал осторожно нажимать, и внезапно дверца поддалась: шкафчик не был заперт!

— Как! — вскричал я. — Неужели я его так оставил?

Заметив мое неожиданное волнение, Адриана смертельно побледнела. Я взглянул на нее и сказал:

— Но... Посмотрите сами, синьорина, сюда кто-то запускать руку!..

В шкафчике все было перевернуто. Мои банковые билеты были вынуты из кожаного бумажника, куда я их прятал, и разбросаны по всей полочке. Адриана в ужасе закрыла лицо руками. Я в лихорадочном волнении собрал кредитки и принялся считать их.

— Быть не может! — воскликнул я, сосчитав деньги, и провел дрожащей рукой по лбу, на котором выступил холодный пот.

Адриана едва не лишилась чувств. Она оперлась о стоявший неподалеку столик и каким-то чужим голосом спросила:

— Украли?

— Погодите... Погодите... Как это могло случиться? — перебил я.

Я снова принялся считать, яростно ломал себе пальцы, мямлил бумажки, словно мои усилия могли выдать из оставшихся кредиток те, которых не хватало.

— Сколько? — спросила она, взглянув на меня с искаженным от ужаса и отвращения лицом, когда я кончил считать.

— Двенадцать... двенадцать тысяч лир... — пробормотал я. — Было шестьдесят пять... осталось пятьдесят три! Сосчитайте сами...

Не подхвати я вовремя бедную Адриану, она упала бы на пол, словно ее ударили обухом по голове. Я хотел усадить ее в кресло, однако ценой невероят-

ного усилия она еще раз справилась с собою и, судорожно рыдая и вырываясь из моих рук, устремила к двери:

— Я позову папу! Я позову папу!

— Нет! — закричал я в свою очередь, удерживая ее и усаживая в кресло. — Ради бога, не волнуйтесь так! Для меня это страшнее, чем потеря денег... Не надо, не надо! При чем тут вы? Ради бога, успокойтесь. Дайте мне сперва убедиться, почему... Да, шкафчик оказался незапертым, но я не могу, не хочу еще верить в такую огромную кражу... Ну будьте же умницей!

И, в последний раз проверяя себя, я снова стал пересчитывать кредитки. Хотя я был совершенно уверен в том, что все мои деньги находились тут, в шкафчике, я принялся искать повсюду, даже там, где уж никак не оставил бы такую сумму, разве что меня на миг поразило бы безумие.

И, чтобы принудить себя к этим поискам, которые чем дальше, тем все очевиднее представлялись мне глупыми и напрасными, я убеждал себя, что такая дерзкая кража была просто неправдоподобна. Но Адриана, закрыв лицо руками, все время стонала прерывающимся от рыданий голосом:

— Бесполезно, бесполезно! Вор... Вор... Он ко всему еще и вор!.. Все было заранее обдумано... Я что-то чужала тогда, в темноте... У меня возникло подозрение, но я не хотела допускать мысль, что он способен дойти до такого...

Она имела в виду Папиано: никто, кроме него, не мог совершить кражу. Это сделал он с помощью своего брата во время спиритического сеанса.

— Зачем же, — горестно стонала она, — зачем вы держали такую сумму здесь, дома?

Я обернулся и тупо уставился на нее. Что я мог ответить? Мог ли я сказать, что обстоятельства, в которых я нахожусь, вынуждают меня держать все деньги при себе? Мог ли я сказать, что мне нельзя так или иначе пустить эти деньги в оборот, доверить их кому-либо? Что я даже не могу положить их в банк на свое имя: возникни какое-нибудь затруднение при получении их обратно — а это было вполне вероятно, — мне никак не удалось бы доказать своих прав на них.

И, чтобы не показаться глупцом, я вынужден был пойти на жестокость:

— Да разве я предполагал что-либо подобное?

Адриана опять закрыла лицо руками и в полном отчаянии простонала:

— Боже! Боже! Боже!

Сообразив, что, совершая кражу, вор, несомненно, испытывал сильный страх, я задумался над тем, что же из всего этого получится. Конечно, Папиано не мог предположить, что я заподозрю в краже испанского художника, или синьора Ансельмо, или синьорину Капорале, или служанку, или дух Макса. Он, несомненно, был уверен, что я заподозрю его, его с братом. И тем не менее он решился на это, словно бросая мне вызов.

А я? Что я-то мог сделать? Уличить его? Но каким образом? Я ничего не мог сделать, еще раз — ничего! Я чувствовал себя сраженным, уничтоженным. Это было второе открытие, сделанное мною в тот день. Я знал вора и не мог на него донести. Какое было у меня право на защиту со стороны закона? Я ведь стоял вне всяких законов. Кем я был? Да никем. По закону я не существовал. Любой человек мог обобрать меня. А я — молчок!

Но Папиано обо всем этом не было известно. Тогда каким же образом?..

— Как он мог это сделать? — произнес я, словно размышляя вслух. — Откуда в нем столько дерзости?

Адриана открыла лицо и с удивлением взглянула на меня, словно хотела сказать: «Вы не знаете?»

— Ах да! — воскликнул я, сразу все сообразив.

— Но вы об этом заявите! — воскликнула она, вскакивая с кресла. — Прошу вас, пустите меня, дайте мне позвать папу... Он сам немедленно заявит!

Мне удалось и на этот раз вовремя удержать ее. Не хватало только, чтобы вдобавок ко всему Адриана принудила меня еще заявить о краже! Разве недостаточно было, что у меня походя украли двенадцать тысяч лир? Мне еще надо было опасаться, как бы эта кража не обнаружилась, надо было заклинать Адриану всеми святыми не кричать об этом во весь голос, не говорить об этом никому. Но что было делать? Адриана — я это отлично понимал — ни в коем случае не могла допустить, чтобы я промолчал сам и заставил молчать ее, не могла ни под каким видом принять то, что она считала великодушным поступком с моей стороны. На это было много причин: прежде всего ее любовь ко мне, затем честь дома, затем я сам и, наконец, ее ненависть к зятю.

Но сейчас я находился в таком ужасном положении,

что ее справедливый гнев показался мне последней каплей в чаше. Я раздраженно закричал:

— Вы будете молчать, я вам приказываю. Вы никому ни слова не скажете, понятно? Вы что, хотите скандала?

— Нет! Нет! — тотчас же, плача, запротестовала несчастная Адриана. — Я просто хочу избавить свой дом от этого гнусного человека!

— Но он же станет отрицать! — возразил я. — И тогда все, живущие в доме, попадут под следствие... Понимаете?

— Да, отлично понимаю! — пылко бросила мне Адриана. — Пусть, пусть отрицает! Но у нас-то, я полагаю, найдется, что ему возразить. Вы должны о нем заявить, и не думайте о нас, не опасайтесь за нашу судьбу... Поверьте, вы окажете нам услугу, большую услугу! Отомстите за мою бедную сестру... Вы должны понять, синьор Меис, что для меня будет оскорблением, если вы этого не сделаете. Я хочу, хочу, чтобы вы о нем заявили. А если вы не сделаете этого, я сама сделаю! Что ж, вы хотите, чтобы мы с отцом терпели этот позор? Нет, нет, нет! И, кроме того...

Я сжал ее в объятиях. Я уж не думал об украденных деньгах, видя, как она страдает, безумствует, отчаивается. И, чтобы успокоить ее, я пообещал, что сделаю, как она хочет. Но при чем тут позор? Для нее, для ее отца никакого позора нет. Я ведь знаю, кто виновник. Папиано подсчитал, что моя любовь к ней, уж во всяком случае, стоит двенадцати тысяч лир, а я должен это опровергать? Заявить о нем? Хорошо, я это сделаю, но не для себя, а ради того, чтобы избавить дом от негодя. Сделаю, но при одном условии: прежде всего она должна успокоиться, перестать плакать — вот так. Ну! ну!.. Затем она должна поклясться мне всем самым дорогим для нее на свете, что никому ни слова не скажет о краже, пока я не посоветуюсь с адвокатом относительно всех последствий, которые могут иметь место и которых мы с ней в теперешнем возбужденном состоянии не можем предвидеть.

— Клянетесь? Тем, что вам всего дороже?

Она поклялась и сквозь слезы бросила мне взгляд, ясно давший мне понять, чем она клянется и что ей всего дороже.

Бедная Адриана!

И вот я остался один в своей комнате, потрясенный, убитый, уничтоженный, словно весь мир для меня опу-

стел. Через сколько времени пришел я в себя? И в каком состоянии? Болван... Болван... Как болван пошел я осмотреть дверцу шкафчика — нет ли на ней каких-либо следов взлома. Нет, ни следа. Его потихоньку вскрыли с помощью отмычки, в то время как я так старательно прятал в кармане ключ... «Разве вы не ощущаете, — спросил меня синьор Палеари, когда кончился последний сеанс, — что у вас тоже кое-что взято?»

Двенадцать тысяч лир!

И снова овладела мной, раздавила меня мысль о моем полном бессилии, о моем совершенном ничтожестве. Действительно, мне и в голову не могло прийти, что меня могут обокрасть, а теперь я вынужден буду молчать и даже бояться, как бы кража не обнаружилась, словно не меня обворовали, а я сам совершил воровство. Двенадцать тысяч лир? Пустяки, пустяки! Меня могут обчистить до нитки, снять с меня последнюю рубашку. А я — молчок! Какое право я имею возвышать голос? Первое, что меня спросили бы: «А вы кто такой? Откуда у вас эти деньги?» Но даже если я не подам на него жалобу... Посмотрим-ка, что получится, если нынче вечером я схвачу его за шиворот и крикну: «Отдавай сейчас же деньги, которые ты взял отсюда, из шкафчика, вору-га!» Он поднимет крик, станет отрицать, возможно даже скажет: «Да, да, вот они, я взял их по ошибке...» Дай бог, чтобы так!.. А может случиться, что он подаст на меня жалобу за клевету. Итак, я должен молчать! Помнится, я считал, что для меня будет большим счастьем, если меня сочтут мертвым. Так вот, я на самом деле умер. Умер? Хуже чем умер. Мне об этом напомнил синьор Ансельмо: мертвым уже не приходится умирать, а мне еще придется. Какая у меня может быть теперь жизнь? Скука, одиночество, неизбежная необходимость довольствоваться своим собственным обществом!

Я закрыл лицо руками и упал в кресло.

Если бы я хоть был негодяем! Тогда я, может быть, приспособился бы к существованию между небом и землей, к жизни по воле случая, постоянно подверженной риску, без мало-мальски твердой почвы под ногами, без прочной основы. Но я не был на это способен. Что же в таком случае делать? Уйти? Но куда? А Адриана? Что я, однако, мог для нее сделать? Ничего... Ничего... Уйти без всяких объяснений после всего, что произошло? Но Адриана усмотрит в краже причину моего ухода и скажет: «Он захотел спасти преступника, а меня, невинную,

покарать». О нет, нет, бедная моя Адриана! Но, с другой стороны, раз я ничего не в силах предпринять, как мне сделать мою роль в отношении ее менее жалкой? Я неизбежно должен оказываться непоследовательным и жестоким. Непоследовательность и жестокость — такова уж моя участь. И я первый страдаю от этого. Даже Папиано, вор, совершая преступление, оказался более последовательным и менее жестоким, чем, к сожалению, вынужден быть я.

Он хотел получить Адриану, чтобы не возвращать тестю приданого своей первой жены. Я пожелал отнять у него Адриану? Значит, я и должен вернуть приданое синьору Палеари.

Абсолютно последовательное рассуждение с точки зрения вора.

Вора? Да воровства, в сущности, и нет, ибо изъятие у меня этих денег окажется не столько реальным, сколько видимым, — ведь зная порядочность Адрианы, Папиано не мог предполагать, что я рассчитываю сделать ее своей любовницей. Я, конечно, хотел жениться на ней и, значит, получил бы свои деньги обратно уже в качестве приданого Адрианы, а заодно обзавелся бы честной и хорошей женой. Что мне еще нужно?

О, я был уверен, что если бы мы могли подождать и если бы у Адрианы хватило сил сохранить тайну, мы стали бы свидетелями того, как Папиано, сдержав свое обещание, возвращает тестю приданое покойной жены еще до истечения годичного срока.

Правда, деньги эти не перешли бы ко мне, поскольку Адриана не могла стать моей, но они достались бы ей самой, если бы она сумела промолчать, как я ей советовал, и если бы я мог задержаться здесь еще на некоторое время. Словом, мне надо было только проявить достаточно ловкости, и тогда к Адриане, на худой конец, вернулось хотя бы ее приданое.

Рассуждая таким образом, я немного успокоился — во всяком случае, за нее. Но не за себя! Для меня оставались только грубая очевидность обнаруженной кражи и крах моих иллюзий, а по сравнению с этим потеря двенадцати тысяч лир была просто пустяком, даже, пожалуй, благом, если она могла обернуться к выгоде Адрианы.

Я понял, что навеки выброшен из жизни без всякой возможности вернуться в нее. Перетерпев и это испытание, я с омраченной душой уйду из дома, где уже при-

жился, обрел немного покоя, свил себе нечто вроде гнезда. Теперь я должен опять блуждать по дорогам, бессмысленно, бесцельно, в пустоте. Страх снова запутаться в сетях жизни заставит меня еще больше чуждаться людей; я буду одинок, по-настоящему одинок, я стану подозрителен, угрюм. И для меня возобновятся муки Тантала.

Как безумный, выбежал я из дома и лишь спустя некоторое время пришел в себя на виа Фламиния, у Понте Молле. Зачем я сюда забрался? Я огляделся по сторонам; затем взор мой задержался на моей собственной тени, с минуту я созерцал эту тень, а потом яростно поднял ногу, чтобы растоптать ее. Но разве я в силах был растоптать свою тень?

И кто из нас был тенью — я или она?

Две тени!

Обе они повержены на землю. И кто угодно может по нам пройти, расплющить мне голову, растоптать мое сердце. А я ни гугу. И тень тоже ни гугу!

Быть тенью мертвеца — вот к чему свелась моя жизнь... Проехала телега. Я нарочно не двинулся с места. По тени моей прошли сперва четыре лошадиные ноги, потом колеса.

— Так, так, покрепче, по самой шее! Ого, и ты тоже, собачка? Вот, вот, так и надо! Поднимай лапу, поднимай лапу!

Я разразился злорадным хохотом. Перепуганный песик улепетнул. Возница обернулся и посмотрел на меня. Тогда я двинулся вперед. Тень шла рядом, опережая меня. Я зашагал быстрее, с каким-то сладострастием бросая ее под другие колеса, под ноги пешеходов. Мною овладело неистовое озлобление, когтями впившееся в мои внутренности. Под конец я был уже не в силах видеть свою тень перед собой, мне хотелось стряхнуть ее с ног. Я повернулся: теперь она была позади меня.

«А если я побегу, — подумал я, — она станет меня преследовать».

Я изо всех сил ударил себя по лбу, боясь, что схожу с ума, что у меня возникает навязчивая идея. Ну да! Так оно и есть! Эта тень — символ, призрак моей жизни. Это я сам лежу на земле, и чужие ноги топчут меня как хотят. Вот что осталось от Маттиа Паскаля, погибшего в С т и а , — тень на улицах Рима.

У этой тени есть сердце, а она не может любить. Есть у этой тени и деньги, но каждый может обокрасть ее.

Есть у нее и голова, но только для того, чтобы думать и понимать, что она — голова тени, а не тень головы. Да, именно так.

Тогда я ощутил ее как нечто живое, и мне стало за нее больно, словно она и вправду раздавлена ногами лошади и колесами телеги. Я уже не хотел, чтобы она продолжала лежать на земле под ногами у всех. Мимо проходил трамвай. Я вскочил в него.

А когда вернулся домой...

16. ПОРТРЕТ МИНЕРВЫ

Еще до того как мне открыли дверь, я догадался, что в доме, по-видимому, произошло нечто серьезное: до меня донеслись громкие голоса Папиано и синьора Палеари. Навстречу мне попалась взбудораженная синьорина Капорале.

— Так это правда? Двенадцать тысяч лир?

Я остановился, ошеломленный, задыхающийся. В тот же миг через прихожую пробежал Шипионе Папиано, эпилептик — бледный, босой, без пиджака; в руках он держал ботинки. Из глубины дома доносились крики его брата.

Меня охватило сильнейшее раздражение против Адрианы: она все-таки проговорила, несмотря на мой запрет, несмотря на свое обещание.

— Кто это болтает? — крикнул я синьорине Капорале. — Неправда: деньги я нашел.

Синьорина Капорале изумленно взглянула на меня.

— Деньги? Нашли? Правда? Слава тебе господи! — вскричала она, всплеснув руками, и тотчас же побежала с радостным известием в столовую, где орал Папиано с синьором Палеари и плакала Адриана. — Нашлись! Нашлись! Пришел миньор Меис! Он нашел деньги!

— Как!

— Нашлись?

— Неужто?

Все трое были поражены. Но у Адрианы и ее отца щеки пылали, а искаженное лицо Папиано покрывала землистая бледность.

С минуту я пристально смотрел на него. Я, наверно, был еще бледнее и весь дрожал. Он опустил глаза, словно охваченный ужасом, пиджак брата выпал у него из

рук. Я подошел к нему так близко, что мы почти столкнулись, и протянул руку:

— Простите меня, пожалуйста. Прошу прощения... у вас и у всех.

— Нет! — вскричала возмущенная Адриана, но тут же зажала себе рот платком.

Папиано взглянул на нее и не посмел пожать мне руку.

— Прошу прощения... — повторил я и дотронулся до его дрожащей руки. Она была как рука мертвеца, и такими же были глаза — погасшие, мутные.

— Я крайне огорчен, — добавил я, — что, сам того не желая, причинил всем вам столько беспокойства и неприятностей.

— Да нет же... то есть да... по правде сказать, — бормотал синьор Палеари, — ведь такого... да, такого не могло случиться, черт побери! Я бесконечно счастлив, синьор Меис, бесконечно счастлив, что вы нашли эти деньги, ибо...

Папиано, отдуваясь, провел обеими руками по вспотевшему лбу и по волосам, отвернулся и уставился на балконную дверь.

— Со мной случилось, как в известном анекдоте, — продолжал я, заставляя себя улыбнуться. — Я искал осла, а оказывается, сидел на нем. Эти двенадцать тысяч лир находились при мне, в бумажнике.

Тут уж Адриана не сдержалась.

— Но ведь вы же, — сказала она, — в моем присутствии прежде всего заглянули в бумажник; если там, в шкафчике...

— Совершенно верно, синьорина, — прервал я ее с холодной и суровой твердостью. — Но я, без сомнения, плохо искал, раз они все-таки нашлись... У вас я особо прошу извинения, так как из-за моей небрежности вы взволновались больше всех. Но я надеюсь, что...

— Нет! Нет! Нет! — закричала Адриана. Она разрыдалась и выбежала из комнаты, вслед за ней вышла и синьорина Капорале.

— Не понимаю... — удивился синьор Палеари.

Папиано с негодующим видом обернулся к нему:

— Все равно я сегодня же ухожу... По-видимому, теперь уже не понадобится... не понадобится...

Он смолк, словно вдруг задохнулся. Он повернулся было ко мне, но у него не хватало духу посмотреть мне в глаза.

— Я... я, верите ли, даже не сумел ничего возразить, когда меня... так вот, застали врасплох... Я набросился на брата... Ведь он в таком состоянии... больной, безответственный... Кто знает! Можно было представить себе, что... Я притащил его сюда... Произошла дикая сцена! Я вынужден был раздеть его... стал прежде всего обыскивать его одежду, вплоть до ботинок... А он... Ах!

В горле его заклокотало рыдание, на глазах выступили слезы. И, задыхаясь, словно от непосильного душевного смятения, он добавил:

— Так что вы сами видели... Но теперь, раз уж вы... После всего этого я должен уйти!

— Да ведь ничего не случилось! — возразил я. — Уходить из-за меня? Нет, вы должны оставаться здесь. Гораздо лучше будет, если уйду я.

— Что вы, синьор Меис! — огорченным голосом воскликнул синьор Палеари.

Тогда и Папиано, стараясь подавить рыдания, отрицательно замахал рукой. Потом он вымолвил:

— Я и без того должен был... должен был уйти. И все-то вообще случилось лишь потому, что... что я, ничего не подозревая, объявил, что собираюсь перебраться из-за своего брата, которого уже нельзя держать дома... И маркиз даже дал мне... вот оно, тут... письмо к директору лечебницы в Неаполе, куда мне надо поехать и за другими нужными документами... Тогда моя свояченица, которая к вам... вполне заслуженно... так хорошо относится, внезапно принялась говорить, что никто не имеет права покидать дом... что мы все должны оставаться на месте... так как вы... я уж не знаю... обнаружили... Это она заявила мне, своему зятю! Обратилась прямо ко мне, может быть, потому, что я, человек бедный, но порядочный, должен возместить своему тестю...

— Кто об этом думает! — вскричал, прерывая его, синьор Палеари.

— Нет! — гордо возразил Папиано. — Я-то об этом думаю! Много думаю, не сомневайтесь. А теперь я ухожу... Бедный, бедный Шипионе!

И уж не в силах более сдерживаться, он отчаянно разрыдался.

— Ну хорошо, — вмешался пораженный и растроганный Палеари, — при чем же тут он?

— Несчастный мой брат! — воскликнул Папиано в таком искреннем порыве, что даже меня пронзила жалость.

В этом вопле я услышал голос раскаяния, которое

в тот миг должен был ощущать Папиано, использовавший своего брата с намерением свалить на него ответственность за кражу, если бы я подал жалобу, и только что оскорбивший его публичным обыском.

Он-то лучше всех знал, что на самом деле я не мог найти деньги, которые он у меня украл. Мое неожиданное заявление спасало его в ту минуту, когда он, считая, что все погибло, обвинил во всем брата или, во всяком случае, постарался изобразить дело таким образом (все это, конечно, было заранее обдумано), что только брат мог совершить кражу. Но этим же моим заявлением он был в полном смысле слова раздавлен. Теперь он плакал, понуждаемый неудержимой потребностью дать выход жестокому душевному потрясению, а может быть, еще и потому, что лишь так, плача, он мог стоять лицом к лицу со мной. Эти рыдания как бы означали, что он падает передо мною ниц, становится на колени, но при условии, что я и дальше стану утверждать, будто нашел деньги. Если же, увидев его унижение, я пожелал бы воспользоваться этим и пошел бы на попятный, он дал бы мне самый яростный отпор. Сам он — это подразумевалось — ничего не знал и не должен был знать о краже; таким образом, мое заявление спасало только его брата, который в конечном счете, вероятно, и не пострадал бы нисколько, так как власти посчитались бы с его болезненным состоянием. Папиано же, со своей стороны, давал обязательство, на что уже намекал и раньше, вернуть приданое синьору Палеари.

Вот какой смысл имели, на мой взгляд, его рыдания. Уступая уговорам синьора Ансельмо и даже моим, он в конце концов успокоился и заявил, что возвратится из Неаполя, как только устроит брата в лечебницу, «выйдет из некоего торгового предприятия, которое он недавно основал там в компании с одним своим приятелем», и разыщет документы, которые потребовались маркизу.

— Да, кстати, — закончил он свою речь, обращаясь ко мне, — совсем забыл: синьор маркиз просил меня передать, что, если вам это удобно, сегодня... вместе с моим тестем и Адрианой...

— Прекрасно, отлично! — вскричал синьор Ансельмо, прерывая его. — Мы все придем... Великолепно! Мне кажется, сейчас у нас есть все основания повеселиться, черт побери! Как вы считаете, синьор Адриано?

— Что до меня... — сказал я, разводя руками.

— Ну, тогда около четырех... Идет? — предложил Папиано, утирая напоследок глаза.

Я ушел в свою комнату. Мысли мои внезапно устремились к Адриане, которая после моего заявления выбежала, рыдая, из столовой. А что, если она явится требовать объяснений? Конечно, она не верит, будто я нашел деньги. Что же она должна в таком случае подумать? Что я, упорно отрицая кражу, хочу наказать ее за неверность слову? Но почему? Очевидно, потому, что от адвоката, к которому я будто бы намеревался обратиться за советом, прежде чем заявить о краже в полицию, я узнал, что и она, и все живущие в доме окажутся под подозрением. Ну и пусть! Разве она не сказала мне, что охотно пойдет на скандал, связанный с разбором этого дела? Да, но я — это было ясно — не согласился, предпочтя пожертвовать двенадцатью тысячами лир... И разве не придет ей в голову, что это с моей стороны великодушие, жертва, на которую я иду из любви к ней? Вот еще одна ложь, к которой принуждало меня мое двусмысленное положение, тошнотворная ложь, которая изображала меня способным на утонченнейшее, деликатнейшее доказательство любви и приписывала мне великодушие тем более бескорыстное, что Адриана не просила о нем и не желала его. Но нет, нет, нет! С чего это я расфантазировался? Следуя логике моей необходимой и неизбежной лжи, она должна прийти к совсем иным выводам. Какое там великодушие? Какая жертва? Какие доказательства любви? Неужели я буду и впредь морочить голову несчастной девушке? Я обязан подавить, задушить свою страсть. Я не смею обратиться к Адриане ни с одним словом любви, не смею бросить на нее ни одного нежного взгляда: Что же тогда получится? Как ей согласовать мое кажущееся великодушие с той сдержанностью, к какой я отныне обязан принудить себя в ее присутствии? Выходит, что сила обстоятельств вынуждает меня воспользоваться этой кражей, о которой Адриана рассказала против моей воли и которую я опроверг, для того чтобы порвать всякие отношения с девушкой. Но какой логический вывод следует из всего этого? Либо я решил стерпеть кражу денег, — но тогда почему, зная вора, не выдаю его, а, напротив, отнимаю у нее свою любовь, словно она сама повинна в воровстве? — либо я и впрямь нашел деньги, — но тогда почему же не продолжаю любить ее?

Я задыхался от тошноты, отвращения, гнева, ненависти к самому себе. Мне следовало хотя бы сказать ей, что тут нет с моей стороны никакого великодушия, что я просто не имею ни малейшей возможности заявить о краже... Но тогда я должен сознаться — по какой причине. Уж не украд ли я сам эти деньги, как и те, что остались у меня? Она может предположить даже это... Или я должен изобразить себя беглецом, скрывающимся от властей, который вынужден таиться во мраке и не имеет права связать судьбу женщины со своей судьбой? Снова лгать бедной девочке... Но, с другой стороны, мог ли я сказать ей правду, правду, которая мне самому казалась невероятной, нелепой побасенкой, бессмысленным сном? Неужели для того, чтобы не солгать и теперь, я должен признаться в том, что лгал все время? Вот к чему приведет меня раскрытие истинного моего положения. А какой в этом смысл? Не получится ни оправдания для меня, ни лекарства для нее.

И все же в ярости и отчаянии я, может быть, открыл бы все Адриане, не пошли она ко мне синьорину Капорале. Пусть бы она сама вошла в мою комнату и объяснила бы по крайней мере, почему она нарушила свое обещание.

Впрочем, причина мне была уже известна — ведь я узнал ее от самого Папиано. Синьорина Капорале добавила, что Адриана безутешна.

— Почему же? — спросил я с деланным безразличием.

— Потому что не верит, что вы на самом деле нашли деньги.

И тут у меня возникла мысль (она, впрочем, вполне соответствовала моему душевному состоянию, моему отращению к самому себе) заставить Адриану потерять ко мне всякое уважение, разлюбить меня, а для этого — выставить себя фальшивым, жестоким, легкомысленным, корыстным... Тем самым я наказал бы себя за причиненное ей зло. В данный момент я, конечно, нанес бы ей еще один удар, но с благой целью — чтобы излечить ее.

— Не верит? Как так не верит? — сказал я синьорине Капорале с грустной усмешкой. — Двенадцать тысяч лир, синьорина... Это же не песок! Неужели она воображает, что я был бы так спокоен, если бы у меня их украли на самом деле?

— Но Адриана сказала мне... — попыталась возразить синьорина Капорале.

— Вздор! Вздор! — оборвал я. — Да, правда, мне сперва почудилось... Но напомните синьорине Адриане, что я не допускал возможности кражи. Так оно и оказалось! К тому же зачем было бы мне говорить, что я нашел деньги, если бы я их действительно не нашел?

Синьорина Капорале пожалала плечами:

— Вероятно, Адриана думает, что у вас есть особая причина...

— Да нет же, нет! — торопливо прервал я ее. — Речь идет, повторяю, о двенадцати тысячах лир, синьорина. Были бы это тридцать, сорок лир — ладно уж! Поверьте, на такое великодушие я неспособен... Черта с два! Для этого надо быть героем.

Когда синьорина Капорале ушла, чтобы передать Адриане мои слова, я заломил руки и впился в них зубами. Следовало ли мне выйти из положения именно таким образом? Воспользоваться этой кражей, словно похищенными у меня деньгами я хотел заплатить ей, возместить обманутые надежды? О, какой низменный способ действий! Она, разумеется, застонет от гнева, станет презирать меня, не понимая, что ее боль — также и моя. Ну что ж, пусть так и будет! Пусть она ненавидит и презирает меня, как я себя ненавижу и презираю. И для того, чтобы еще жарче распалит ее гнев, углубить ее презрение, я стану особенно ласков с Папиано, ее недругом, постараюсь на глазах у нее искупить возникшее было против него подозрение... Да, да, я приведу в полнейшее изумление даже самого вора, выставлю себя в глазах окружающих сумасшедшим. Больше того. Мы ведь собираемся в гости к маркизу Джильо? Так вот, с сегодняшнего дня я начну ухаживать за синьориной Пантогада.

— Ты станешь еще больше презирать меня, Адриана! — стонал я, ворочаясь на кровати. — Что еще, что еще могу я для тебя сделать?

Едва пробило четыре, ко мне в дверь постучался синьор Ансельмо.

— Сейчас, — сказал я, надевая пальто. — Я готов.

— Вы так и пойдете? — спросил синьор Палеари, с удивлением глядя на меня.

— А в чем дело? — спросил я.

И тут я заметил, что у меня на голове дорожная шапочка, которую я всегда носил дома. Я сунул ее в карман и снял с вешалки шляпу, а синьор Ансельмо смеялся, смеялся, смеялся, словно сам он...

— Над чем это вы смеетесь, синьор Ансельмо?

— Посмотрите-ка, в каком виде я иду! — ответил он, все еще смеясь и указывая мне на свои домашние туфли. — Ну, выходите, выходите. Там Адриана...

— Она тоже идет? — спросил я.

— Она не хотела, — произнес, направляясь к себе в комнату, синьор Палеари, — но я ее уговорил. Выходите: она уже готова и ждет нас в столовой.

Каким суровым, осуждающим взглядом окинула меня синьорина Капорале, когда я вышел в столовую! Она, столько выстрадавшая из-за любви, она, которую так часто утешала ласковая, ничего не ведавшая девочка, теперь, когда Адриана тоже познала горе, тоже получила рану, в свою очередь стремилась великодушно и заботливо утешить ее. И она возмущалась мною: ей казалось несправедливым, что из-за меня страдает такое доброе и прелестное создание. Она сама — куда ни шло: она ведь и некрасивая, и недобрая — значит, если мужчины к ней жестоки, у них есть хоть тень оправдания. Но как можно причинять боль Адриане?

Вот что говорил ее взгляд, побуждая меня посмотреть на ту, кого я заставлял страдать.

Как она бледна! По глазам видно, что она плакала. Кто знает, каких усилий стоило ей при ее душевном смятении заставить себя пойти в гости вместе со мной...

Несмотря на мрачное настроение, в котором я шел к маркизу Джильо д'Аулетте, дом и хозяин его вызывали у меня некоторое любопытство.

Я знал, что маркиз обосновался в Риме, потому что видел отныне лишь один способ возродить Королевство обеих Сицилий — вести борьбу за восстановление светской власти папы: если бы глава церкви вновь вернул себе Рим, единая Италия распалась бы, и тогда... кто знает! Пророчествовать маркиз не решался. В настоящий момент он ясно видел свою задачу — беспощадная борьба вместе с клерикалами. И дом его посещали наиболее непримиримые прелаты курии, наиболее пылкие рыцари черной партии.

В этот день, однако, в просторной, роскошно обставленной гостиной мы не застали никого. Впрочем, нет. Посреди комнаты стоял мольберт, а на нем незаконченная картина, долженствовавшая представлять собой портрет Минервы — Пепитиной болонки: черная собачонка

развалилась на белом кресле, вытянувшись и положив головку на передние лапы.

— Творение художника Бернальдеса, — важно объявил Папиано, словно представлял нам кого-то и ждал от нас низкого поклона.

Первыми в гостиной появились Пепита Пантогада и ее гувернантка, синьора Кандида. Прошлый раз я видел обеих в полумраке моей комнаты; теперь, при дневном свете, синьорина Пантогада показалась мне другой, правда не во всем, однако нос у нее был не тот... Возможно ли, что тогда, у нас в доме, нос у нее был такой же? Мне она рисовалась с маленьким, дерзко приподнятым носиком, а оказалось, что нос у нее орлиный и довольно крупный. Впрочем, она была очень хороша собой: брюнетка со сверкающими глазами, блестящими, совершенно черными вьющимися волосами, тонким, резко очерченным ярко-алым ртом. Черное платье с белыми горошинками облегло ее стройную, красивую фигуру. Кроткая прелесть блондинки Адрианы в сравнении с нею казалась бледной.

И наконец-то я понял, что за штука на голове у синьоры Кандиды! Великолепный рыжий завитой парик, а на нем большой голубой шелковый платок, почти шаль, подвязанный под подбородком. В этой яркой раме ее худенькое, дряблкое личико выглядело особенно бесцветным, хотя было весьма щедро умащено кремом, набелено и нарумянено.

Между тем старая болонка Минерва, заливаясь хриплым, надсадным лаем, не давала нам как следует поздороваться с хозяевами. Правда, бедная собачонка лаяла отнюдь не на нас. Она лаяла на мольберт, на белое кресло, которое, наверно, было для нее местом пыток; лай этот был как бы гневным протестом измученной души. Она хотела бы выгнать из гостиной это проклятое приспособление на трех длинных ногах. Но поскольку оно не трогалось с места, неподвижное, угрожающее, собачонка то с лаем отступала, то прыгала на него, скаля зубы, то опять в бешенстве отбегала.

Минерва со своим маленьким, коренастым, толстым тельцем на слишком тонких лапках была поистине безобразна: глаза у нее уже потускнели от старости, шерсть на голове выщвела, а на спине, у самого хвоста, просто вылезла из-за того, что Минерва привыкла исступленно чесаться о низ шкафов, о перекладыни стульев, где бы она ни находилась. Я-то кое-что об этом знал.

Пепита одним махом схватила ее за шиворот и бросила на руки синьоре Кандиде, крикнув при этом: — Замолчи!

В этот момент в гостиную быстрым шагом вошел дон Иньяцио Джильо д'Аулетта. Согбенный, почти скрюченный, он бросился в свое кресло у окна и, усевшись с зажатой между ног тростью, глубоко вздохнул и улыбнулся какой-то смертельно усталой улыбкой. Его бритое, изможденное, изрезанное вертикальными морщинками лицо было мертвенно-бледным, глаза же, напротив, горели живым, почти юношеским огнем. Вдоль щек и на висках у него тянулись странно густые пучки волос, похожие на влажный пепел.

Он весьма сердечно приветствовал нас и с резким неаполитанским акцентом попросил своего секретаря показать мне собранные в гостиной памятные вещи, свидетельствовавшие о верности маркиза Бурбонской династии. Когда мы подошли к картинке, прикрытой зеленой занавеской, на которой золотом были вышиты слова: «Я не скрываю, а сохраняю; подними меня и прочти», он попросил Папиано снять картину со стены и подать ему. Это оказалось вставленное в рамку под стекло письмо Пьетро Уллоа, который в сентябре 1860 года, то есть в последние дни существования Неаполитанского королевства, приглашал маркиза Джильо д'Аулетту стать членом министерства, которое, впрочем, уже не успело сформироваться. Тут же рядом находился черновик ответа, в котором маркиз заявлял о своей согласии, — гордое письмо, клеймившее позором всех, кто отказался принять власть и ответственность в момент величайшей опасности, тревоги и всеобщего смятения перед лицом врага, авантюриста Гарибальди, стоявшего почти у самых ворот Неаполя.

Громким голосом читая этот документ, старик так загорелся и взволновался, что я не мог не восхищаться им, хотя испытывал совершенно противоположные чувства. По-своему он тоже был героем. И я получил еще одно доказательство его героизма, когда он сам соблаговолил рассказать мне историю позолоченной деревянной лилии, находившейся тут же в гостиной.

Утром 5 сентября 1860 года король выехал из своего дворца в Неаполе в открытой коляске в сопровождении королевы и двух придворных. Когда коляска доехала до улицы Кьяйя, ей из-за скопления в этом месте телег и экипажей пришлось остановиться у аптеки, на вывеске

которой были изображены золотые лилии. Приставленная к вывеске лестница загоразивала путь. Взобравшись на эту лестницу, несколько рабочих сдирали с вывески лилии. Король заметил это и движением руки указал королеве на трусливую предосторожность аптекаря, который раньше ходатайствовал о чести украсить свое заведение королевской эмблемой. Маркиз д'Аулетта как раз проходил мимо. Охваченный яростью и возмущением, он ворвался в аптеку, схватил подлого труса за ворот пиджака, показал ему короля, сидевшего в коляске, потом плюнул ему в лицо и, высоко подняв одну из сорванных с вывески лилий, закричал посреди густой толпы народа: «Да здравствует король!».

Теперь эта деревянная лилия напоминала маркизу здесь, в гостиной, то печальное сентябрьское утро и один из последних выездов его короля на улицы Неаполя. И он гордился ею не меньше, чем своим золотым камергерским ключом, знаками ордена святого Януария и многими другими орденами и наградами, выставленными напоказ в этой гостиной под двумя большими портретами маслом — короля Фердинанда и короля Франциска II.

Вскоре после этого, приводя в исполнение свой грустный замысел, я оставил маркиза в обществе синьора Палеари и Папиано и подсел к Пепите.

Мне сразу бросилось в глаза, что она охвачена нетерпением и нервничает. Прежде всего она спросила меня, который час.

— Половина пятого? Отлично! Отлично!

Что эта «половина пятого» ей почему-то не нравилась, я заключил из произнесенных сквозь зубы: «Отлично! Отлично!», а затем из ее весьма бурной и даже вызывающей речи, в которой она нападала на Италию и особенно на Рим, не в меру похваляющиеся своим прошлым. Между прочим, она заявила мне, что у них в Испании имеется *también*¹ такой же Колизей, как и у нас и столь же древний, но они не придают ему ни малейшего значения.

— *Piedra muerta!*²

Для них, испанцев, гораздо важнее *plaza de toros*³. Да, а лично для нее важнее всех знаменитых произведе-

¹ Также (*исп.*).

² Мертвый камень (*исп.*).

³ Арена для боя быков (*исп.*).

ний античного искусства портрет Минервы работы художника Мануэля Бернальдеса, который что-то запаздывает. Нетерпение Пепиты вызывалось только этим, и теперь оно дошло до предела. Говоря, она все время дрожала, быстро потирала пальцем нос, кусала губы, сжимала и разжимала пальцы, а глаза ее устремлялись на дверь.

Наконец слуга доложил о Бернальдесе, и тот появился разгоряченный, потный, словно он не шел, а бежал. Пепита тотчас же повернулась к нему спиной и, сделав над собой усилие, приняла холодно-равнодушный вид. Но когда он, поздоровавшись с маркизом, подошел к нам, то есть, вернее, к ней, и, заговорив с ней на своем родном языке, стал извиняться за опоздание, она утратила сдержанность и обрушила на него целый поток слов:

— Прежде всего говорите по-итальянски, *perche qui*¹ мы в Риме и у нас эти господа, которые не понимают испанского языка, и, по-моему, неприлично, чтобы вы со мной говорили по-испански. А потом, знайте, что опоздание ваше мне совершенно безразлично, и вы можете не извиняться.

До крайности уязвленный Бернальдес растерянно улыбнулся и поклонился Пепите, а затем спросил, можно ли ему поработать над портретом, пока еще светло.

— Да пожалуйста! — ответила она с тем же видом и тем же тоном. — *Вы puede pintar*² без меня или *tambien* отложить работу, если угодно.

Мануэль Бернальдес снова наклонил голову и повернулся к синьоре Кандиде, все еще державшей на руках болонку.

Для Минервы возобновилась пытка. Но еще более жестокой пытке подвергался ее палач. Чтобы наказать его за опоздание, Пепита до того раскокетничалась со мной, что я уже стал находить это излишним для моих целей. Взглянув несколько раз украдкой на Адриану, я понял, до какой степени она страдает. Словом, мучения выпали не только на долю Бернальдеса и Минервы — их хватило и Адриане, и мне. Лицо у меня горело, словно я постепенно пьянел от обиды, которую — я прекрасно сознавал это — наносил несчастному юнцу. Однако он не вызывал у меня жалости. Жалко мне было здесь лишь одну Адриану. А так как я должен был причинять

¹ Так как здесь (*исп.*).

² Можете писать (*исп.*).

ей боль, мне было совершенно все равно, что заодно страдает и он. Мне даже казалось, что чем больше мучится он, тем меньше должна страдать Адриана. Но мало-помалу насилие, которое каждый из нас совершал над самим собой, дошло до того, что всеобщее напряжение неминуемо должно было привести к взрыву.

Повод к нему дала Минерва. Так как сегодня хозяйкин взгляд не держал ее в страхе божьем, она, едва только художник переводил глаза с нее на полотно, потихоньку меняла позу, засовывала мордочку и лапки в щель между спинкой и сиденьем кресла, словно старалась забраться туда и спрятаться, и с пленительной откровенностью выставляла перед художником свой зад, похожий на букву о, помахивая как бы в насмешку высоко задранным хвостиком. Уже не раз синьора Кандида укладывала ее на место в прежней позе.

Бернальдес в ожидании пыхтел, ловил на лету обрывки того, что я говорил Пепите, и, вполголоса бормоча себе под нос, комментировал мои слова. Заметив это, я уже несколько раз порывался сказать ему: «Да говорите же громче!» В конце концов он потерял терпение и крикнул Пепите:

— Заставьте же по крайней мере эту тварь лежать смирно!

— Тварь? Тварь? — в бурном негодовании выпалила Пепита, размахивая руками. — Может быть, она и тварь, но не вам это говорить!

— Почему знать? Вдруг бедняжка все понимает, — заметил я в оправдание Минервы, обращаясь к Бернальдесу.

Фразу мою действительно можно было понять поразному. Я сообразил это лишь после того, как произнес ее. Я-то хотел сказать: «Почему знать? Вдруг она понимает, что с ней делают». Но Бернальдес придал моим словам другой смысл, пришел в ярость и, глядя мне прямо в глаза, бросил:

— Вы-то уже доказали, что ничего не понимаете!

Он смотрел на меня так упорно и вызывающе, да и сам я был так возбужден, что поневоле отпарировал:

— Но я прекрасно понимаю, дорогой синьор, что вы, пожалуй, станете великим художником...

— В чем дело? — спросил маркиз, заметив, что разговор наш принимает враждебный характер.

Совершенно перестав владеть собой, Бернальдес встал и вплотную подошел ко мне:

— Великим художником?.. Прекратите это издевательство!

— Да, великим художником, но, сдается мне, плохо воспитанным и нагоняющим страх на маленьких собачек, — решительно и надменно отрезал я.

— Хорошо, — произнес он. — Посмотрим, только ли на одних собачек!

С этими словами он удалился.

У Пепиты неожиданно вырвалось странное судорожное рыдание, и она без чувств упала на руки синьоры Кандиды и Папиано.

Среди наступившего смятения, наблюдая вместе со всеми другими за синьориной Пантогада, которую положили на диванчик, я вдруг почувствовал, что меня схватили за руку, и вновь увидел перед собой вернувшегося в гостиную Бернальдеса. Я вовремя перехватил его занесенную на меня руку и изо всех сил оттолкнул его, но он еще раз бросился на меня, и ему удалось слегка коснуться моего лица. Я в бешенстве кинулся на обидчика, но подоспевшие Папиано и синьор Палеари удержали меня, а Бернальдес выбежал из комнаты, крикнув на прощание:

— Можете считать себя оскорбленным! Я к вашим услугам! Здесь знают мой адрес.

Маркиз, весь дрожа, привстал с кресла и что-то кричал моему оскорбителю, я же старался вырваться из рук синьора Палеари и Папиано, которые не давали мне устремиться вдогонку за Бернальдесом. Маркиз тоже старался успокоить меня, внушая мне, как и подобало дворянину, что я должен послать двух друзей к этому негодяю, осмелившемуся выказать такое неуважение к его, маркиза, дому, и хорошенько проучить его.

Дрожа всем телом и задыхаясь, я выдавил лишь несколько слов, извинился за неприятный инцидент и поспешно удалился. Синьор Палеари и Папиано последовали за мной, Адриана же осталась с Пепитой, которую без сознания унесли из гостиной. Теперь мне оставалось лишь просить вора, обокравшего меня, быть моим секундантом. Да, его и синьора Палеари. К кому я мог еще обратиться?

— Я? — воскликнул с изумленным и наивным видом синьор Ансельмо. — Да что вы? Нет, нет! Вы это серьезно? — Он улыбнулся. — Я в таких вещах ничего не понимаю, синьор Меис. Полно, полно! Все это, вы уж меня извините, ребячество, глупости...

— Нет, вы это сделаете для меня! — громко крикнул я, чувствуя себя не в силах вступить с ним в длительный спор. — Вы со своим зятем отправитесь к этому господину...

— Да никуда я не пойду! Что вы такое говорите! — прервал он меня. — Просите о любой другой услуге — я на все готов, но только не на это. Прежде всего, такие дела не для меня; кроме того, я уже сказал вам — это чистейшее ребячество. Незачем придавать значение... Все вздор...

— Нет, нет, я с вами не согласен! — прервал его Папиано, видя мое неистовство. — Это не вздор! Синьор Меис имеет полное право требовать удовлетворения. Я сказал бы даже, что это его долг. Да, он должен, должен...

— Тогда пойдете вы с кем-нибудь из своих знакомых, — объявил я, не ожидая от него отказа.

Но Папиано с огорченным видом развел руками:

— Поверьте, я всем сердцем хотел бы это сделать!

— Но не сделаете?.. — с силой крикнул я тут же, посреди улицы.

— Тише, синьор Меис, — взмолился он. — Посудите сами... Войдите в мое положение, жалкое положение зависимого человека, ничтожного секретаря маркиза. Я ведь слуга, только слуга...

— Что тут понимать? Ведь сам маркиз... Вы же слышали?

— Так точно, так точно! Но завтра? Он же клерикал... Перед лицом своей партии... Его секретарь вмешивается в дела чести... Ах, бог ты мой, вы и понятия не имеете о моем жалком положении. К тому же вы сами видели, что такое эта ветреная особа. Она же как кошка влюблена в этого мерзавца художника. Завтра они помиряются, и тогда, извините меня, что же мне-то делать? Я окажусь в дураках! Подумайте, синьор Меис, войдите в мое положение... Уверю вас, все это правда.

— Значит, вы оставляете меня на произвол судьбы в таком скверном деле? — с отчаянием выпалил я еще раз. — Я же никого здесь, в Риме, не знаю!

— Но средство есть! Есть средство! — поторопился успокоить меня Папиано. — Я как раз хотел дать вам совет. И я и мой тесть только запутаем все, мы тут не годимся... Вы совершенно правы, что дрожите от гнева, согласен: кровь не вода. Так вот, вам надо немедленно обратиться к двум любимым офицерам королевской ар-

мии — в деле чести они не откажутся быть свидетелями такого достойного человека, как вы. Вы представитесь им, расскажете о случившемся... Им не впервой оказывать такую услугу приезжему.

Мы подошли к дому.

— Хорошо! — сказал я Папиано и, оставив его вдвоем с тестем, мрачно пошел куда глаза глядят.

Еще раз овладела мной мучительная мысль о полнейшем моем бессилии. Разве мог я в моем положении вызвать кого-нибудь на дуэль? Неужели мне еще не до конца ясно, что я ничего, решительно ничего не в силах предпринять? Два офицера? Хорошенькое дело! Прежде всего они с полным правом пожелают узнать, с кем имеют дело. Да ведь мне можно плюнуть в лицо, надавать оплеух, колотить меня палками, а я еще буду просить, чтобы били покрепче, но только без криков и лишнего шума... Два офицера! Допустим, я открою им свое истинное положение — они прежде всего мне не поверят и заподозрят бог знает что. Да это было бы так же бесполезно, как и в случае с Адрианой: даже поверив всему, что я расскажу, они посоветуют мне ожить, поскольку положение мертвеца не соответствует условиям, требуемым по кодексу чести.

Значит, я должен спокойно снести обиду, как уже стерпел кражу? Меня оскорбили, мне без малого дали оплеуху, бросили вызов, а я должен бежать как трус, исчезнуть во мраке той невыносимой участи, которая ждет меня, презренного, ненавистного самому себе?

Нет, нет! Как после этого жить? Как вынести бремя существования? Нет, нет, довольно, довольно! Я остановился. Все вокруг меня ходило ходуном, ноги мои подкашивались; во мне возникло вдруг какое-то смутное чувство, от которого меня всего затрясло.

— Но, во всяком случае, сперва... — бормотал я про себя, словно в бреду, — сперва надо все же попытаться... Почему нет? И вдруг выйдет! Надо хотя бы попытаться — чтобы перед самим собой не выглядеть таким ничтожеством... Если выйдет, я буду не так противен самому себе... Да и терять-то ведь уж нечего... Почему не попытаться?

Я был в двух шагах от кафе «Араньо». «Здесь, здесь и рискнем!» Слепое возбуждение прищпоривало меня, и я вошел.

В первом зале за столиком сидело пять или шесть артиллерийских офицеров. Один из них увидел, что я оста-

новился неподалеку, заметил мое смущение, нерешительность и стал разглядывать меня. Я поклонился ему и дрожащим от волнения голосом произнес:

— Простите... Могу я обратиться к вам?

Это был безусый еще юнец, лейтенантик, только в этом году, наверно, окончивший военную школу. Он тотчас же встал и весьма учтиво подошел ко мне:

— Слушаю вас, синьор.

— Разрешите представиться: Адриано Меис. Я приезжий и не имею здесь знакомых. У меня произошла... произошла ссора... Мне нужны два свидетеля, а я не знаю, к кому обратиться... Не согласились бы вы с одним из ваших товарищей...

Тот, удивленный, призадумался и некоторое время внимательно разглядывал меня. Потом повернулся к товарищам и крикнул:

— Грильотти!

Тот, кого он позвал, был тоже лейтенант, но значительно старше возрастом, прилизанный, напомаженный, с закрученными кверху усами и моноклем, не без труда державшимся в глазу. Он встал, продолжая разговаривать с приятелями («р» он произносил картаво, на французский манер), и подошел к нам с легким сдержанным поклоном в мою сторону.

Увидев, что он поднимается со своего места, я едва не сказал лейтенантику: «Нет, ради бога, только не этого. Этого не надо!». Но я тут же сообразил, что никто из этого кружка не разбирается лучше его в подобных делах. Он, конечно же, знал кодекс чести как свои пять пальцев.

Не могу передать здесь во всех подробностях то, что ему угодно было наговорить мне в связи с моим делом, то, чего он от меня хотел... Я должен был телеграфировать уж не знаю как и кому, изложить, уточнить, переговорить с их полковником, *са ва sans dire*¹, как сделал он сам, когда еще не служил в армии и с ним в Павии приключилось то же, что со мной. Ибо в делах чести... И пошел, пошел перечислять статьи, и прецеденты, и казусы, возникавшие в судах чести, и еще невесть что.

Еще только завидев его, я уже почувствовал себя как на иголках. Что же было теперь, когда я слушал его излияния! Наступил момент, когда я оказался не в силах терпеть, и меня прорвало:

¹ Само собой разумеется (*франц.*)

— Да, я отлично знаю все это, отлично знаю! Вы правы, вы совершенно правы. Но как я могу сейчас куда-то телеграфировать? Я же совсем один! Я хочу драться, драться немедленно, завтра же, если возможно, безо всяких мне проволочек! Откуда мне знать все эти тонкости? Я обратился к вам в надежде, что смогу обойтись без пустяковых формальностей, без таких — извините меня — глупостей!..

После моей вспышки разговор превратился чуть ли не в перебранку и неожиданно закончился взрывом грубого хохота со стороны всех этих офицеров. Я выбежал из кафе вне себя от ярости, с багровым лицом, словно там меня отхлестали, схватился за голову, словно хотел удержать покидавший меня рассудок, и, преследуемый этим хохотом, устремился прочь. Скрыться, спрятаться где-нибудь... Но куда бежать? Домой? Мысль об этом внушала мне отвращение. И вот я шел, шел, сам не зная куда, потом постепенно замедлил шаг и под конец, выбившись из сил, остановился, словно уже не мог больше нести свою несчастную душу, возмущенную, исхлестанную оскорбительным хохотом, полную мрачной, свинцово-тяжкой тоски. Некоторое время я простоял как вкопанный, потом опять двинулся вперед, ни о чем не думая, оступев и не ощущая больше никаких страданий. Я снова принялся бродить по улицам, утратив чувство времени, останавливался то тут, то там перед витринами лавок, которые постепенно закрывались, и мне казалось, что они закрываются только для меня, закрываются навсегда, что улицы понемногу пустеют для того только, чтобы я остался один и так вот блуждал в ночи, среди молчаливых темных домов с запертыми дверьми и окнами, навсегда закрытыми для меня. Вся жизнь кругом замыкалась, затухала, замолкала в наступающем мраке. И я созерцал ее как бы издали, будто она уже не имела для меня ни смысла, ни цели. И вот наконец, сам того не желая, движимый смутным, но охватившим все мое существо чувством, которое постепенно нарастало во мне, я оказался на Понте Маргерита, оперся о парапет и, широко раскрыв глаза, уставился на черную ночную реку.

— Сюда?

Я вздрогнул от ужаса, и ужас яростно пробудил все мои жизненные силы, вооружив их свирепой ненавистью к тем, кто издали опять понуждал меня покончить с собой, как когда-то в мельничной запруде Стиа я попал в такой переплет только из-за них — из-за Ромильды и ее

матери: самому мне и в голову не пришло бы симулировать самоубийство, чтобы от них избавиться. И вот я кружился два года, как тень, в своей воображаемой смертной жизни, а теперь они снова толкают меня, тащат за волосы к воде, чтобы я все-таки привел над собой в исполнение их приговор. Значит, они меня по-настоящему убили! И освободились только они, только они сами...

Гнев и возмущение охватили меня. А не отомстить ли им, вместо того чтобы убивать себя? Да и кого я намереваюсь убить? Мертвеца... Тень...

Я стоял, словно ослепленный внезапно брызнувшим светом. Отомстить? Значит, возвратиться туда, в Мираньо? Сбросить с себя эту ложь, которая душит меня и теперь стала уже непереносимой? Вернуться живым и этим покарать их, вернуться под своим именем, в своем прежнем состоянии, со своими подлинными, своими собственными невзгодами? А нынешние невзгоды? Могу ли я сбросить их с плеч так просто, словно докучный, ненавистный груз? Нет, нет, нет! Я чувствовал, что не в силах это сделать, и продолжал стоять на мосту, полный тревожных сомнений, еще не уверенный в своей участи.

Раздумывая обо всем этом, я беспокойно шупал и мял пальцами какой-то предмет в кармане пальто и никак не мог понять, что же это такое. Наконец я раздраженно вытащил его из кармана. Это оказалась моя дорожная шапчонка, та самая, которую, выходя из дому в гости к маркизу Джильо, я машинально сунул в карман. Я уже хотел швырнуть ее в реку, но тут меня внезапно озарила новая мысль. В памяти моей ясно возникло то, что пришло мне в голову в пути между Аленгой и Турином.

— Вот здесь, — молвил я про себя почти бессознательно, — на перилах... шляпа... трость... Да! Там, у мельничной запруды, Маттиа Паскаль, здесь — Адриано Меис... Раз и навсегда! Вернусь домой и отомщу!

Порыв почти безумной радости переполнил меня, придал мне бодрости. Да, да! Не себя, мертвеца, должен был я уничтожить, а дикую, нелепую фикцию, которая мучила и терзала меня два года, — этого Адриано Меиса, обреченного быть трусом, обманщиком, ничтожеством. Надо убить этого Адриано Меиса, который лишь вымышленное имя и у которого, следовательно, мозг из папки, сердце из папье-маше, жилы из резины, а по жилам

вместо крови струится подкрашенная водичка. Да, именно так! Падай же в реку, падай, жалкая, постылая маррионетка. Утони, как Маттиа Паскаль! Раз и навсегда! Пусть эта тень живого существа, порожденная мрачной выдумкой, достойным образом покончит со своим бытием с помощью еще одной мрачной выдумки! И все отлично устроится. Может ли Адриана получить лучшее удовлетворение за все зло, которое я ей причинил? Я не должен буду считаться с оскорблением, которое нанес мне тот мерзавец. Ведь он, подлец, предательски напал на меня. О, я был уверен в том, что нисколько не боюсь его. Но обида нанесена не мне, не мне — Адриано Меису. И вот теперь Адриано Меис сводит счеты с жизнью.

У меня просто не было иного выхода!

И все же тут меня охватил странный трепет, словно мне и вправду предстояло кого-то убить. Однако разум мой внезапно прояснился, с сердца спала тяжесть, дух осенила ясность, похожая на веселье.

Я огляделся по сторонам, опасаясь, нет ли здесь, на набережной Тибра, кого-нибудь, скажем — полицейского, который, увидев, что я слишком долго стою на мосту, может быть стал за мной наблюдать. Я решил удостовериться: сперва заглянул на площадь Либерта, потом на набережную Меллини. Ни души! Я вновь направился к мосту, но, прежде чем взойти на него, задержался между деревьями, встал под фонарем, вырвал из записной книжки листок и карандашом нацарапал: «Адриано Меис». Что еще? Ничего. Адрес и число. Вполне достаточно. Весь Адриано Меис тут — в этой шляпе и трости. Дома оставалось все — одежда, книги... Что касается денег, то после кражи я держал их при себе.

Ссутулясь и съжившись, я тихонько вернулся на мост. Ноги у меня подкашивались, сердце бешено колотилось. Я выбрал самое темное место, куда не доходил свет фонарей, быстро сорвал с головы шляпу, сунул за ленту сложенную записку, потом положил на парапет шляпу и рядом с ней трость, нахлобучил на голову ниспосланную самой судьбою дорожную шапочку, спасающую мне жизнь, и, не оборачиваясь, словно вор, пустился прочь по самым темным улицам.

17. ВОПЛОЩЕНИЕ

Я поспел на вокзал к поезду двенадцать десять на Пизу и забился в угол вагона второго класса, надвинув козырек шапчонки чуть ли не на нос, даже не столько для того, чтобы спрятаться, сколько для того, чтобы ничего не видеть. Но мысленно я видел все одно и то же: передо мной, словно наваждение, маячили шляпа и трость, оставленные на парапете моста. Может быть, сейчас их уже заметил какой-нибудь прохожий... Может быть, проходивший мимо ночной сторож уже побежал в квестуру сообщить о самоубийстве. А я еще в Риме! Почему этот поезд не трогается! У меня перехватило дыхание...

Наконец поезд отошел. К счастью, я был один в купе. Я встал, потянулся, расправил руки и с облегчением глубоко-глубоко вздохнул, словно с груди моей свалился обломок скалы. Ага, я начинаю оживать, становиться самим собой, Маттиа Паскалем! Я снова я! Я не умер! Это я стою здесь, в вагоне! Мне теперь уже незачем лгать, нечего бояться, что меня опознают! Впрочем, еще не совсем: раньше мне надо добраться до Мираньо. Там я прежде всего должен открыто заявить о себе, добиться, чтобы меня признали живым, опять срастись со своими оставшимися в почве корнями... Безумец! Какое самообольщение воображать, что я могу жить как ствол, отделенный от корней! И вот мне вспомнилась другая поездка — из Алengi в Турин: я и тогда точно так же считал себя счастливым. Безумец! Освобождение, думал я... И это мне казалось освобождением. Хорошенькое освобождение — со свинцовым саваном лжи на плечах! Со свинцовым саваном лжи на плечах у призрака... Правда, теперь у меня на плечах опять будут супруга и теща в придачу. Но ведь они давили на меня и когда я был мертвецом. Теперь я по крайней мере снова жив и набрался опыта. Теперь-то мы посмотрим!

Когда я размышлял обо всем этом, мне показалось просто невероятным легкомыслие, с которым за два года до того я пустился в такую авантюру, поставив себя вне закона. Я вспоминал, каким был в те первые дни, вспоминал бессознательное блаженство или, вернее, безумие, которому предавался в Турине, а затем в других городах, где я странствовал, молчаливый, одинокий, замкнувшийся в себе, переживая то, что казалось мне счастьем. Вот я в Германии, плыву на пароходе по Рейну... Что

это? Сон? Нет, так оно и было! Ах, если бы я мог всегда вести такое существование, скитаться чужестранцем по жизни... Но затем, в Милане... Этот несчастный щенок, которого я хотел купить у старого уличного торговца... Тогда я уже начал понимать... А потом... Ах, потом!

Мысленно я вновь очутился в Риме, вошел как тень в покинутый мною дом. Они все уже спят? Адриана, может быть, и не спит, дожидается моего возвращения. Ей сказали, что я пошел искать двух свидетелей для поединка с Бернальдесом. Она прислушивается, но я все не иду, и она тревожится, плачет...

Я изо всех сил прижал руки к лицу, и сердце мое больно сжалось.

Но раз я все равно не мог быть для тебя живым, Адриана, лучше уж считай меня мертвым! Считай мертвыми губы, сорвавшие с твоих губ поцелуй, бедная Адриана... Забудь! Забудь!

Что произойдет в этом доме наутро, когда из квестуры придут с ужасной новостью? Какой причине припишут они мое самоубийство, опомнившись от первого изумления? Предстоящей дуэли? Нет, конечно. Было бы по меньшей мере странно, если бы человек, никогда не проявлявший трусости, вдруг покончил с собой из страха перед дуэлью. Тогда чему же? Тому, что я не мог раздобыть свидетелей? Нелепый повод. Или, может быть... Кто знает! Нет ли в моей странной жизни какой-нибудь тайны?..

О да! Так они, без сомнения, и решат! Я ведь покончил с собой без всякой видимой причины, никогда раньше и намеком не показав, что задумал нечто подобное. Впрочем, нет: за мной в последние дни замечались кое-какие странности, и не одна, — была эта неприятная история с кражей, которую я сперва заподозрил, а потом стал отрицать... Может быть, деньги были не мои? И я должен был их кому-нибудь возвратить? Незаконно присвоил часть этих денег и попытался изобразить себя жертвой воровства, а потом раскаялся и наконец покончил с собой? Кто знает! Я, без сомнения, был весьма загадочным человеком: ни одного приятеля, ни одного письма откуда бы то ни было...

Пожалуй, лучше было бы написать на этой бумажке, кроме имени, числа и адреса, еще какую-нибудь причину самоубийства. Но в тот момент... Да и какую я мог выдумать причину?

Кто знает, каким образом и как долго будут кричать газеты об этом таинственном Адриано Меисе... Мой пресловутый родич, туринский Франческо Меис, помощник инспектора, тоже выплывет и будет давать показания в квестуре. По этим показаниям предпримут розыски, и одному богу известно, что еще найдут. Хорошо, а деньги? Наследство? Адриана видела все мои банковые билеты... Представляю себе Папиано! Он бросается к шкафчику, но находит его пустым... Значит, деньги пропали? На дне реки? Жаль, жаль! Вот досадно-то: надо было сразу забрать всё! Квестура изымет мою одежду и книги... Кому они достанутся? О, пусть хоть что-нибудь останется на память бедняжке Адриане! Какими глазами станет она теперь оглядывать мою пустую комнату?

Поезд мчался в ночи, а во мне бушевали всевозможные мысли, чувства, вопросы, предположения, не давая мне ни отдыха, ни сна. Я решил, что из осторожности мне следует на несколько дней задержаться в Пизе, чтобы никому не пришло в голову связать возвращение Маттиа Паскаля в Мираньо с исчезновением Адриано Меиса из Рима. А связь эта может броситься в глаза любому, особенно если газеты поднимут крик о вчерашнем самоубийстве. Я подожду в Пизе римских газет — и вечерних, и утренних. Затем, если слишком громкого шума не будет, по пути в Мираньо заеду в Онелью к брату Роберто и посмотрю, какое впечатление произведет мое возвращение к жизни. Однако мне ни в коем случае нельзя распространяться о пребывании в Риме и о том, как я там жил и что делал. Я сообщу о двух годах своего отсутствия самые фантастические сведения, буду рассказывать о путешествиях за границей. Да, теперь, вернувшись живым и здоровым, я, может быть, начну с увлечением врать, врать основательно, красочно, вроде как кавалер Тито Ленци и даже хлестче!

У меня еще оставалось пятьдесят две тысячи лир с лишним. Принимая во внимание, что я уже два года как умер, кредиторы, наверно, вполне удовлетворились именем Стиа и мельницей. После продажи того и другого они получили приличную сумму и поэтому избавят меня от своих домогательств. Впрочем, если они начнут ко мне приставать, я уж как-нибудь сумею от них отделаться. С пятьюдесятью двумя тысячами лир в кармане в Мираньо можно жить не скажу — роскошно, но, во всяком случае, вполне прилично.

Сойдя с поезда в Пизе, я прежде всего купил шляпу такого фасона и размера, какую носил при жизни Маттиа Паскаль, а затем отправился остричь шевелюру этого болвана Адриано Меиса.

— Покороче. Так ведь красивее, правда? — сказал я парикмахеру.

Борода у меня уже немного отросла, и теперь, укоротив волосы, я начал обретать свой прежний вид, но при этом значительно похорошел: лицо мое стало тоньше... Да, ничего не скажешь: благороднее. Глаз, правда, уже не косил — эта характерная черта Маттиа Паскаля исчезла. Итак, в лице моем все же сохранится кое-что от Адриано Меиса. Теперь я был гораздо больше похож на Роберто. Ну мог ли я когда-нибудь предположить что-либо подобное?

Но вот беда: когда я освободился от этой копны волос и надел на голову только что купленную шляпу, голова утонула в ней целиком, до самого затылка! Пришлось прибегнуть к помощи парикмахера, который заложил под подкладку картонный кружок.

Чтобы не заходить в гостиницу без багажа, я купил чемодан: пока туда можно будет положить костюм, который на мне, и пальто. Мне следовало теперь обзавестись всем необходимым. Я не мог рассчитывать, что за истекшее время моя жена в Мираньо сохранила хоть что-нибудь из моей одежды и белья. Я зашел в магазин готового платья, купил костюм, облачился в него и с новым чемоданом в руках отправился в отель «Нептун».

Будучи Адриано Меисом, я уже приезжал в Пизу, где останавливался тогда в гостинице «Лондон». Все достопримечательности города были мною осмотрены. Теперь, обессилев от всего пережитого, ничего не евши со вчерашнего утра, я просто умирал от голода и усталости. Я перекусил и затем проспал почти до самого вечера.

Едва я пробудился, как меня опять обуяло мрачное волнение. День промчался почти незаметно — сперва я занимался своими делами, потом спал мертвым сном. Но кто знает, как прошел он там, в доме синьора Палеари! Суматоха, растерянность, нездоровое любопытство посторонних, торопливое следствие, нелепые предположения, клеветнические домыслы, тщетные поиски тела... А тут еще моя одежда и книги — на них все глядят с тяжелым чувством, которое неизменно вну-

шают вещи, принадлежавшие трагически погибшему человеку.

А я спал! И теперь с тревогой и нетерпением должен был ждать следующего утра, прежде чем узнаю новости из римских газет.

Пока же, не имея возможности немедленно отправиться в Мираньо или хотя бы в Онелью, я вынужден был оставаться в таком вот приятном положении, пребывать вроде как в скобках два-три дня, а может быть, и дольше: в Мираньо я мертв — как Маттиа Паскаль, в Риме тоже мертв — как Адриано Меис.

Не зная, чем заняться, и надеясь хоть немного развлечься после стольких волнений, я решил устроить двум этим мертвецам прогулку по Пизе.

О, это была приятнейшая прогулка! Адриано Меис, уже бывавший здесь, решил послужить гидом и чичероне Маттиа Паскалю. Но тот, озабоченный всем, что продолжало занимать его мысли, только мрачно качал головой и поднимал руку, словно отстраняя эту докучную волосатую тень в длинном сюртуке, широкополой шляпе и очках:

— Прочь! Прочь! Прочь! Возвращайся в реку, ты же утонул!

И мне вспомнилось, как два года тому назад Адриано Меис бродил по улицам Пизы. Тогда он точно так же почувствовал, что ненавистная тень Маттиа Паскаля докучает ему, раздражает его, и ему захотелось таким же движением руки избавиться от нее, прогнать ее назад, в мельничную запруду Стиа. Уж лучше было не доверять ни той, ни другой. О, белая пизанская башня, ты клоунишься набор, а вот я болтаюсь между двумя тенями — то туда, то сюда.

Однако богу угодно было, чтобы я все же кое-как пережил еще одну бесконечно долгую мучительную ночь и получил наконец римские газеты.

Не скажу, чтобы чтение их успокоило меня — это было невозможно. Однако донимавшая меня тревога вскоре рассеялась: я убедился, что сообщению о моем самоубийстве в газетах уделено ровно столько внимания, сколько заслуживает любой факт из хроники происшествий. Все передавали, в общем, одно и то же: говорилось о шляпе и палке, найденных на парашюте Понте Маргерита вместе с коротенькой запиской; сообщалось, что я туринец, человек довольно странный, и что причины, толкнувшие меня на столь роковой шаг, не-

известны. Впрочем, одна газета, основываясь при этом на «ссоре с одним молодым испанским художником в доме некоего весьма важного лица, связанного с клерикальным миром», высказывала предположение, что речь идет об «обстоятельствах интимного порядка». Другая писала: «Вероятно, в связи с денежными затруднениями». В общем, все это было достаточно кратко и неопределенно. Лишь одна утренняя газета, обычно весьма подробно сообщавшая о всех происшествиях, накануне наметала на «изумление и горе в семье кавалера Ансельмо Палеари, отставного начальника отдела в Министерстве народного просвещения, у которого Меис проживал, снискав себе всеобщее уважение своей деликатностью и учтивостью». Весьма благодарен! Эта газета тоже упоминала о ссоре с испанским художником М. Б. и давала понять, что причину самоубийства следует искать в тайном любовном чувстве.

Словом, получалось, что я покончил с собой из-за Пепиты Пантогада. Ну что ж, в конце концов, так даже лучше. Имя Адрианы не упоминалось вовсе, ни слова не было и о пропаже банковых билетов. Следовательно, квестура вела расследование секретно. Но по чьим следам она идет?

Теперь можно было ехать в Онелью.

Роберто оказался у себя на вилле — шел сбор винограда. Легко представить себе, что я почувствовал, увидев опять родное прекрасное побережье, куда, как я полагал, путь навсегда был мне заказан. Но радость моя омрачалась и тревожным стремлением поскорее добраться до места, и опасением, как бы раньше, чем родные, меня не узнал кто-нибудь посторонний, и все возрастающим волнением при мысли, что же они почувствуют, когда внезапно увидят меня живым. При этой мысли в глазах у меня мутилось, я не видел ни неба, ни моря, кровь в жилах лихорадочно пульсировала, сердце колотилось. И мне казалось, что я никогда не доеду! Когда наконец слуга открыл калитку прелестной виллы, которую Берто получил в приданое за женой, и я направился по аллее к дому, мне вдруг почудилось, что я и впрямь вернулся с того света.

— Прошу в а с , — сказал слуга, пропуская меня вперед. — Как прикажете доложить?

Я почувствовал, что не могу выговорить ни слова.

Стараясь прикрыть свои усилия улыбкой и запинаясь, я пробормотал:

— Ска... скажите... скажите ему, что... один его друг... очень близкий друг... приехал издалека... Ну вот...

В лучшем случае слуга счел меня заикой. Он поставил мой чемодан у вешалки и провел меня в гостиную. В ожидании Роберто я дрожал, смеялся про себя, пыхтел и оглядывал светлую, удобную гостиную, обставленную новой зеленоватой мебелью полированного дерева. Внезапно я увидел на пороге двери, в которую вошел, прелестного мальчугана лет четырех. В одной руке у него была лейка, в другой грабельки.

Он во все глаза смотрел на меня.

Я ощутил невыразимую нежность: это, очевидно, был мой племянник, старший сын Берто. Я нагнулся и помазил малыша к себе, но он испугался и убежал.

Тут я услышал, как отворяется другая дверь. Я выпрямился, от волнения в глазах у меня опять помутилось, в горле заклокотал судорожный смех.

Роберто остановился в двух шагах от меня. Он был удивлен и даже смущен.

— С кем... — начал он.

— Берто! — вскричал я, открывая объятия. — Ты не узнаешь меня?

Услышав мой голос, он смертельно побледнел, быстро провел рукой по лбу и по глазам, зашатался и пробормотал:

— Как же это... как же... как?

Но я успел поддержать его, хоть он и отстранялся, словно в испуге.

— Это я — Маттиа! Да не бойся же! Я не умер... Ты что, не видишь? Ну потрогай же меня! Это я, Роберто! Уж если я был когда-нибудь жив, так именно сейчас. Ну же, ну!

— Маттиа! Маттиа! Маттиа! — повторял бедняга Берто, все еще не веря своим глазам. — Но как же это? Ты? О боже!.. Да как же так? Брат! Родной мой Маттиа!

И он крепко, изо всех сил обнял меня. Я расплакался как ребенок.

— Да как же это? — снова стал спрашивать Берто, тоже плача от радости. — Как же это так?

— Да вот так... Видишь? Вернулся... И не с того света, нет: я все время пребывал на этом окаянном свете... Ну, полно... Сейчас расскажу.

Крепко держа меня за руки, весь в слезах, Роберто не сводил глаз с моего лица и все еще не мог прийти в себя от изумления.

— Но как же так? Ведь там...

— То был не я... Сейчас объясню. За меня приняли другого. Я не был тогда в Мираньо и узнал о своем самоубийстве в Стиа, как, вероятно, и ты, из газеты.

— Значит, то был не ты? — воскликнул Берто. — Что же ты все это время делал?

— Притворялся мертвым — и ни гугу. Я тебе все расскажу, но только не сейчас. Знай одно: я переезжал с места на место и сперва, веришь ли, чувствовал себя счастливым. Затем начались всякие истории, и я понял, что совершил ошибку, что ходить в мертвецах — не такое уж прибыльное дело. Ну вот, я вернулся; собираюсь снова ожить.

— Ох, Маттиа, я всегда говорил, что ты полоумный. Безумец! Безумец! Безумец! — воскликнул Берто. — Но до чего же я рад! Кто мог этого ожидать? Маттиа жив? Понимаешь, я никак не могу в это поверить! Дай-ка на тебя поглядеть... Ты что-то на себя непохож!

— Видишь, я привел в порядок глаз!

— Ах, да... Потому-то мне и казалось... Я все смотрел на тебя, смотрел... Ну и отлично! Пойдем же, пойдем к жене... Нет, постой... Ведь ты...

Он вдруг замолчал и смущенно взглянул на меня.

— Ты собираешься вернуться в Мираньо?

— Ну да, сегодня же вечером.

— Значит, ты не знаешь?

Он закрыл лицо руками и застонал:

— Несчастный! Что ты наделал, что ты наделал! Ты не знаешь, что твоя жена...

— Умерла? — вскричал я, застывая на месте.

— Нет! Хуже! Она вторично вышла замуж.

Я так и обомлел:

— Замуж?

— Да, за Помино! Я получил извещение. Тому уже больше года.

— Помино? Помино женился на... — бормотал я.

Но внезапно смех, горький, словно желчь, подкатил мне к горлу, и я громко, залиvisto расхохотался.

Роберто смотрел на меня в полном недоумении, может быть опасаясь даже, что я помешался:

— Ты смеешься?

— Ну да! Ну да! — закричал я, тряся его за руки. — Тем лучше! Это же верх блаженства.

— Что ты мелешь? — почти в бешенстве выпалил Роберто. — Блаженство! Но если ты теперь там по-вишишься...

— Теперь-то уж наверняка появлюсь, не сомневайся!

— Да разве ты не знаешь, что тебе придется снова стать ее мужем?

— Мне? Как же так?

— Разумеется! — подтвердил Берто, и теперь уже я ошалело посмотрел на него. — Второй брак объявят недействительным, и ты будешь обязан ее взять.

Все вокруг меня так и завертелось.

— Как! Что же это за закон? — крикнул я. — Моя жена снова выходит замуж, а я... Да что ты говоришь? За-молчи! Это невозможно.

— А я тебе говорю, что так оно и есть! — стоял на своем Берто. — Подожди: тут у нас мой шурина, он — доктор права и лучше меня все тебе растолкует. Пойдем... Или нет, обожди немного: моя жена беременна, и я боюсь, что слишком сильное потрясение причинит ей вред, хоть она тебя мало знает. Я ее подготовлю. Подожди, ладно?

Он выпустил мою руку только у самой двери, словно боялся, что если оставит меня хоть на миг, я опять исчезну.

Когда он вышел, я заметался по гостиной, как лев в клетке. Вышла замуж! За Помино! Ну разумеется, она именно та, кого он хотел в жены, — ведь он и раньше любил ее. Да он глазам своим не поверит! И она тоже... Подумать только! Богатая, жена Помино... И в то время как она вторично вышла замуж, я там, в Риме... А теперь, оказывается, обязан снова жить с ней в браке! Возможно ли это?

Вскоре Роберто, сияя от радости, вернулся и позвал меня к жене. Я, однако, был до того взбудоражен этим неожиданным известием, что не мог как следует оценить тот сюрприз, который приготовили мне моя невестка, ее мать и брат. Берто заметил это и сразу стал расспрашивать шурина о том, что мне прежде всего и надо было узнать.

— Хорошенький же это закон! — еще раз вырвалось у меня. — Это, извините, какое-то варварство.

Молодой адвокат улыбнулся и с видом превосходства поправил пенсне на носу.

— Но он таков, и тут уж ничего не поделаешь, — ответил он. — Роберто прав. Не скажу точно, какой статьей, но вообще-то подобный казус законом предусмотрен: в случае появления первого супруга, второй брак признается недействительным.

— И я должен признать женой, — гневно воскликнул я, — женщину, которая совершенно открыто в течение целого года жила в супружестве с другим мужчиной, а он...

— Но ведь это произошло по вашей вине, дорогой синьор Паскаль! — прервал меня адвокатик, не переставая улыбаться.

— По моей вине? Почему? — возразил я. — Прежде всего эта милая женщина ошиблась, приняв за меня труп какого-то несчастного утопленника, потом она поспешила вторично выйти замуж, а виноват я? И я должен восстановить с ней брачные отношения?

— Конечно, — ответила адвокат, — поскольку вы, синьор Паскаль, своевременно, то есть до истечения срока, в пределах которого по закону нельзя заключить новый брак, не пожелали исправить ошибку вашей жены, какая ошибка — весьма возможно — была совершена не совсем бессознательно. Вы это ложное опознание приняли и даже воспользовались им... Не спорьте: я ведь вас за это даже хвалю, на мой взгляд, вы поступили совершенно правильно, и меня удивляет лишь, зачем вам понадобилось возвращаться и запутываться в нашем нелепом гражданском законодательстве. Я на вашем месте не стал бы оживать.

Безмятежность и самодовольное умничанье этого свежеспеченного юриста рассердили меня.

— Вы сами не знаете, что говорите! — ответил я ему, пожимая плечами.

— Как! — возразил он. — Ведь это такая удача, такое счастье!

— Вот-вот, вы бы сами и попробовали, — воскликнул я и, чтобы оборвать этого самодовольного субъекта, повернулся к Берто. Но и тут я напоролся на шипы.

— Да, кстати, — спросил меня брат, — а как ты все это время устраивался насчет...

И он потер большой палец об указательный, намекая на деньги.

— Как устраивался? — ответил я. — Это длинная история! Сейчас я не в таком состоянии, чтобы ее рассказывать. Но, должен тебе сказать, деньги у меня были, да и сейчас имеются. Так что пусть никто не воображает,

будто я возвращаюсь в Мираньо, потому что очутился на мели.

— Ах, ты все же намереваешься вернуться туда? — опять спросил Берто. — После всего, что я тебе сообщил?

— Разумеется, намереваюсь! — вскричал я. — Неужели ты думаешь, что после всего, что я выстрадал, у меня еще есть желание притворяться умершим? Нет, дорогой мой, хватит. Я хочу снова получить законные документы, хочу ощутить себя живым, по-настоящему живым, даже ценой возвращения к семейной жизни. Да, вот что: а мать ее... вдова Пескаторе, жива?

— Этого не знаю, — ответил Берто. — Ты сам понимаешь, что после второго замужества... Но, кажется, она жива...

— Тем лучше! — воскликнул я. — Впрочем, неважно. Я отомщу! Я ведь, знаешь, уже не тот, что был. Жаль только, что это будет такое счастье для болвана Помино!

Все рассмеялись. Тут вошел слуга и объявил, что кушать подано. Мне пришлось остаться к обеду, но я до того дрожал от нетерпения, что не разбирая даже, какую пищу поглощаю. Во всяком случае, я ощутил наконец, что наелся досыта. Зверь, зашевелившийся во мне, подкрепил свои силы и приготовился к предстоящему прыжку.

Берто предложил мне задержаться до вечера и переночевать у них на вилле, а на следующее утро отправиться с ним вдвоем в Мираньо. Ему хотелось насладиться зрелищем моего неожиданного возвращения к жизни, увидеть своими глазами, как я, словно коршун, упаду на гнездышко, которое свил себе Помино. Но я уже закусил удила и слышать не захотел о проволочке. Я попросил его отпустить меня одного, и сегодня же, без всякой задержки.

Я уехал восьмичасовым поездом — через полчаса буду в Мираньо.

18. ПОКОЙНЫЙ МАТТИА ПАСКАЛЬ

Раздираемый двумя чувствами — тревогой и яростью (не могу сказать, которое из них волновало меня сильнее; вероятно, это было, в сущности, одно чувство — тревожная ярость или яростная тревога), я уже не беспокоился о том, что кто-нибудь посторонний узнает меня

до того, как я приеду в Мираньо или едва только сойду с поезда.

Я принял лишь одну предосторожность: сел в вагон первого класса. Уже наступил вечер, и к тому же опыт, проделанный с Берто, успокоил меня: во всех так укоренилась уверенность в моей печальной кончине целых два года тому назад, что никому и в голову не пришла бы мысль, что я — Маттиа Паскаль. Я попытался высунуть голову из окна, надеясь, что вид знакомых мест вызовет у меня иное, более кроткое чувство, но это только усилило во мне тревогу и ярость. При лунном свете я издали различил холм в Стиа.

— Убийцы! — процедил я сквозь зубы. — Ну погодите...

Сколько важного забыл я спросить у Роберто, ошеломленный неожиданным известием! Проданы ли имение и мельница? Или же кредиторы договорились между собой о временной отдаче их под опеку? Умер ли Маланья? Как тетя Сколастика?

Не верилось, что прошло всего два года и несколько месяцев. Казалось, что прошла целая вечность, а так как со мной случились вещи необычайные, я считал, что такие же необычайные вещи должны были произойти и в Мираньо. И, однако, там ничего не случилось, кроме брака Ромильды и Помино, то есть вещи самой обычной, которая лишь теперь, с моим возвращением, становилась необыкновенным происшествием.

Куда же мне следует направиться, как только я окажусь в Мираньо? Где свила гнездышко новая супружеская пара?

Для Помино, богача и единственного наследника, дом, где жил я, бедняк, был слишком убог. К тому же Помино, при своем нежном сердце, чувствовал бы себя неважно там, где все напоминало бы ему обо мне. Возможно, он поселился вместе с отцом, в большом доме. Я представил себе вдову Пескаторе — какой вид матроны она на себя теперь напускает! А бедняга кавалер Помино Джероламо Первый, такой щепетильный, мягкий, благодушный, в когтях у этой мегеры! Какие там сцены! Уж конечно, ни у отца, ни у сына не хватило мужества избавиться от нее. А теперь вот — ну не досадно ли? — избавлю их я...

Да, мне надо направиться прямо в дом Помино: если там я их не найду, то, во всяком случае, узнаю у приратницы, где искать.

О мой мирно уснувший городок, какое потрясение ожидает тебя завтра при известии о моем воскресении! Ночь была лунная, на почти вымерших улицах фонари уже погасли, многие в этот час ужинали.

Из-за предельного нервного возбуждения я не чувял под собой ног и шел, словно не касаясь земли. Не могу сказать даже, в каком я был душевном состоянии; у меня сохранилось только ощущение, будто все мои внутренности переворачивал гомерический смех, который, однако, не мог вырваться наружу; вырвись он — и камни мостовой оскалились бы, как зубы, и дома зашатались бы.

В одно мгновение очутился я у дома Помино, но не обнаружил в подъезде старухи привратницы в ее стеклянной будке. Дрожа от нетерпения, я подождал несколько минут и вдруг заметил над одной из створок парадной двери уже вылинявшую и пыльную траурную ленту, которая явно была приколочена здесь еще несколько месяцев тому назад. Кто же умер? Вдова Пескаторе? Кавалер Помино? Ясное дело — кто-то из них. Может быть, кавалер... Тогда, уж наверно, я найду свою пару голубков здесь, в большом доме. У меня больше не было сил дожидаться. Я побежал по лестнице, шагая через две ступеньки, и на втором пролете встретил привратницу:

— Дома кавалер Помино?

Старая черепаха посмотрела на меня так ошеломленно, что я сразу понял: умер бедняга кавалер Помино.

— Сын! Сын! — сразу поправился я, продолжая подниматься по лестнице.

Уж не знаю, что бормотала себе под нос старуха, спускаясь вниз. Дойдя почти доверху, я вынужден был остановиться — не хватало дыхания. Я взглянул на дверь и подумал: «Может быть, они еще ужинают, сидят за столом все трое, ничего не подозревая. Но пройдет несколько секунд — и едва я постучусь в дверь, как вся их жизнь перевернется вверх дном... Сейчас я — носитель грозящего им рока».

Я поднялся по последним ступенькам и взялся за шнурок звонка. Сердце у меня бешено колотилось, я прислушался. Ни звука. И в этой тишине я расслышал легкое динь-динь звонка, который я сам медленно, осторожно тянул за шнурок.

Кровь ударила мне в голову, в ушах загудело, словно этот легкий звон, еле доносившийся до меня в тишине, звучал во мне самом резко и оглушительно.

Через несколько минут я вздрогнул, узнав за дверью голос вдовы Пескаторе:

— Кто там?

Я не смог ответить сразу и крепко прижимал к груди кулаки, словно для того чтобы не дать сердцу выпрыгнуть наружу. Потом глухо, скандируя каждый слог, произнес:

— Маттиа Паскаль.

— Кто? — вскрикнул голос за дверью.

— Маттиа Паскаль, — повторил я, стараясь говорить еще более замогильным голосом.

Я услышал, как старая ведьма — явно в ужасе — отбежала от двери, и внезапно представил себе, что там сейчас происходит. Теперь должен появиться мужчина — сам Помино, этот храбрец!

Мне, однако, следовало, не спеша, как и раньше, обдумать свой образ действий.

Едва только Помино гневным рывком открыл дверь и увидел меня, выпрямившегося во весь рост и словно наступающего на него, он в ужасе попятился. Я ворвался в комнату, крича:

— Маттиа Паскаль! С того света!

Помино с тяжелым стуком плюхнулся задом на пол. Руки он инстинктивно закинул за спину и теперь опирался на них всем телом, тараща на меня глаза:

— Маттиа? Ты?!

Вдова Пескаторе, прибежавшая со свечой в руке, издала душераздирающий вопль, словно роженица. Ударом ноги я захлопнул дверь и вырвал у нее свечу, которую она едва не уронила на пол.

— Тише! — крикнул я ей прямо в лицо. — Вы, кажется, и впрямь приняли меня за привидение?

— Ты живой? — выдавила она, побелев от страха и впиваясь пальцами себе в волосы.

— Живой! Живой! Живой! — подхватил я с какой-то свирепой радостью. — А вы меня опознали в мертвце? В утопленнике?

— Да откуда же ты? — в ужасе спросила она.

— С мельницы, ведьма! — зарычал я. — Вот, держи свечу да гляди на меня хорошенько! Это я? Узнаешь? Или тебе кажется, что перед тобой тот несчастный, который утонул в Стиа?

— Значит, то был не ты?

— Иди к черту, ведьма! Я же стою здесь, живой! А ты вставай, чудило! Где Ромильда?

— Ради бога!.. — простонал Помино, торопливо поднимаясь с пола... — Малютка... Я боюсь... Молоко...
Я схватил его за руку, тоже, в свою очередь, оторопел:

— Что еще за малютка?

— Моя... моя... дочка... — пробормотал Помино.

— Ах ты убийца! — заорала вдова Пескаторе.

Ошеломленный этим новым известием, я не мог ответить ни слова.

— Твоя дочь? — прошептал я. — Ко всему еще и дочь... И теперь она...

— Мама, ради бога, пойдите к Ромильде... — умоляющим тоном произнес Помино.

Но было уже поздно. Ромильда с раскрытой грудью, к которой присосался младенец, полуодетая, словно, услышав наши крики, она впопыхах спрыгнула с постели и, — Ромильда вошла в комнату и увидела меня:

— Маттиа!

Она упала на руки Помино и матери, которые унесли ее, оставив в суматохе малютку у меня на руках, когда я вместе с ними бросился к Ромильде.

Я остался один во мраке прихожей с этой хрупкой малюткой, которая пронзительно кричала, требуя молока. Я был смущен, растерян, в ушах у меня звучал отчаянный крик женщины, которая была моей, а теперь вот родила эту девочку, и не от меня, не от меня! А мою-то, мою она тогда не любила! Значит, и мне, черт побери, нечего жалеть ни ее ребенка, ни их всех. Она вышла замуж? Ну, так теперь я... Но малютка продолжала кричать, и тогда... Что оставалось делать? Чтобы успокоить девочку, я осторожно прижал ее к груди и принялся нежно похлопывать по крошечным плечикам и укачивать, прохаживаясь взад и вперед. Ярость моя утихла, пыл угас. Девочка мало-помалу смолкла.

Из темноты послышался испуганный голос Помино:

— Маттиа! А что девочка?

— Тише ты! Она у меня.

— А что ты с ней делаешь?

— Ем ее... Что делаю! Вы же сунули ее мне в руки... Пусть теперь и лежит у меня. Она успокоилась. Где Ромильда?

Он подошел ко мне, весь дрожа и глядя с опаской, как сука, увидевшая, что хозяин взял на руки ее щенка.

— Ромильда? А что? — переспросил он.

— А то, что мне надо с ней поговорить, — грубо ответил я.

— Знаешь, она в обмороке.

— В обмороке? Ну что ж, приведем ее в чувство.

Помино с умоляющим видом попытался преградить мне путь:

— Ради бога... Послушай... Я боюсь... Как это... ты... живой?.. Где же ты был?.. Ах, боже ты мой... Послушай... Может быть, ты лучше со мной поговоришь?

— Нет! — закричал я. — Буду говорить с ней. Ты во всем этом деле теперь никто.

— Как! Я?

— Твой брак недействителен.

— Как!.. Что ты говоришь? А девочка?

— Девочка... Девочка... — процедил я сквозь зубы. — Постыдился бы! Только два года прошло, а вы уж успели и дочкой обзавестись. Тише, маленькая, тише! Пойдем к маме!.. Ладно, веди меня! Куда идти?

Не успел я войти в спальню с ребенком на руках, как вдова Пескаторе накинулась на меня, словно гиена.

Я оттолкнул ее яростным взмахом руки:

— А вы убирайтесь! Вон там ваш зятек. Если хотите орать, орите на него. Я вас знать не знаю.

Я склонился над Ромильдой, которая горько рыдала, и положил девочку рядом с ней.

— Вот, возьми ее... Ты плачешь? Отчего? Оттого, что я жив? Ты предпочла бы, чтоб я был мертв? Посмотри на меня... Ну же, посмотри мне в лицо! Каким я тебе больше нравлюсь — живым или мертвым?

Она попыталась взглянуть на меня сквозь слезы и прерывающимся от рыданий голосом прошептала:

— Но... как... ты? Что... ты делал?

— Что делал? — усмехнулся я. — Это ты у меня спрашиваешь, что я делал? Ты-то вышла вторично замуж... за этого болвана... Родила дочку, и теперь еще спрашиваешь, что я делал?

— Что теперь будет? — простонал Помино, закрывая лицо руками.

— Но ты, ты... Где ты пропадал? Раз ты притворялся умершим, раз ты скрывался... — начала орать вдова Пескаторе, надвигаясь на меня с поднятыми кулаками.

Я схватил одну ее руку, скрутил и прорычал:

— Молчать, я вам говорю! Замолчите сейчас же, и если вы только пикнете, я позабуду жалость, которую испытываю к этому болвану, вашему зятю, и к этой крош-

ке, и буду поступать по закону! А знаете ли, что гласит закон? Что я должен восстановить свой брак с Ромильдой...

— С моей дочерью? Ты?.. Ты с ума сошел! — не смущаясь, завопила она.

Но Помино, услышав мою угрозу, принялся уговаривать ее, чтобы она ради всего святого замолчала и успокоилась.

Тогда мегера, отстав от меня, напустилась на него, дурака, болвана, ничтожество, умеющего только хныкать и жаловаться, как баба.

Меня разобрал такой смех, что живот заболел.

— Хватит! — закричал я, когда немного успокоился я. — Да я оставлю ему Ромильду! Охотно оставлю! Неужели вы считаете меня таким дураком, чтоб я захотел снова стать вашим зятем? Ах, бедный ты мой Помино! Прости, бедный мой друг, что я назвал тебя болваном. Но ведь ты же слышал? И теща твоя назвала тебя так, и — честное слово! — еще раньше так о тебе отзывалась Ромильда, наша жenuшка, да, да, она — не кто другой. Ты ей казался и болваном, и тупицей, и пошляком, и не помню уж чем еще. Не так ли, Ромильда? Ну, признайся же... Ну-ну, перестань плакать, дорогая, вытри глаза, а то еще молоко испортишь... Я теперь жив — видишь? — и хочу радоваться жизни, да, радоваться, как говорил один мой подвыпивший приятель... Радоваться, Помино! Ты думаешь, я хочу отнять маму у дочки? Ой, нет-нет! У меня уже есть сын без отца... Видишь, Ромильда? Мы с тобой теперь квиты: у меня есть сынок, он — сын Маланьи, а у тебя дочка, и она — дочь Помино. Если на то будет воля божья, мы их еще когда-нибудь поженим! Но теперь мой сын для тебя уже не обидает... Поговорим о вещах повеселей... Расскажи-ка мне, как ты и твоя мать умудрились опознать мой труп там, в Стиа.

— Но я ведь тоже опознал! — вскричал, потеряв терпение, Помино. — Вся округа опознала! Не они одни!

— Молодцы! Молодцы! Он был так на меня похож?

— Твой рост... Борода... Одет как ты... в черное. К тому же ты столько времени пропадал...

— Ну конечно, я скрылся, ты ведь это уже слышал? Как будто я скрылся не из-за них. Из-за нее, из-за нее... И вот, знаешь ли, я все-таки решил было вернуться... Да, да, нагруженный золотом! Как вдруг, оказывается, я умер, утонул, даже разложился... И вдобавок всеми опознан! Слава богу, два года я болтался повсюду, как

блудный сын, а вы-то здесь — помолвка, свадьба, медовый месяц, пиры, веселье, дочка...

Спящий в гробе — мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий...

— А теперь-то как? Теперь-то как будет? — стена, повторял Помино, сидевший как на иголках. — Вот о чем я спрашиваю!

Ромильда встала и перенесла девочку в колыбельку.

— Пойдем, пойдем отсюда, — сказал я. — Малютка заснула. Поговорим в другом месте.

Мы перешли в столовую, где на еще накрытом столе виднелись остатки ужина. С мертвенно-бледным, ошалелым, перекошенным лицом, весь дрожа и беспрестанно моргая помутневшими глазами, сузившиеся от муки зрачки которых казались двумя черными точками, Помино только и делал, что почесывал себе лоб и повторял, как в бреду:

— Жив... Жив... Как же это? Как же это?

— Да перестань ты ныть! — крикнул я. — Сейчас все обсудим.

Ромильда, облачившись в халат, присоединилась к нам. При свете лампы я на нее просто загляделся: она похорошела и стала совсем как в былые дни, даже еще красивее.

— Дай-ка я на тебя посмотрю... Разрешаешь, Помино? Тут ничего худого нет: я ведь раньше твоего стал ей мужем и был им подольше, чем ты. Да не стесняйся же, Ромильда! Смотри, смотри, как корчится Мино! Раз я на самом деле не умер, все в порядке!

— Это недопустимо! — пропыхтел побледневший Помино.

— Волнуется! — подмигнул я Ромильде. — Ну ладно, успокойся, Мино... Я же сказал, что не отберу ее у тебя, и я сдержу слово. Только подожди... С твоего позволения!

Я подошел к Ромильде и смачно чмокнул ее в щеку.

— Маттиа! — весь дрожа, крикнул Помино.

Я опять расхохотался:

— Ревнуешь? Ко мне? Вот еще! У меня право первенства. Впрочем, Ромильда, можешь предать это забвению. А знаешь, идя сюда, я предполагал (ты уж извини, Ромильда), я предполагал, дорогой Мино, что очень обрадую тебя возможностью освободиться, и, признаюсь, это меня весьма огорчало: я ведь хотел ото-

мстить. Поверишь ли, я и сейчас, пожалуй, не прочь отобрать у тебя Ромильду — ты, как видно, ее любишь, а она... Да, да, это похоже на сон, но она такая же, как была когда-то... Помнишь, Ромильда?... Да не плачь же! Опять ты принялась хныкать!.. Хорошие были времена... Нет им возврата... Ладно, ладно: у вас теперь дочка, значит и говорить не о чем! Оставлю вас в покое, черт побери!

— Но ведь брак-то наш будет недействительным! — закричал Помино.

— И пусть себе будет, — ответил я. — Если он и аннулируется, то чисто формально. Я своих прав заявлять не стану, не стану и добиваться официального признания меня живым, если не буду к этому вынужден. Я вполне удовлетворюсь, если все меня увидят и узнают, что на самом-то деле я жив. Я хочу только не числиться мертвым. Поверьте, такое состояние — самая настоящая смерть. Да ты и сам это понимаешь, раз Ромильда стала твоей женой... Остальное мне безразлично! Ты открыто, на глазах у всех, женился; все знают, что она уже целый год твоя жена; пусть так и остается. Неужто ты думаешь, что кто-нибудь поинтересуется, остался ли законным ее первый брак? Все это — прошлогодний снег... Ромильда была моей женой; теперь, вот уже год, она твоя жена, мать твоего ребенка. Через месяц об этом и судачить-то перестанут. Верно я говорю, вы, дважды теща?

Вдова Пескаторе с мрачным видом хмуро кивнула головой. Но Помино, которого все сильнее разбирало беспокойство, спросил:

— А ты останешься тут, в Мираньо?

— Да, и иногда вечером буду заходить к тебе выпить чашку кофе или стаканчик вина за ваше здоровье.

— Ну, уж это — нет! — выпалила вдова Пескаторе, вскакивая с места.

— Да он шутит!.. — заметила Ромильда, не поднимая глаз.

— Видишь, Ромильда? — обратился я к ней. — Они боятся, как бы у нас с тобой опять не началась любовь... Это было бы мило с твоей стороны! Нет, нет, не надо мучить Помино. Я хочу сказать, что, раз он не желает принимать меня в своем доме, я стану прохаживаться по улице под твоими окнами. Хорошо? И устраивать тебе дивные серенады.

Помино, бледный, дрожащий, ходил взад и вперед по комнате, бормоча:

— Это невозможно... Невозможно... — Вдруг он остановился и сказал: — Факт тот, что она, раз ты жив и находишься тут, больше не будет моей женой...

— А ты считай, что я умер! — спокойно ответил я.

Он снова принялся ходить взад и вперед:

— Теперь я не могу так считать!

— Ну и не считай! Ну посуди сам хорошенько: если со стороны Ромильды у тебя на этот счет не будет никаких неприятностей, то от кого еще тебе их ждать? Пусть скажет Ромильда... Ну же, Ромильда, говори, кто из нас лучше: он или я?

— Но я имею в виду — перед лицом закона! Перед лицом закона! — закричал он, останавливаясь.

Ромильда озабоченно и нерешительно взглянула на него.

— Если говорить о законе, — заметил я, — то мне, извини, кажется, что больше всего пострадаю я, поскольку мне придется отныне быть свидетелем того, как моя прекрасная половина ведет с тобой супружескую жизнь.

— Но ведь раз о н а , — возразил По м и н о , — больше не является твоей женой...

— Ну, в о б щ е м , — громко вздохнул я, — я намеревался отомстить и не мшу; я оставляю тебе жену, оставляю тебя в покое, а ты еще чем-то недоволен? Ладно, Ромильда, вставай, и уйдем отсюда вместе! Предлагаю тебе блестящее свадебное путешествие... Уж мы с тобой поведемся! Брось ты этого скучного плаксу! Как тебе нравится? Он хочет, чтобы я по-настоящему бросился в мельничную запруду Стиа.

— Совсе я этого не хочу! — возопил выведенный из себя Помино. — Но ты по крайней мере уйди! Уходи отсюда, раз уж тебе понравилось притворяться умершим! Уходи сейчас же, и подальше, так, чтобы никто тебя не видел. Потому что, если ты... тут... живой... я не смогу...

Я встал, успокоительно похлопал его по плечу и объявил, что уже был в Онелье у брата. Там все теперь знают, что я жив, и завтра эта весть неизбежно дойдет до Мираньо. Затем я вскричал:

— Чтоб я опять притворился умершим?! Прозябал где-то вдаль от Мираньо? Шутишь, мой дорогой! Успокойся: живи себе мирно супружеской жизнью и ни о чем не тревожься... Как бы то ни было, свадьбу твою отпраздновали. Все одобряют то, что я предлагаю, принимая во внимание наличие ребенка. Обещаю, клятвенно обещаю, что никогда не явлюсь докучать тебе, даже чтобы

выпить несчастную чашку кофе, даже чтобы насладиться радостным и бодрящим зрелищем вашей любви, вашего счастья, вашего счастья, построенного на моей смерти... Ах вы неблагодарные! Пари держу, что никто, даже ты, преданнейший друг, никто из вас ни разу не сходил на кладбище повесить венок, положить хоть жалкий цветок на мою могилу... Ведь правда? Отвечай же!

— Все-то ты шутишь! — весь сжавшись, произнес Помино.

— Шучу? И не думаю! Там ведь лежит труп человека, а с этим не шутят. Бывал ты там?

— Нет... Я не... У меня мужества не хватило... — пробормотал Помино.

— А жену у меня отнять — на это мужества хватило, озорник ты этакий!

— А ты — у меня? — быстро возразил он. — Разве ты первый не отобрал ее у меня, когда был жив?

— Я? Вот еще! Она же тебя сама не захотела! Неужто тебе надо повторять, что она считала тебя дураком? Пожалуйста, подтверди ему, Ромильда, — видишь, он обвиняет меня в предательстве. Ну ладно! Не будем больше об этом говорить, он все-таки твой муж. Но никакой вины за мной нет... Полно, полно... Завтра я сам навешу этого бедного покойника, который лежит там без единого цветочка, без единой пролитой слезы... А скажи, камень-то хоть положили на его могилу?

— Да, — живо ответил Помино. — За счет муниципалитета... Мой бедный папа...

— Произнес на моей могиле речь. Знаю. Если бы бедняга покойник слышал... А что написано на плите?

— Не знаю... Надпись сочинил Жаворонок.

— Представляю себе! — вздохнул я. — Ладно. Поставим крест и на этом. Расскажи-ка мне лучше, как это вы так быстро поженились... Да, не очень-то долго ты меня оплакивала, моя вдовушка! А может быть, и вовсе не плакала? А? Да скажи хоть слово. Неужто я так и не услышу твоего голоса? Смотри: сейчас поздняя ночь, чуть забрезжит день, я уйду, и все будет так, словно мы никогда не знали друг друга... Воспользуемся же оставшимся временем. Ну, говори же...

Ромильда пожала плечами, взглянула на Помино и нервно усмехнулась. Потом опять опустила глаза и стала разглядывать свои руки.

— Что я могу сказать? Конечно, плакала...

— Чего ты не заслужил! — проворчала вдова Пескаторе.

— Благодарю! Но недолго, ведь правда? — продолжал я. — Эти прекрасные глаза нередко ошибались, но, разумеется, недолго портили себя слезами.

— Нам было очень плохо, — молвила, словно оправдываясь, Ромильда. — И если бы не он...

— Молодец, Помино! — воскликнул я. — А этот прохвост Маланья, значит, ничего?

— Ничего, — сухо отрезала вдова Пескаторе.

— Все сделал он...

— То есть... нет... — поправил ее Помино, — бедный папа... Ты знаешь, он ведь был член муниципального совета. Ну вот, прежде всего он добился маленькой пенсии, принимая во внимание несчастный случай, а потом...

— Согласился на вашу свадьбу?

— Он был просто счастлив! И захотел, чтобы все жили тут, с ним... Увы! Два месяца тому назад...

Он стал рассказывать мне о смерти отца, о том, как тот полюбил Ромильду и свою маленькую внучку, как оплакивали его смерть во всей округе. Тогда я спросил, что слышно о тете Сколастике, которая так дружила с кавалером Помино. Вдова Пескаторе, еще хорошо помнившая, как грозная старуха запустила ей в лицо комком теста, заерзала на стуле. Помино ответил мне, что она жива, но он уже года два не встречался с ней; затем он, в свою очередь, стал спрашивать, что я делал, где жил и т. п. Я рассказал все, что можно было рассказать, не называя ни мест, ни имен, и дал им понять, что не очень-то развлекался эти два года. И вот так, беседуя, мы поджидали наступления дня, того дня, когда все должны были узнать о моем воскресении из мертвых.

Бдение и сильные переживания утомили нас. Кроме того, мы озябли. Чтобы мы хоть немного согрелись, Ромильда сама приготовила кофе. Наливая мне чашку, она взглянула на меня с легкой, грустной и какой-то далекой улыбкой:

— Ты, как всегда, без сахара?

Что прочитала она в тот миг в моем взгляде? Ее глаза тотчас же потупились.

В этих бледных предрассветных сумерках я внезапно ощутил, как к горлу моему подкатывает клубок, и с ненавистью посмотрел на Помино. Но под носом моим дымился кофе, опьяняя меня своим ароматом, и я стал медленно потягивать его. Затем я попросил у Помино

разрешения оставить у них чемодан — я пришлю за ним, когда найду себе жилье.

— Ну разумеется, разумеется! — предупредительно ответил тот. — Ты не беспокойся: я сам тебе его доставлю.

— Ну, — сказал я, — он ведь пустой. Кстати, Ромильда, не сохранилось ли у тебя случайно что-нибудь из моих вещей — одежда, белье?

— Нет, ничего... — с сожалением ответила она, разводя руками. — Сам понимаешь, после этого несчастья...

— Кто мог представить себе? — воскликнул Помино.

Но я могу поклясться, что у него, скупого Помино, шея была повязана моим старым шелковым платком.

— Ну, хватит. Прощайте и будьте счастливы, — сказал я, пожимая им руки и пристально глядя на Ромильду, так и не поднявшую на меня глаз. Когда она отвечала на мое пожатие, рука у нее дрожала. — Прощайте! Прощайте!

Очувтившись на улице, я снова почувствовал себя неприкаянным, хотя и был на родине: один, без дома, без цели.

«Что ж теперь делать? — подумал я. — Куда идти?»

Я шел по улице, разглядывая прохожих. Возможно ли? Никто меня не узнавал. Но я ведь не так сильно изменился — каждый, завидя меня, мог бы, во всяком случае, подумать: «Как этот приезжий похож на беднягу Маттиа Паскаля! Если бы глаз у него немного косил, был бы вылитый покойник». Но нет, никто меня не узнавал, ибо никто обо мне больше не думал. Я не вызывал ни любопытства, ни хотя бы малейшего удивления... А я-то представлял себе, какой поднимется шум, переполох, едва только я покажусь на улицах Мираньо! Глубоко разочарованный, я испытывал такое острое унижение, досаду, горечь, что не могу даже передать. Досада и унижение мешали мне обращать на себя внимание тех, кого я-то сам отлично узнавал. Еще бы! Прошло два года!.. Вот что значит умереть! Никто, никто больше не помнил обо мне, словно я никогда не существовал.

Дважды прошел я по городку из конца в конец, и никто меня не остановил. Раздражение мое дошло до того, что я уже подумывал возвратиться к Помино, объявить ему, что уговор наш меня не устраивает, и вы-

местить на нем обиду, которую, как я считал, нанес мне наш городок, не узнавая меня. Но ни Ромильда не последовала бы за мной по доброй воле, ни я не знал бы, куда ее вести. Сперва мне надо было обзавестись жильем. Я подумал, не пойти ли мне прямо в муниципальный совет, в отдел записи актов гражданского состояния, чтобы меня сразу же вычеркнули из списка умерших. Но по пути туда я переменял решение и отправился в библиотеку Санта Мария Либерале, где застал на своем месте моего почтенного приятеля, дон Элиджо Пеллегринотто, который меня тоже сперва не узнал. Правда, дон Элиджо утверждал, что узнал меня с первого взгляда и готов был уже броситься мне на шею, но ждал только, чтобы я назвал свое имя, так как мое появление представилось ему настолько невероятным, что он просто не мог обнять человека, показавшегося ему Маттиа Паскалем.

Пусть будет так! Он первый горячо и радостно приветствовал меня, а затем почти насильно вытащил на улицу, чтобы изгладить из моей памяти дурное впечатление, произведенное на меня забывчивостью моих сограждан.

Но теперь, назло им, я не стану описывать всего, что произошло сперва в аптеке Бризиго, затем в «Кафе дель Унионе», когда, весь еще захлебываясь от радости, дон Элиджо представил завсегдашам ожившего покойника. В один миг новость облетела весь городок, и люди, сбегавшиеся поглядеть на меня, засыпали меня вопросами. Они хотели, чтобы я сказал им, кто же был человек, утонувший в Стиа, как будто они сами, один за другим, не признавали в нем меня. А где же я-то был, я сам? Откуда возвратился? «С того света». Что делал? «Притворялся умершим!» Я решил ограничиться этими двумя ответами — пусть болтунов посылнее грызет любопытство, и оно действительно грызло их довольно долгое время. Не удачливее прочих оказался друг Жаворонок, явившийся взять у меня интервью для «Фольетто». Тщетно он с целью растрогать меня и заставить разговариваться принес мне номер своей газеты двухлетней давности с моим некрологом. Я сказал ему, что знаю его наизусть: «Фольетто» весьма распространен в аду.

— Да, да, благодарю, дорогой. И за надгробную плиту тоже... Я, знаешь ли, схожу поглядеть на нее.

Не стану пересказывать и «гвоздь» его следующего

воскресного номера, где крупным шрифтом набран был заголовок:

МАТТИА ПАСКАЛЬ ЖИВ

В числе немногих, кто не захотел показаться мне на глаза, был, помимо моих кредиторов, Батта Маланья, который, однако же, по словам сограждан, два года назад изъяснял глубочайшее сожаление по поводу моего варварского самоубийства. Охотно верю. Тогда, при известии о моем исчезновении на веки вечные, — глубочайшее огорчение; теперь, при известии о моем возвращении к жизни, — столь же величайшее неудовольствие. Я хорошо понимаю причину и того и другого. А Олива? Как-то в воскресенье я встретил ее на улице — она выходила из церкви, держа за ручку своего пятилетнего мальчугана, красивого, цветущего, как она сама. Моего сына! Она бросила на меня приветливый, смеющийся взгляд — и один этот беглый луч сказал мне столько...

Хватит. Теперь я мирно живу вместе с моей старой тетей Сколастикой, согласившейся приютить меня у себя в доме. Мое странное приключение сразу возвысило меня в ее глазах. Я сплю на той самой кровати, где умерла моя бедная мама, и провожу большую часть времени здесь, в библиотеке, в обществе дона Элиджо, который еще далеко не привел в должный порядок старые запыленные книги.

С его помощью я за полгода изложил на бумаге мою странную историю. И все, что здесь написано, он сохранит в тайне, словно узнал это на исповеди.

Мы долго обсуждали все, что со мной приключилось, и я часто говорил ему, что не усматриваю, какую мораль можно из этого извлечь.

— А вот какую, — сказал мне он в ответ. — Вне установленного закона, вне тех частных обстоятельств, радостных или грустных, которые делают нас самими собой, дорогой синьор Паскаль, жить невозможно.

Но я возразил ему, что, в сущности, не узаконил своего существования и не возвратился к своим частным личным обстоятельствам. Моя жена теперь жена Помино, и я не могу в точности сказать, кто же я, собственно, такой.

На кладбище в Мираньо, на могиле неизвестного бедняги, покончившего с собой в Стиа, еще лежит

плита с надписью, составленной моим приятелем Жаворонком:

ПОТЕРПЕВ ОТ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ,
МАТТИА ПАСКАЛЬ,
БИБЛИОТЕКАРЬ,
БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ, ОТКРЫТАЯ ДУША,
ЗДЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО
УПОКОИЛСЯ
ТЩАНИЕМ ЕГО СОГРАЖДАН ПОЛОЖЕНА
СИЯ ПЛИТА.

Я отнес на могилу, как и намеревался, венок из цветов и теперь иногда прихожу сюда поглядеть на себя — умершего и погребенного. Какой-нибудь любопытный следит за мной издалека и, хорошенько разглядев меня, спрашивает:

— Но вы-то кто ему будете?

Я пожимаю плечами, прищуриваюсь и отвечаю:

— Ах, дорогой мой... Я ведь и есть покойный Маттиа Паскаль.

1904

ПОСЛЕСЛОВИЕ О ЩЕПЕТИЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ¹

Господин Альберт Хейнц из Буффало в Соединенных Штатах, раздираемый любовью, с одной стороны, к своей жене и, с другой — к некоей двадцатилетней девице, почел за благо пригласить и ту и другую на совет, дабы принять какое-то согласованное решение.

Обе женщины и господин Хейнц в назначенное время являются в условленное место. Они долго обсуждают вопрос и в конце концов приходят к соглашению.

Все трое решают покончить с собой.

Госпожа Хейнц возвращается домой, стреляется из револьвера и умирает. Тогда господин Хейнц и влюбленная в него двадцатилетняя девица, видя, что со смертью госпожи Хейнц отпали все препятствия к их счастливому соединению, соображают, что у них нет больше никаких причин для самоубийства, и решают остаться в живых

¹ Первоначально Пиранделло опубликовал это послесловие в виде эссе в газете «Идея национале» от 22 июня 1921 года как ответ на критическую статью, и с того времени оно включалось во все издания романа.

и пожениться. Однако судебно-следственные власти расценили все совершенно иначе и арестовали их.

Какой тривиальный исход дела!

(См. ньюйоркские утренние газеты от 25 января 1921 года.)

Допустим, какому-нибудь злополучному драматургу придет в голову никудышная мысль изобразить подобный случай на сцене.

Можно с уверенностью сказать, что его творческая фантазия прежде всего проявит щепетильное стремление какими-либо героическими средствами исправить нелепость самоубийства госпожи Хейнц, дабы сделать его хоть сколько-нибудь правдоподобным.

Но с такой же уверенностью можно утверждать, что к каким бы героическим средствам ни прибегал драматург, девяносто девять театральных критиков из ста заявят, что самоубийство это нелепо, а сюжет пьесы неправдоподобен.

Наша благословенная жизнь полна самых бесстыдных нелепостей, и малых и больших, но она обладает тем бесценным преимуществом, что совершенно спокойно обходится без глупейшего правдоподобия, которому искусство считает себя обязанным подчиняться.

Нелепости, происходящие в жизни, не нуждаются в том, чтобы казаться правдоподобными, так как они на самом деле происходят — в противоположность нелепостям в искусстве, которым необходимо быть правдоподобными для того, чтобы показаться истинными. И вот, достигнув правдоподобия, они зато перестают быть нелепостями.

Случай из жизни может быть нелепым. Произведение искусства, если оно действительно произведение искусства, не может себе это позволить.

Отсюда следует, что глупо утверждать, будто то или иное произведение нелепо и неправдоподобно с точки зрения требований жизни.

С точки зрения требований искусства — да; с точки зрения требований жизни — нет.

В природе есть мир, населенный животными и потому изучаемый зоологией.

В число населяющих его животных включается и человек.

Зоолог может, говоря о человеке, сказать, например, что он животное не четвероногое, а двуногое и что, не

в пример обезьяне, или, скажем, ослу, или павлину, у него нет хвоста.

С человеком, о котором говорит зоолог, никогда не может случиться такое несчастье, как, допустим, потеря ноги и замена ее деревянной, потеря живого глаза и замена его стеклянным. Человек, изучаемый зоологом, всегда обладает двумя ногами, и ни одна из них не деревянная; у него всегда два глаза, и ни один из них не стеклянный.

Спорить с зоологом невозможно: если вы покажете ему человека с деревянной ногой или со стеклянным глазом, он ответит вам, что это его не касается, так как это не человек вообще, а некий определенный человек. Правда, мы, со своей стороны, можем ответить зоологу, что человека, с которым он имеет дело, не существует, но зато существуют *человеки*, из которых ни один не тождествен другому и у которых, на их беду, бывают деревянная нога или стеклянный глаз.

Тут мы задаем себе вопрос: надо ли рассматривать как зоологов или как литературных критиков тех господ, кои, вынося суждение о романе, рассказе или пьесе, осуждают тот или иной персонаж, то или иное изображение событий и чувств не с точки зрения искусства, что было бы совершенно справедливо, а с точки зрения человечества, каковое они, видимо, очень хорошо знают, словно оно и впрямь существует в некоем абстрактном мире, то есть за пределами бесконечно разнообразной совокупности людей, способных творить все те пресловутые нелепости, *которым незачем казаться правдоподобными, ибо они и без того вправду происходят?*

Между тем по своему личному опыту в отношении подобной критики я считаю весьма примечательным следующее обстоятельство. Зоолог считает, что человек отличается от прочих животных тем, что он мыслит, в то время как животные не мыслят. Однако способность мыслить (иначе говоря, то, что свойственно именно человеку) столько раз представлялась господам критикам не своего рода избытком человечности, а, напротив, ее нехваткой у многих моих невеселых персонажей. Для этих критиков, надо полагать, человечность есть нечто более относящееся к области чувства, чем разума. Но если уж говорить отвлеченно, как это делают критики, то, может быть, окажется верным и то, что человек никогда не мы-

слит так страстно (разумно или неразумно — это ничего не меняет), как тогда, когда страдает, потому что он ведь стремится узнать причину своих страданий, выяснить, кем они ему даны и справедливо ли даны. А когда он наслаждается, то упивается наслаждением, не рассуждая, словно наслаждение — его право.

Судьба животных — страдать не рассуждая. Тот, кто страдает и в то же время мыслит (именно потому, что страдает), для этих господ критиков *не человечесен*. И вот получается так, что тот, кто страдает, должен быть подобен животному, и *человечен* он только тогда, когда уподобляется животному.

Однако недавно я встретил критика, которому весьма благодарен.

Он спрашивает других критиков, откуда они берут критерий для того, чтобы говорить о моей *нечеловечной* и, видимо, неизлечимой «рассудочности», о парадоксальной неправдоподобности моих сюжетов и персонажей и с этих позиций судить о моем творчестве?

«Из так называемой нормальной жизни? — задает он вопрос. — Но что она такое, как не просто система отношений, которые мы выбираем из хаоса повседневных событий и произвольно именуем нормальными». И свое рассуждение он заканчивает так: «Мир, созданный искусством художников, можно судить только по критерию, почерпнутому из самого этого мира».

Должен добавить в похвалу этому критику по сравнению с другими критиками, что, взяв меня как бы под защиту, он, несмотря на это и даже именно поэтому, все же неодобрительно отозвался о моем произведении. По его мнению, я не сумел придать своему повествованию и своим персонажам общечеловеческое значение и смысл. Не сумел настолько, что тот, кто стал бы высказываться о моей вещи, неизбежно задал бы себе недоуменный вопрос: не сознательно ли я поставил перед собой ограниченную задачу — изложить некоторые любопытные случаи, своеобразные психологические состояния?

Но что, если общечеловеческое значение и смысл моих сюжетов и персонажей, в которых, как выражается названный критик, противопоставлены реальность и иллюзия, индивидуальность и ее общественное лицо, что, если это общечеловеческое значение заключается именно в значении и смысле такого первичного противопоста-

вления? И что, если само противопоставление реальности и иллюзии по содержанию своему всегда оказывается переменчивым, поскольку всякая сегодняшняя реальность неизбежно представится нам завтра иллюзией, однако иллюзией тоже неизбежной, а вне ее для нас никакой реальности не существует? Что, если этот общечеловеческий смысл в том и состоит, что какой-то мужчина и какая-то женщина, поставленные волей других людей или же собственной волей в положение тягостное, ненормальное с общественной точки зрения и, если угодно, нелепое, остаются в нем, терпят его и не скрывают от других то ли по своей слепоте, то ли по своему исключительному простосердечию, *пока не увидят его сами*? Ибо, едва они его увидят, словно в зеркале, возникшем перед ними, они уже не смогут его терпеть, ощутят весь его ужас и выйдут из него или, если выйти из него для них невозможно, будут испытывать смертную муку. А может быть, общечеловеческий смысл в том и состоит, что мы принимаем положение ненормальное с общественной точки зрения, даже если видим это положение, как в зеркале, которое в данном случае кажется нам нашей иллюзией? Тогда мы словно играем на сцене, но при этом испытываем настоящие муки до тех пор, пока еще возможно играть под удушающей нас маской, которую мы сами на себя надели, которую нам навязали другие люди или жестокая необходимость, до тех пор, пока под этой маской какому-нибудь слишком уж живому нашему чувству не будет нанесена такая глубокая рана, что мы открыто восстанем, сорвем маску и растопчем ее.

«Тогда внезапно, — говорит уже упоминавшийся критик, — волна живой человечности захлестывает эти персонажи, марионетки становятся существами из плоти и крови, и из уст их вырываются слова, опаляющие душу, терзающие сердце».

Еще бы! Наше живое, неповторимое лицо выступило из-под этой маски, делавшей нас марионетками в наших собственных руках или в руках других людей, заставлявшей нас казаться жесткими, деревянными, угловатыми, незавершенными, неотделанными, сложными и напыщенными, как все то, что делается и заводится не само собою, а под давлением обстоятельств в положении ненормальном, невероятном, парадоксальном — одним словом, таком, что под конец мы уже не в силах терпеть и восстаем против него.

Следовательно, если возникает путаница, то она устроена сознательно, если чувствуется хитрая выдумка, то она тоже вполне сознательна. Но не я придумываю и запутываю, а сам сюжет, сами персонажи. И все это, в сущности, раскрывается внезапно: часто перипетии действия слагаются в одно целое тут же на месте и выставляются напоказ зрителям в тот самый момент, когда возникают и комбинируются. Здесь уже заключено все: маска для одного единичного спектакля; комбинации ролей; то, чем мы бы хотели или должны были быть; то, чем мы кажемся другим, в то время как сами лишь до известной степени понимаем самих себя; грубая, неясная метафора нашего подлинного существа; сложное нередко сооружение, которое мы делаем из самих себя или которое из нас делают другие. Да, это действительно сложная выдумка, где каждый, повторяю, сознательно оказывается своей собственной марионеткой до тех пор, пока наконец всему этому балагану не наносится сокрушительный удар.

Думаю, что могу только порадоваться успехам моего воображения: отличаясь крайней щепетильностью, оно сумело представить в качестве вполне реальных жизненных неурядиц те, что оно само придумало, то есть недостатки в том искусственном сооружении, которое мои персонажи воздвигали над собой и над своей жизнью или которое воздвигли для них другие — словом, недостатки *маски*, пока она вдруг не оказывается сорванной.

Но еще большее утешение я почерпнул в самой жизни или, вернее, в хронике происшествий через двадцать лет после издания моего романа «Покойный Маттиа Паскаль», который сейчас снова выходит в свет.

Когда он появился в первый раз, то в почти единомышленном хоре его критиков не было, пожалуй, ни одного голоса, который не упрекнул бы его за неправдоподобие.

Так вот, сама жизнь сооблаговолила дать мне доказательство его истинности, притом доказательство исключительно полное, вплоть до некоторых характернейших подробностей, в свое время изобретенных моей фантазией без чьей-либо подсказки.

Вот что напечатано было в «Коррьере делла сера» от 27 марта 1920 года:

ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК
ВОЗЛАГАЕТ ВЕНОК НА СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ

На днях обнаружился удивительный случай двоемужества, оказавшийся возможным вследствие того, что первый муж был признан умершим, но на самом деле оказался живым.

Изложим вкратце предысторию данного происшествия. В декабре 1916 года в районе Кальвайрате несколько крестьян вытащили из канала «Пять шлюзов» труп мужчины в фуфайке и коричневых брюках. О происшествии дано было знать в полицию, которая предприняла расследование. Вскоре после этого труп был опознан некоей Марией Тедески, моложавой женщиной лет сорока, а также некими Луиджи Лонгони и Луиджи Майоли, и оказался телом электротехника Амброджо Казати ди Луиджи, рождения 1869 года, мужа Тедески. Утопленник действительно был очень похож на Казати.

Показания опознавших, как выяснилось, отнюдь не были бескорыстными, что в особенности относится к Майоли и Тедески. Настоящий Казати был, оказывается, жив! Он с 21 февраля предшествовавшего года находился в тюремном заключении за присвоение чужой собственности и еще до того разошелся со своей женой, хотя они не разводились юридически. По истечении положенных семи месяцев Тедески вышла вторым браком за Майоли, не наткнувшись ни на какие бюрократические препоны. Казати отбыл срок наказания 8 марта 1917 года и только тогда узнал, что он... умер, а его жена вторично вышла замуж и выехала неизвестно куда. Все это выяснилось, когда он отправился в адресный стол на площади Миссори за справкой на предмет получения вида на жительство. Чиновник в окошечке беспощадно объявил ему:

— Но вы же умерли! Ваше законное местожительство на кладбище Музокко, общий участок, могила № 550...

Все возражения человека, требовавшего, чтобы его признали живым, оказались тщетными. Но Казати намеревается добиться своего права... на воскресение из мертвых, и когда в актах гражданского состояния будет сделано соответствующее исправление, второй брак его предполагаемой вдовы окажется аннулированным.

Однако это удивительное происшествие отнюдь не огорчило Казати. Наоборот, он, по-видимому, пришел в отличное расположение духа и, стремясь изведать новые ощущения, отправился на свою собственную могилу, чтобы в знак уважения к своей собственной памяти возложить на надгробный холмик охапку душистых цветов и возжечь над ним лампадку.

Предполагаемое самоубийство в канале; труп, вытасченный из воды и опознанный женой и другим человеком, вскоре на ней женившимся; возвращение живого покойника и, наконец, возложение цветов на собственную могилу! Все фактические данные те же, разумеется без всего того, что придавало единичному факту общечеловеческие значимость и смысл.

Не могу предположить, что синьор Амброджо Казати, электротехник, прочитал мой роман и принес цветы на свою могилу в подражание Маттиа Паскалю.

Между тем в жизни с ее великолепным презрением ко всякой правдоподобности могут найтись такой священник и такой муниципальный чиновник, которые соединят законным браком синьора Майоли и синьору Тедески, не позаботившись проверить один факт, о котором легко было навести справку, а именно: что первый муж, синьор Казати, находится не в могиле, а в тюрьме.

Воображение писателя, разумеется, оказалось бы слишком щепетильным, чтобы этим пренебречь. Теперь оно торжествует, вспоминая об упреке в неправдоподобии, который ему тогда бросали, и имея возможность показать всем и каждому, на какое вполне реальное неправдоподобие способна жизнь даже в романе, где она, сама того не сознавая, подражает искусству.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Буцужева. О лирической прозе Луиджи Пиранделло</i>	3
--------------------------------------------------------------------	---

НОВЕЛЛЫ

Свет и тьма. <i>Перевод Э. Линецкой.</i>	24
Хозяин Господь. <i>Перевод Э. Линецкой.</i>	38
Сицилийские лимоны. <i>Перевод Э. Линецкой.</i>	44
Восход солнца. <i>Перевод Э. Линецкой.</i>	56
Званный обед. <i>Перевод И. Константиновой.</i>	64
Когда я был сумасшедшим... <i>Перевод В. Лукьянчука.</i>	73
Муж моей жены. <i>Перевод Л. Виндт.</i>	91
Муха. <i>Перевод В. Лукьянчука.</i>	97
Поджечь солому. <i>Перевод И. Константиновой.</i>	107
Катарская ересь. <i>Перевод Л. Виндт.</i>	117
Ну хорошо. <i>Перевод В. Лукьянчука.</i>	125

ПОКОЙНЫЙ МАТТИА ПАСКАЛЬ. Роман.

<i>Перевод Г. Рубцовой и Н. Рыковой под редакцией Ю. Корнеева</i>	
1. Первая посылка силлогизма	154
2. Вторая посылка силлогизма (философская). Вместо извинения	155
3. Дом и крот	159
4. Было так	167
5. Зрелость	181
6. Так, так, так	195
7. Я пересаживаюсь в другой поезд	211
8. Адриано Меис	222
9. Немного тумана	234
10. Кропильница и пепельница	243
11. Вечером, глядя на реку.	255
12. Глаз и Папиано	272
13. Фонарик	285

14. Подвиги Макса	297
15. Я и моя тень	307
16. Портрет Минервы	320
17. Воплощение.	340
18. Покойный Маттиа Паскаль	350
Послесловие о щепетильных соображениях творческой фантазии.	365

- Пиранделло Л.**
П 33 Избранная проза: В 2-х т. Пер. с ит. Т. 1. Новеллы (1896—1905); Покойный Маттиа Паскаль: Роман / Сост., вступ. статья С. Бушуевой. — Л.: Худож. лит., 1983. — 376 с., 1 л. портр.

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — знаменитый итальянский прозаик и драматург.

П 4703000000-056 125-83
028(01)-83

ББК 84.41т

ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ I

Редактор Н. Снеткова

Художественный редактор Р. Чумаков

Технический редактор Н. Литвина

Корректор И. Каган

ИБ № 2643

Сдано в набор 28.05.82. Подписано в печать 27.01.83. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 19,74 + вкл. 0,05 = 19,79 усл. печ. л. 20,63 усл. кр.-отт. 21,51 + 1 вкл. = 21,57 уч.-изд. л. Тираж 50000 экз. Изд. № ЛУГ-14. Заказ № 492. Цена 1 р. 90 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.